

83.3(2-Рус)
4-56

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
БИБЛИОТЕКА
И
ТВОРЧЕСТВО
А. П. ЧЕХОВ



0000163589

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

211 24	528 5K		
1442 7/11	1851 10/11		
440 22/11	184 24/11		
1552-250	1090 7/11		
1583 7/11	1816 25/11		
84-20 1/11	126 3/11		
137-3r			
1167 20/11			



EXOB



ACADEMIE

DES SCIENCES

1777

**Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й
Б Ы Т И Т В О Р Ч Е С Т В О
Р У С С К И Х П И С А Т Е Л Е Й**

**ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
ДНЕВНИКАМ И ПИСЬМАМ**

А. П. ЧЕХОВ

«А С А Д Е М І А»

ЛЕНИНГРАД

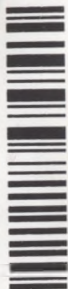
1928

8 Pl: 92
ФР-36

89

А. П. ЧЕХОВ

ФБ СПбГТУ



0000099281

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ
И ТВОРЧЕСТВО ПО
МЕМОАРИАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

СОСТАВ. ВАЛ. ФЕЙДЕР

с 6 иллюстрациями

Фундаментальная
библиотека

№

СПб ГТУ

16622



АКАДЕМИА

ЛЕНИНГРАД

1928

89/11.
2-56

ы
ез
ое
ней
лгг.,
ник
аза-
т
п)

Супер-обложка работы
АЛЕКСЕЯ УШИНА

699501

Белгородский государственный

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Ленинградский Областлит № 2979. Тираж 5000 30 л. Заказ № 88.
тип. изд. „Лен. Правда“. Ленинград. Социалист., 14.

В ноябре 1888 г. А. П. Чехов писал А. С. Суворину: „...Архимеду хотелось перевернуть землю, а нынешним горячим головам хочется обнять научно необъятное, хочется найти физические законы творчества, уловить общий закон и формулы, по которым художник, чувствуя их инстинктивно, творит музыкальные пьесы, пейзажи, романы и проч. Формулы эти в природе вероятно существуют. Мы знаем, что в природе есть а, б, в, г, до, ре, ми, фа, соль, есть кри-е-вая, прямая, круг, квадрат, зеленый цвет, красный, синий... знаем, что все это в известном сочетании дает мелодию, или стихи, или картину, подобно тому, как простые химические тела в известном сочетании дают дерево, или камень, или море, но нам только известно, что сочетание есть, но порядок этого сочетания скрыт от нас. Кто владеет научным методом, тот чувствует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным, простым законам. Отсюда вопрос: какие же это законы? Отсюда искушение—написать физиологию творчества...“

Мы воздержимся от искушения „обнять не-⁴¹⁵объятное“ и не станем писать физиологию твор-⁵⁶³чества. Наша задача — лишь ввести читател-^{гг.,} в эту интересную тему и наметить один из п-^{ник}тей к возможным обобщениям в области лит-^{аза-}атурного творчества. С этой целью мы попи-

таемся проследить как работали наши писатели, как, под влиянием внешних обстоятельств и взаимодействия их с психическим миром художника, создавались те или иные „творческие сочетания“.

Материальная и моральная обстановка, окружающая писателя, определяет характер его творчества и его литературных замыслов. Внутренние процессы — зарождение замыслов, их вынашивание и претворение в жизнь — остаются пока недоступными наблюдению, но внешняя обстановка и внешний процесс писательства в значительной мере „видимы глазами“.

Мы можем видеть, как писатель работает за своим письменным столом, что способствует, мешает его писательству, легко или трудно для него рождение формы, удовлетворен ли он ею или недовольный — он снова бросает ее в кипящий тигель своего воображения, чтобы переплавить вновь. Мы можем видеть, как технически он отделяет и шлифует свою вещь, в надежде довести ее до возможного совершенства и согласования со внутренним замыслом. Изучению этих внешних, „видимых“, процессов и посвящается наша работа.

Материал, которым мы воспользуемся для нашей цели, будет исключительно конкретный: свидетельства авторов о самих себе и их современников, — переписка, воспоминания, дневники, записные книжки и т. п. Извлечения из них, связанные известную систему, дадут живую картину творческой деятельности избранных нами писателей. Первая „литературная мастерская“, с которой мы сейчас познакомимся будет Чеховская.

графию, а намеченная тема—творчество—расплылась бы в ней, потеряв свои очертания. Понятно, что не все можно отрезать, не обескровив живой ткани, поэтому там, где резко отграничить тему, не повредив ей, не удалось,—мы оставили и биографические черты.

Весь отобранный материал расположен нами в порядке хронологической и логической последовательности так, чтобы каждый из привлеченных отрывков, по мере возможности, служил продолжением, или дополнением, предыдущего, а вся эта „мозаика“, в общем, давала бы впечатление связного целого¹.

К сожалению, размер книги не позволил нам дать исчерпывающий подбор материала и поэтому мы стремились сохранить только наиболее характерное. Читатель, который заинтересуется нашим опытом, может самостоятельно расширить и углубить его по линии, намеченной нами. Во всяком случае, мы особенно рекомендуем тщательную штудировку произведений Чехова, параллельно с чтением нашей книги.

Несмотря на неизбежные пробелы и промахи в нашей работе, надеемся, что она найдет живой отклик в среде литературной молодежи, рабочей интеллигенции и педагогов.

Декабрь 1927 г

Вал. Фейдер.

¹ Источники, использованные для выборок, указаны нами для удобства читателя в тексте книги почти без сокращений. Исключение составляет лишь 6-томное собрание писем А. П. Чехова, изданное под редакцией М. П. Чеховой („К-во Писателей в Москве“ 1912—1916 гг., I-ое и II-ое изд.). В виду частых ссылок на этот источник мы обозначаем его сокращенно: „П“ (Письма), с указанием соответствующего тома и страниц.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ТАГАНРОГ. — ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ. —
ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОПЫТЫ.

(1868—1879 гг.).

Семья Павла Егоровича была обычной патриархальной семьей, каких много было полвека тому назад в провинции¹. Отец был требователен и строг, но это вовсе не мешало семье жить в такой завидной дружбе, какую редко встретишь при подобных обстоятельствах. День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано, мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки... Главную же особенность семьи Чеховых составляло пение и домашнее богослужение. Каждую субботу вся семья отправлялась ко всенощной и, возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон... Утром шли к ранней обедне, после которой дома все также хором пели акафист...

¹ Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 г. в Таганроге. Его дед, со стороны отца, был крепостным помещиком Воронежск. губ.—Черткова. В 1841 г. он откупился на волю. Впоследствии служил управляющим имениями гр. Платова, в Донской области.—Отец А. П., Павел Егорович, прошел в молодости суровую школу «мальчика», «молодца» и, наконец, приказчика у одного из таганрогских купцов. В 1857 г. он открыл собственную бакалейную торговлю. Мать А. П. происходила из купеческой семьи Морозовых, из г. Шуи. Детей у Чеховых было шесть человек: Александр, Николай, Антон, Иван, Мария и Михаил.

Любитель пения Павел Егорович организовал из детей правильный хор и пел с ними в церкви местного дворца (в котором в 1825 г. жил и умер Александр П.).

(Мих. Павл. Чехов. «Антон Чехов и его сюжеты». М. 1923. Стр. 8—11).

По возвращении от обедни домой, пили чай. Затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать акафист спасителю или богородице... К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквях к поздней обедне. Один из сыновей—гимназист—по очереди или по назначению отца отправлялся вместе с „молодцами“, в качестве хозяйского глаза, отпирать лавку и начинать торговлю, а прочие дети должны были идти вместе с Павлом Егоровичем к поздней обедне. Воскресные и праздничные дни для детей были такими же трудными днями, как и будни, и Антон Павлович, не без основания, не раз говорил братьям:

— Господи! Что мы за несчастный народ! Все товарищи гимназисты по воскресеньям гуляют, бегают, отдыхают и ходят в гости, а мы должны ходить по церквям!

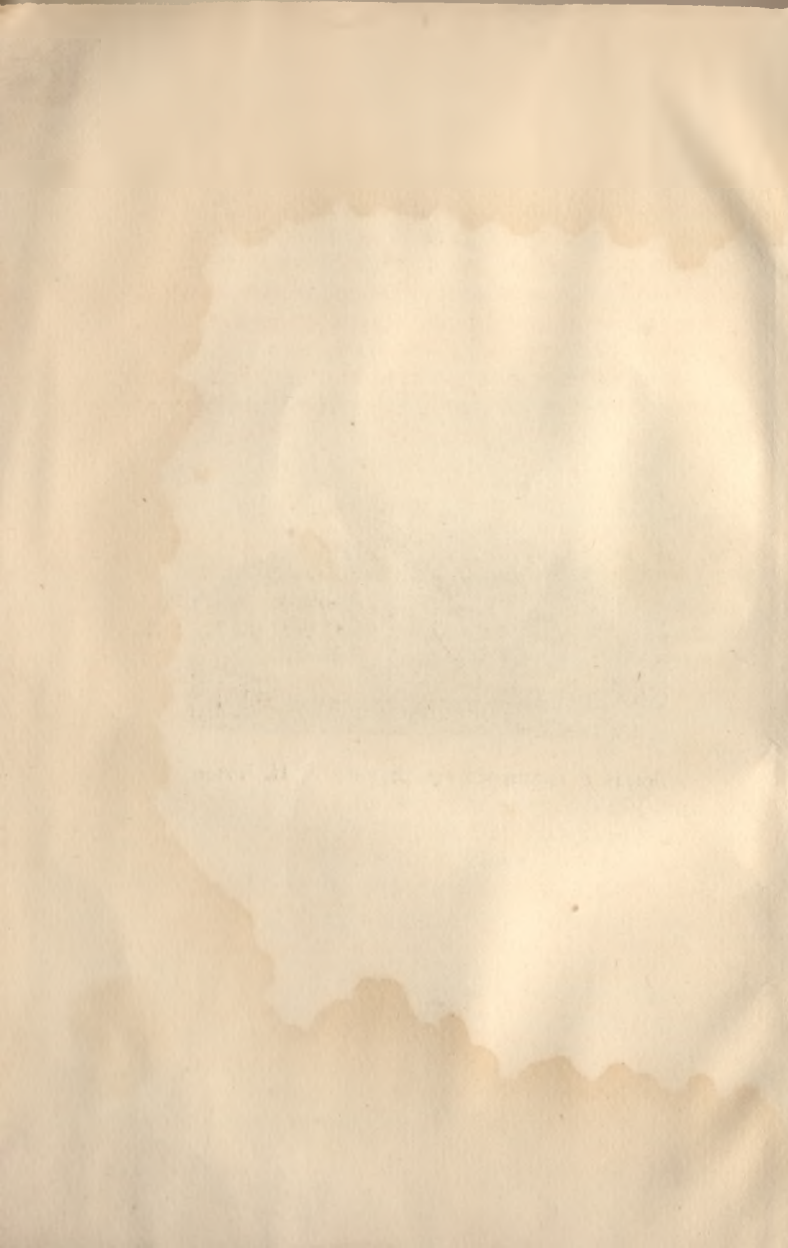
(А. С—ой. «А. П. Чехов—певчий», «Вестн. Евр.». 1907, кн. X) 1.

Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание—с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправ-

1 А. С—ой (а также А. Седой)—псевдоним брата А. П. Чехова—Александра Павловича.



Домик в Таганроге, где родился А. П. Чехов.



ным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио „Да исправится“ или же „Архангельский глас“, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками...

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Мелихово. 1892 г., 9 марта. П. Т. IV, 30).

В так называемом религиозном 'воспитании не обходится дело без ширмочки, которая недоступна оку постороннего. За ширмочкой истязуют, а по сю сторону и улыбаются и умиляются...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892 г., 17 марта. П. Т. IV, 32).

В зрелые годы своей жизни он не раз говорил в тесном кружке родных и знакомых:— „в детстве у меня не было детства“.

Все свое свободное время он должен был проводить в лавке...

— Нечего баклуши бить на дворе: ступай лучше в лавку, да смотри там хорошенько, приучайся к торговле!—слышал постоянно Антон Павлович от отца...

И Антону Павловичу приходилось с грустью и со слезами отказываться от всего того, что свойственно и даже необходимо детскому возрасту, и проводить время в лавке, которая была ему ненавистна. В ней он с грехом пополам

учил и недоучивал уроки, в ней переживал зимние морозы и коченел...

Он с самых ранних лет детства, под благотельным влиянием матери, не мог равнодушно видеть жестокого обращения с животными... А когда били людей, то с ним делалась нервная дрожь... В обиходе же Павла Егоровича оплеушины, подзатыльники и порка были явлениями самыми обыкновенными, и он широко применял эти исправительные меры к собственным детям и к хохлятам-лавочникам...¹

(А. С—ой. «А. П. Чехов—лавочник», «Вестн. Евр.», 1908. Кн. II).

Я с детства уверовал в прогресс и не мог не уверовать, так как разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта, 1894 г., 27 марта. П. Т. IV, 292).

Антон Павлович был здоровым, головастым подвижным мальчиком, неистощимым на юмор, на затей. Среди братьев он был тогда самым талантливым на выдумки; он устраивал лекции, почти слово в слово составившие потом содержание его самого первого рассказа „Письмо к ученому соседу“².

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 12—13).

¹ Автобиографические черты,—порка и «религиозное воспитание»,—несомненно отразились в повестях Чехова «Три года» (стр. 104—105 п. с. с., т. X) и отчасти в «Моя жизнь».

² Письмо донского помещика Степана Владимировича к ученому соседу д-ру Фридриху,—первая вещь Чехова, появившаяся в печати. («Стрекоза», 1880 г., № 10).

Он по целым часам мог рассказывать различные истории со всеми типическими деталями. Особенно интересно у него выходили вариации о сотворении мира, когда коринка была до такой степени смешана с изюмом, что их невозможно было отличить, а луну должны были отмывать прачки и т. д. Любил еще Чехов „говорить по телефону“. Как то мы были с ним в гостях. Заговорили об одном знакомом...

— Я его попрошу по телефону приехать сюда,—сказал с серьезным видом Чехов. И уйдя в другую комнату начал беседовать по телефону до такой степени правдоподобно, что все мы были уверены в подлинности переговоров. И только через некоторое время обнаружилось, что в доме и телефона не было...

Был еще один уморительный номер в артистическом репертуаре Чехова. В несколько минут он изменял свой вид и превращался в зубного врача, сосредоточенно раскладывающего на столе свои зубоврачебные инструменты. В это время в передней раздавался слезливый стон, и в комнате появлялся старший брат, Александр, с подвязанной щекой... Антон с пресерьезным видом успокаивал пациента, брал в руки щипцы для углей, совал в рот Александру, и... начиналась „хирургия“, от которой присутствующие покатывались от смеха. Но вот венец всего. Наука торжествует! Антон вытаскивает щипцами изо рта ревающего благим матом „пациента“ огромный „больной зуб“ (пробку) и показывает его публике.

(П. Сергееenko. «Детство Чехова». «Чеховск. Юбилейн. Сборн.» М. 1910, стр. 337—338).

Театром Антон Павлович увлекался с самого раннего детства. Первое, что он видел, была оперетка „Прекрасная Елена“. Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Билеты брали на галерку... Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть, мы не имели понятия о том, что такое драма, опера или оперетка—нам все было одинаково интересно... А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах. Если мы видели оперетку, то брат Николай, обладавший редким слухом, играл всю музыку на память, а Антон Павлович изображал действующих лиц, и все мы хохотали до упаду. Помню, смотрели мы „Прекрасную Елену“, потом была такая пьеса: „Петербургские когти“, потом „Убийство Коверлей“ и многое в таком роде. Видели и „Ревизора“. На следующий день мы его, конечно, разыгрывали дома, и Антон Павлович играл городничего.

(И. П. Чехов.—«Из воспомин. об А. П. Чехове в Художеств. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альманах, изд-ва «Пиповник», 1914 г. Кн. 23, стр. 149—150).

Изредка, вместе со мною, Антон Павлович навещал товарищей наших К—вых... Там всегда собиралось большое общество взрослых и молодежи. Разговор обыкновенно вертелся около театра... В одно из таких собраний среди некоторых гостей возникла мысль об устройстве любительского спектакля... Труппа сейчас же составила... Причем к женскому персоналу ее добровольно причислил себя и Антон Павлович...

Для открытия остановились на пьесе „Ямщики или шалость гусарского офицера,“ не помню

уже какого автора... Старуху-старостиху (играл)— Антон Павлович... Нельзя себе представить того гомерического хохота, который раздавался в публичке при каждом появлении старостихи. И нужно отдать справедливость Антону Павловичу — играл он мастерски, а загримирован был идеально.

(А. Дросси. «Юные годы А. П. Чехова». «Солнце России», 1914, № 228—25).

Самые, однако, яркие и благоуханные впечатления юности Чехова связаны не с Таганрогом, а с деревней Княжей, где он проводил летние месяцы у своего деда, управлявшего имением графини Платовой... Сами по себе поездки из города в деревню (около 60 верст), то на лошадях (все зависело от „оказии“), то на волах, в течение нескольких дней, с ночлегами под бархатным небом Украины, на душистых коврах свежего сена, — уже одни такие поездки — без старших и без тягостной опеки — должны были вносить в свободолюбивую душу высокоодаренного мальчика целые гаммы новых впечатлений...

(И. Сергееenko. «Детство Чехова». «Чеховск. Юбил. Сб.», стр. 338—340).

В детстве, живя у дедушки в имении гр. Платова, я по целым дням от зари до зари должен был просиживать около паровика и записывать пуды и фунты вымолоченного зерна; свистки, шипенье и басовой волчкообразный звук, который издается паровиком в разгар работы, скрип колес, ленивая походка волов, облака пыли, черные, потные лица полсотни человек — все это врезалось в мою память, как отче наш...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Сумы. 1888 г., 29 авг. II. Т. II, 148).

В 1876 г., в апреле, Павел Егорович окончательно закрыл свою торговлю и уехал в Москву... Вслед затем и дом Чеховых был продан с банковских торгов... Всю мебель увез один из кредиторов, и Евгения Яковлевна с семьей осталась ни с чем... Три месяца спустя Евгения Яковлевна навсегда уехала из Таганрога к мужу... Антоша остался совершенно один. Так он и прожил здесь в одиночестве целые три года, сам добывал себе средства к существованию и продолжал свое образование в гимназии, пока не окончил в ней курса...¹

Он часто посещал в эти три года театр... Много читал... Особенное впечатление на него производили тогда романы Шпильгагена, Георга Борна и Виктора Гюго... Будучи учеником VII класса, он написал драму „Безотцовщина“ и очень смешной водевиль „Не даром курица пела“, которые прислал своим братьям в Москву. Автор этих строк долго берег эти произведения, но приехав по окончании гимназии в Москву, Антон Павлович отобрал их у него и драму разорвал на мелкие кусочки, а водевиль спрятал. Будучи гимназистом, он выписывал газету „Сын Отечества“ и сам издавал рукописный журнал „Заика“, предназначенный им специально для старших братьев и посылавшийся в Москву...

(Мих. Павл. Чехов. «Антон Чехов и его союжеты», стр. 19—23).

¹ За год до окончательного разорения П. Е., старшие сыновья его,—Александр и Николай уехали в Москву учиться, первый—в университет, второй—в училище живописи и ваяния. Двоих младших взяла с собой мать при съезде из Таганрога, а Иван был отправлен к деду в деревню. Позже и он уехал также в Москву. Антон Павл. содержал себя, давая уроки.

Увлечение наше литературой было весьма своеобразно: наряду с Боклем, Шопенгауэром, которых мы тогда думали нам стыдно было бы не прочитать, мы запоем читали юмористические журналы „Будильник“, „Стрекозу“ и др. Я помню в воскресные и праздничные дни мы спозаранку собирались в городской библиотеке и по несколько часов кряду, забыв об обеде, просиживали там за чтением этих журналов, иногда раздражаясь таким гомерическим хохотом, что вызывали недовольное шиканье читающей публики...

(А. Дросси. «Юные годы А. П. Чехова». «Приазовск. Речь». 1910, № 41).

Дорогой брат, Миша!

... Хорошо делаешь, если читаешь книги. Привыкай читать. Со временем ты эту привычку оценишь. Мадам Бичер-Стоу выжала из глаз твоих слезы? Я ее когда то читал, прочел и полгода тому назад с научной целью и почувствовал после чтения неприятное ощущение, которое чувствуют смертные, наевшись не в меру изюму или коринки... Прочти ты следующие книги: „Дон-Кихот“ (полный в 7 или 8 частях). Хорошая вещь. Сочинение Сервантеса, которого ставят чуть ли не на одну доску с Шекспиром. Советую братьям прочесть, если еще не читали, „Дон-Кихот и Гамлет“ Тургенева. Ты, брате, не поймешь. Если желаешь прочесть нескучное путешествие, прочти „Фрегат Паллада“ Гончарова и т. д...

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. Таганрог. 1876 г., июль. П. Т. I, 2—3).

Учился Чехов неважно, и из 23 учеников выпускного класса занимал одиннадцатое место¹. За сочинения по русскому языку дальше тройки не шел, но всегда отличался в латыни и в законе божьем, получая за них пятерки. Знал массу славянских текстов и в товарищеских беседах увлекал нас рассказами, пересыпанными славянскими изречениями, из которых многие я впоследствии встречал в некоторых из его литературных произведений... По обычаю, существующему всюду в школах, Чехова товарищи прозвали „головастиком“. У него была большая голова, несоответствовавшая его небольшой фигуре. „Антошею Чехонте“ его назвал наш батюшка, преподаватель закона божия, о. протоиерей Покровский... Он так и вызывал, растягивая по слогам:

— Че-хон-те!..

(М. Д. Кукушкин. Воспомин. А. Измайлов, «Чехов». М. 1916 г., стр. 38—39).

Антон Павлович Чехов прошел сквозь таганрогскую гимназию никем не замеченный. „Был хороший ученик, но особенно не выдавался“, — сказано у Филевского². Впрочем, дальше следует: „На окончательном экзамене Стефановский (учитель словесности) обратил внимание педагогического совета на необыкновенную литературную отделку и смысл сочинения ученика

¹ А. П. Чехов пробыл в гимназии 11 лет, включая и год в подготовительном классе. В низших классах А. П. учился слабо, из-за домашних условий (церковь и лавка), в III и V классах оставался по два года. Лишь с отъездом семьи в Москву, ученье пошло успешней.

² Официальный историк Таганрогской гимназии.

Антон Чехова "...¹ Не знаю, быть может это и правда. Я хорошо помню И. С. Стефановского. Он донимал нас не сочинениями, а памятниками древней словесности:

— Слово Даниила Заточника. Жил-был Даниил Заточник и написал Слово Даниила Заточника. На озере Лачь...

Больше того никто не знал и, как справедливо сказано в конце „Слова“:—Кому озеро Лачь, а нам горький плач...

(Тан. «На родине Чехова». Чеховск. Юбил. Сб., стр. 501—502).

Когда мы кончали гимназию — каждый избирал заранее факультет — один только Антон Павлович держал в строгом секрете свой выбор. Мы все приставали к нему:

— Куда ты думаешь поступить, Антоша?

Он молчал и затем вдруг выпаливал:

— Буду попом!

— Нет, серьезно, отчего ты скрываешь?

— Попом буду, — упорно твердил Антоша и уже больше от него нельзя было добиться никакого ответа...

(Шиллер из Таганрога (со слов гимназическ. товарищей Чехова)—«Арабески». «Приазовск. Край», 1904, № 189).

¹ По словам одноклассника Чехова, д-ра Шамкевича, А. П. «еле-еле справился с сочинением». А инспектор гимназии Е. Ф. Лонткевич говорит, что «А. П. писал сочинение 4 ч. 55 м. и подал его последним (всего держало 29 чел.)». Действительно, тема выпускного сочинения «Нет зла более, чем безначалие»—вряд ли могла «вдохновить» будущего писателя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

МОСКВА.—АНТОША ЧЕХОНТЕ.—«СТРЕКОЗА»
И «БУДИЛЬНИК».

(1879—1882 гг.).

В августе 1879 г. Антон Павлович приехал в Москву поступать в университет ¹... Тогда Павел Егорович, после долгих мытарств, нашел себе, наконец, место по письменной части в амбаре купца И. Е. Гаврилова и получал по 40 руб. в месяц, которых далеко не хватало. Сам Павел Егорович жил у этого купца за Москвой-рекой, каждое утро, вместе с другими рабами-приказчиками, выходил на работу в „город“, в Теплые ряды, и возвращался обратно только поздним вечером ²... Антону Павловичу волею судеб пришлось сразу же, с первого дня своего приезда в Москву, стать во главе семьи. Началась совместная работа по поднятию материального положения... Работали все, кто как мог и умел. В ту же зиму Антон Павлович написал в „Стрекозе“ свой первый рассказ „Письмо к ученому соседу“. Я помню, с каким нетерпением он ожидал в „Почтовом ящике“ этого журнала ответ редактора его И. Василев-

¹ На медицинский факультет.

² Это замоскворецкое «темное царство» А. П. изобразил в повести «Три года», написанной им в 1895 г.

ского-Буквы. И ответ этот скоро был напечатан: „Совсем недурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество“. С этого и началась литературная карьера Антона Чехова...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 23—25).

Он начал писать еще студентом; родители его, на руках которых были еще сыновья и дочь, жили бедно, и его ужасно огорчало, что на именины его матери не на что сделать пирог. Он написал рассказ... Рассказ напечатали, и на полученные несколько рублей справили именины матери. И с этого времени он стал кормильцем семьи.

(А. С. Суворин. «Маленькие письма». «Нов. Время». 1904, № 10179).

Чехова уже с первого курса потянуло к литературным кругам и интересам, чему способствовали приехавшие раньше его в Москву братья Александр, студент-естественник, но тогда уже работавший в юмористических журналах ¹, и Николай, ученик школы живописи, рисовавший в них. „Уже на первом курсе,—говорит Чехов в своей автобиографии ²,—я стал печататься, и эти занятия литературой уже в начале 80-х годов приняли постоянный профессиональный характер...“

(М. Членов. «А. П. Чехов и медицина». «Русск. Ведом.», 1904 г., № 91).

Зимой 1879—1880 гг., когда брат мой и Чехов находились в Москве на I курсе, мы стали получать оттуда юмористические журналы с ри-

¹ Александр Павлович Чехов жил отдельно от семьи.

² Автобиография А. П. Чехова приложена к письму д-ру Г. И. Россолимо (11 окт. 1889 г., II. Т. V, стр. 438—439).

сунками и рассказами, содержание которых было не совсем для нас чуждо. В рисунках были изображены многие из наших летних увеселительных предприятий, а в рассказах те же сцены были переданы словами. Мы догадались, что рисунки принадлежали кисти брата Антона Павловича, молодого художника Николая, а рассказы, подписанные „А. Чехонте“ — самому Чехову. Мы много смеялись над этими рисунками и рассказами, и только одна наша матушка не понимала, зачем это описывать, как люди едят, спят, гуляют и вообще проводят свою жизнь,—да еще в таком смешном тоне. Но вот, наконец, Антон Павлович приехал к нам снова. В своем кабинете, на горке книг он установил человеческий череп, наводивший страх и трепет на всех обитателей дома. Чехов не любил, чтобы ходили к нему в комнату, и череп в достаточной мере обеспечивал его от посетителей... Его труды—рукописи, заметки, письма и т. п.—хранились в маленьком чемоданчике, стоявшем в его комнате. Мы видели, что нередко Антон Павлович уединялся или в отдаленном уголку сада, или в своей комнате,—и мы догадывались, что он пишет. Наша матушка как то пригрозила:

— Я тебе, Антоша, твой чемоданчик с бумагами сожгу. Будешь знать, как над людьми смеяться...

Прошло немного времени и чемоданчик, действительно, исчез. Антон Павлович опечалился; видно было, что в чемоданчике хранилось нечто действительно для него ценное. В виду недавних угроз матери нетрудно было догадаться, что это произошло не без ее участия... В похищении

участвовала, служившая у нас в доме, деревенская девушка Олька. Антон Павлович составил целый план воздействия на нее. Ночью он стал пугать ее черепом, пригрозил, что сделает с нею то же, что сделано с черепом, и т. д. Олька не выдержала всех этих ужасов, разрыдалась и указала, где находится чемоданчик. Мы немедленно отправились в старый, полуразрушенный шалаш в саду и, действительно, нашли там похищенное...¹

(Беседа с В. Зембулатовым. «А. П. Чехов в юности». «Приазовск. Край». 1904, № 220).

... Я писал маленькие рассказы, а их долго не принимали, считали ненастоящим делом... Придешь за ответом в редакцию юмористического журнала. Редактор даже не повернется, видишь только спину у подлеца.— „Не принят“.

(С. Щ. «Из воспомин. об А. П. Чехове». «Русск. мысль», 1911. Кн. 10).

Принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. „Что? Это называется—произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких штучек не надо...“ Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: эх вы, Че-хо-вы! Должно быть, это было смешно!..

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сборн. «О Чехове». М. 1910 г., стр. 123).

Москва. Драчевка. г. А. Че—ву.— „Ужасный сон“ только тем и ужасен, что повторяет

¹ Летом 1880 г. А. П. гостил у своего товарища по гимназии и университету Зембулатова, в имении его отца Котломине, в 35 верстах от Таганрога, где бывал и ранее.

всем надоевшие темы. Вторую статейку поместим. (№ 10).

Несколько строк не искупают непроходимо-пустого словотолчения. Мы говорим о „Ничего не начинай“. То же о „Легенде“. Кстати, что это за имя „Фуня“?—Очерк подождет до лета. (№ 18).

„Портрет“ не поместим. Он до нас не касается. Вы, очевидно, писали его для другого журнала. (№ 44).

Москва. Сретенка. г. А. Ч.—Очень длинно и бесцветно; нечто в роде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой. (№ 48).

Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя писать без критического отношения к своему делу. (№ 51) ¹.

(Из Почтового ящика журн.
„Стрекоза“ за 1880 г.).

Во второй же год по приезде в Москву, Антон Павлович написал еще одну ² большую драму с конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд и т. п. Я переписывал эту драму, и у меня от волнения холодело под сердцем... Это было что то очень громоздкое, но тогда казавшееся мне, гимназисту, верхом совершенства. Драму эту Антон Павлович, тогда студент второго курса, лично отнес к М. Н. Ермо-

¹ После этого ответа «Почтов. ящика», Чехов прекратил работу в «Стрекозе», где за 1880 г. было напечатано 9 его маленьких рассказов,—и перешел в «Зритель», затем в «Будильник» и др. юмористич. журналы. Печатался под псевдонимами: «Антоша Чехонте», «Антоша Ч.», «А. Чехонте», позже довольно часто подписывался «Человек без селезенки» (типографская опечатка неоднократно превращала эту подпись в «Человека без слезинки») и проч.

² Первая драма—упомянутая выше «Везотцовщина».

ловой на прочтение и очень желал, чтобы она поставила ее в свой бенефис. Не знаю, что ответила брату г-жа Ермолова, только мои старания четко переписать драму так и пропали даром: пьеса вернулась обратно и была разорвана автором на мелкие куски. От нее уцелела только фамилия „Войницкий“, которая воскресла потом в „Дяде Ване“¹.

(Мих. Павл. Чехов. «Об А. П. Чехове». Сб. «О Чехове», стр. 267).

... В молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем незамечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым...

А. П. Чехов. «Чайка». Полн. собр. соч., изд. Нар. Ком. Прос. 1918—19 г.г. Т. XIII. стр. 141—142).

В молодости Чехов был пародист блестящий, а подражал с таким совершенством, что копия легко могла сойти за оригинал... Его молодой

¹ В 1920 г., в архиве Чехова была найдена неизвестная 4-х актная пьеса Чехова, без заглавия. Судя по содержанию: «конокрады, стрельба, женщина, бросающаяся под поезд», — это и есть та пьеса, о котор. рассказывает Мих. П. Чехов, только фамилия одного из героев пьесы не «Войницкий», а «Войнипев». — Пьеса выпала в изд. Центрархива «Новая Москва». 1923 г.

талант играл, как шампанское, тысячами искр. Вот по бульварному он писать не умел: начнет, бывало, роман с приключениями для того же „Будильника“, а силища таланта сразу скажется, и вкрадывается в вещь серьез не по читателю, и Антон Павлович бросает начатые главы: скучно, ибо слишком художественно и умно...

(А. В. Амфитеатров. «Ант. Павл. Чехов». «Славные мертвецы». СПб., 1912 г. Стр. 39).

У покойного редактора московского „Будильника“, А. Д. Курепина, человека весьма образованного и большого поклонника французской беллетристики, однажды... вышел с молодым начинающим А. П. Чеховым... большой литературный спор. Курепин доказывал, что русские беллетристы всегда (в ту пору) тенденциозны, не умеют писать легко и занимательно для большой публики. Чехов же, соглашаясь, что легкое и внешне занимательное письмо не в нравах хорошей русской литературы, стоял однако на том, что причиною тому не неумение, а нежелание. Русский писатель, даже третьестепенный, всегда на всю работу свою смотрит, как на задачу серьезную, готовится к ней наблюдением, изучением, тактически учитывает ее общественное влияние, вообще обременяет себя веригами, которые надевать легким и занимательным поставщикам большой публики в Западной Европе и в голову не приходит. Если же махнуть рукой на обычную добросовестную манеру русского художественного письма, то нет ничего легче, как писать подобные повести и романы, хотя бы без всякого знакомства со средою и обстановкой...

У Курепина в спорах была наивная манера: если при нем отрицали достоинства какогонибудь произведения, которое ему нравилось, он заявлял, в виде убийственного аргумента:

— Плохо? А вы напишите чтонибудь такое же, тогда и говорите, что плохо.

Тогда был в моде роман Мавра Иокая¹ (кажется „Плотина“)... В споре коснулись и его. Чехов высказался о нем отрицательно. Курепин пустил в ход обычный убийственный свой аргумент. Но Чехов не отступил, а возразил очень спокойно, что, мол, почему же нет? написать можно!

— Как Мавр Иокай?—ужаснулся Курепин.

Чехов объяснил, что может быть и не как Мавр Иокай, но он берется написать повесть, которую публика будет читать нарасхват и единодушно примет за переводную с венгерского, хотя он по венгерски не смыслит ни аза, ничего не знает о Венгрии и, кроме как в романе Мавра Иокая, отродясь ни одного венгерца не видел.

Возникло литературное пари. Плодом его явилась „Ненужная победа“. Чехов пари выиграл. Покуда повесть печаталась² (в приложениях к „Будильнику“...) редакция была засыпана восторженными читательскими письмами:

— Ах, как интересно! Нельзя ли чтонибудь еще того же автора? Почему не назван автор? Ведь это Мавра Иокая, не правда ли?

(А. В. Амфитеатров. «Ант. Павл. Чехов». «Славные мертвецы», стр. 230—231).

¹ Маурус Иокай (1825—1904)—известный венгерский писатель, автор многочисленных социальных и исторических романов.

² Роман «Ненужная победа» печатался в «Будильнике», в 1882 г.

Антон Павлович писал в „Будильнике“ в то время почти всю прозу. Сколько писалось, а ведь писалось не столь по любви к искусству, сколь по редакторскому заказу, и платилось за все это гроши, и Антон Павлович говорил нам...—„Мой идеал заработка получать 15 коп. за строчку и зарабатывать 300 руб. в месяц“. На что мы скептически улыбались и говорили:

— Губа то у вас не дура. Разве это мыслимо?

— А вот увидите!

— Ну дай бог нашему теляти волка поймать...

(А. Амфитеатров.—Ю. Соболев. «А. П. Чехов. Литер. экскурсии». М. 1924 г., стр. 31).

— Ужасно мне тогда мало платили,—говорил он:—копеек по 5, по 6 со строчки. Рублей 8—10 за рассказ, и это очень долго продолжалось. Потом стали набавлять.

(А. Федоров. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 287).

Я начинал печататься, — рассказывал он, — лет девятнадцати. Когда стал зарабатывать литературой двадцать рублей в месяц, я почувствовал себя хорошо; потом пятьдесят, наконец. семьдесят пять—это было уж совсем превосходно...

(С. Ш. «Из воспомин. об А. П. Чехове». «Русск. мысль». 1911, кн. 10).

Придем к Курепину получать гонорар, я, Пальмин, Кичеев ¹, всей компанией, чтобы было не скучно. „Дома?“—„Дома. Просят вас подождать“. Сидим. Ждем час и два, затем выйдем

¹ Л. И. Пальмин (1841 — 1891) — поэт, печатавшийся в московск. и петербургск. юмористическ. изданиях, впоследствии — постоянный сотрудник «Русской Мысли». — Н. П. Кичеев—фельетонист.

из терпения и начнем стучать в стенки, в двери. Появится какойнибудь заспанный малый с пухом в волосах, и с удивлением спросит: „Вам кого?“— „Курепина!“— „Вот хватились! Да уж он уехал давно“.— „Как уехал?“— „Да так: вышел с черного хода, сел на лошадь и уехал“.— „А про нас ничего не говорил?“— „Говорил: пусть зайдут какнибудь после; нынче мне некогда“. Плюнем, да всей компанией и пойдем. И таким образом, сколько сапог, бывало, истреплешь, прежде чем удастся получить грошевый гонорар... ¹

(А. С. Грузинский. Воспомин.—А. Измайлов. «Чехов». М. 1916 г., стр. 148—149).

... Бывало, я хаживал в „Будильник“ за трехрублевой раз по десяти...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1883. 5 сент. П. Т. I, стр. 69).

¹ Хождения за трехрублевым гонораром продолжались у Чехова и в последующие годы.—За свой роман «Драма на охоте», печатавшийся в газете «Новости Дня», в течение 1884—1885 гг., он получал по три рубля в неделю. Вместо А. П. за получкой часто ходил его брат Мих. Павл. «...Ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку... Чего вы ждете? — спросит наконец издатель...—Да вот получить три рубля...—У меня их нет... Может быть, вы билет в театр хотите? Или брюки новые? Тогда сходите к портному такому то и возьмите у него брюки за мой счет!» (М. Чехов.—«Об А. П. Чехове». Сб. «О Чехове». М. 1910, стр. 273).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО В «ОСКОЛКАХ». — ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНСКА И ЗВЕНИГОРОДА. — «СКАЗКИ МЕЛЬПО-
МЭНЫ». — «ТОСТ ПРОЗАИКОВ».

(1883—1885 гг.).

Приехал я в Москву для продажи моих книг... Поэт Л. Пальмин, тогда уже постоянный сотрудник журнала, познакомил меня с Чеховым. Знакомство это было очень оригинальное. Я обедал с Пальминым у Тестова и затем поехал к Пальмину пить чай. Было это зимой; под вечер, но засветло... Я просил Пальмина, чтобы он приглашал иногда кое кого из московской пишущей братии для писания в „Осколках“. Он обещал. А когда мы подъезжали с ним к его квартире, сказал мне, указывая на тротуар:

— Да вот два даровитые брата идут: один—художник, а другой—писатель. У него очень недурненький рассказец был в „Развлечении“.— Это были два брата Чеховы! Николай—художник, и Антон...

— Так познакомь меня поскорей с ними, Лиодор Иванович!—сказал я Пальмину.—Остановимся!

Мы вылезли из саней. Пальмин окликал Чеховых и познакомил нас. Мы вошли в ближай-

шую портерную и, за пивом, я пригласил сотрудничать в „Осколках“ и Антона и Николая Чеховых. Антон Чехов сейчас же стал присылать из Москвы в „Осколки“ свои рассказы...

Антон Чехов впоследствии называл себя моим литературным крестником... ¹.

(«Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб. 1907, стр. 242—243).

Милостивый государь! Имею честь вас уведомить, что присланные вами в два приема рассказы я получил и отобрал из них, для помещения в журнале „Осколки“, три рассказа: „Речь и ремешок“, „Неудачный визит“ и „Нарвался“ ². За присылку их приношу вам мою благодарность. Два же рассказа: „Выучил“ и „Между прочим“ спешу вам при сем возвратить. Мне вообще приятно ваше сотрудничество. Мелкие ваши прозаические вещицы я всегда готов помещать, ежели они будут согласны с программой журнала...

(Н. А. Лейкин—А. П. Чехову. СПб. 1882, 14 ноября. «Н. А. Лейкин в его воспомин. и переписке», стр. 244).

Посылаю вам несколько рассказов... Вы à propos замечаете, что мои „Вербa“ и „Вор“ несколько серьезны для „Осколков“. Пожалуй,

¹ Лейкин, Николай Александрович (1841—1906)—известный беллетрист, бытописатель купечества, редактор-издатель юмористич. журн. «Осколки» в Петербурге.—В письме к нему, от 25 июня 1883 г. Чехов писал: «Осколки—моя купель, а вы—мой крестный батюка».

² Рассказы «Неудачный визит» и «Нарвался» были напечатаны в 1882 г. в №№ 47 и 48 «Осколков», с этого времени и начинается сотрудничество Чехова в петербургской прессе. Рассказ «Речь и ремешок» был затерян в редакции и найден лишь полтора года спустя.

но я не посылал бы вам не смехотворных вещей, если бы не руководствовался при посылке кое какими соображениями. Мне думается, что серьезная вещьца, маленькая, строк примерно в 100, не будет сильно резать глаз, тем более, что в заголовке „Осколков“ нет слов „юмористический и сатирический“, нет рамок в пользу безусловного юмора... Легкое и маленькое, как бы оно ни было серьезно (я не говорю про математику и кавказский транзит), не отрицает легкого чтения... Упаси, боже, от суши, а теплое слово, сказанное на пасху вору, который в то же время и ссыльный, не зарежет номера. (Да и правду сказать, трудно за юмором угоняться! Иной раз погонишься за юмором, да такую штуку сморозишь, что самому тошно станет. Поневоле в область серьеза лезешь...) Буду серьезничать только по большим праздникам...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва, 1893. март. II. Т. I, 32—33).

... Ты не рожден субъективным писакой... Это не врожденное, а благоприобретенное... Отречься от благоприобретенной субъективности легко, как пить дать. Стоит быть только почестней: выбрасывать себя за борт всюду, не совать себя в герои своего романа, отречься от себя хоть на полчаса. Есть у тебя рассказ, где молодые супруги весь обед целуются, нуют, толкут воду... Ни одного дельного слова, а одно только благодушие! А писал ты не для читателя. Писал, потому что тебе приятна эта болтовня. А опиши обед, как ели, что ели, какая кухарка, как пошел твой герой, довольный своим ленивым

счастьем: как пошла твоя героиня, как она смешна в своей любви к этому, подвязанному салфеткой, сытому объевшемуся гусю... Всякому приятно видеть сытых, довольных людей это—верно, но, чтоб описывать их, мало того, что они говорили и сколько раз целовались. Нужно кое что и другое: стречься от того личного впечатления, которое производит на всякого неозлобленного медовое счастье. Субъективность ужасная вещь. Она не хороша уже тем, что выдает бедного автора с руками и ногами. Бьюсь об заклад, что в тебя влюблены все поповны и писарши, читавшие твои произведения...¹

(А. П. Чехов—Александру Павл. Чехову.
Москва, 1883, 19 апр. П. Т. I, 39).

Пиши рассказы в 50—80 строк, мелочи et cetera. Посылай сразу по 5—10 рассказов... Плата великолепная и своевременная...². Еще надо тебе сказать, „Осколки“ теперь самый модный журнал. Из него перепечатаывают, его читают всюду... И не мудрено. Сам видишь, в нем проскакивают такие штуки, какие редко найдешь и не в подцензурных изданиях. Работать в „Осколках“ значит иметь аттестат. Я имею право глядеть на Будильник свысока и теперь едва ли буду где нибудь работать за пятак: Фраже стал³. А посему ничего не потеряешь, если на

¹ Старший брат А. П.—Александр (умер в 1913 г.)—балетрист, печатался одновременно с А. П. в мелкой московск. прессе, затем, по рекомендации А. П., попал в «Осколки», «Пет. Газету», «Нов. Время». А. П. считал его талантливым писателем, но часто стоявшим на ложном пути и пытался руководить им.

² Ант. Павл. получал в «Осколках» 8 коп. за строчку.

³ Московский ювелир.

первых порах сильнее поработаешь, перепишешь раза 2—3...

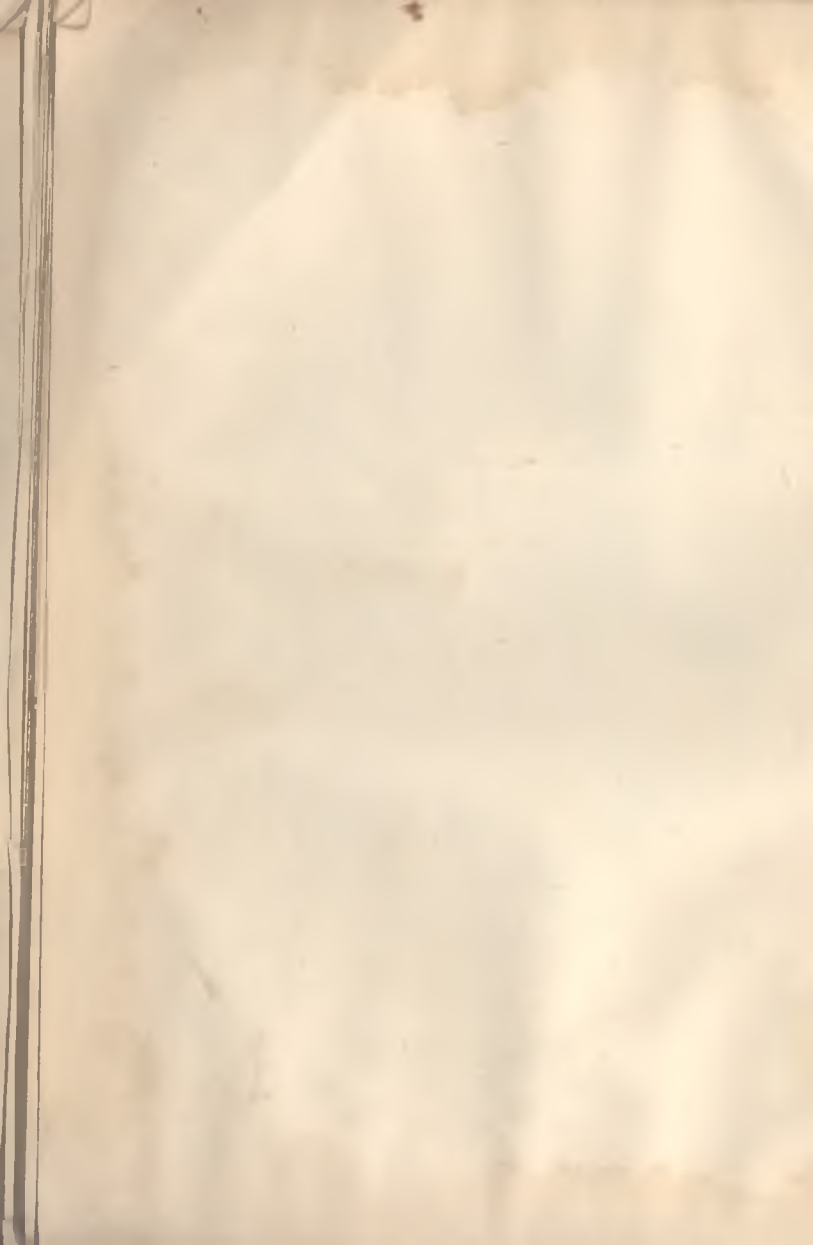
(А. П. Чехов—Алекс. Павл. Чехову. Москва. 1883, апрель. П. Т. I, 44—45).

... Говоря о завидующих газетчиках, я имел в виду газетчиков, а какой ты газетчик, скажи на милость! Я, брат, столько претерпел и столь возненавидел, что желал бы, чтобы ты отрекся имени, которое носят уткины и кичеевы. Газетчик значит, по меньшей мере, жулик, в чем ты и сам не раз убеждался. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю и, говорят, издали стал походить на жулика. Скорблю и надеюсь, что рано или поздно изолирую себя, а la ты. Ты не газетчик, а вот тот газетчик, кто, улыбаясь тебе в глаза, продает душу твою за 30 фальшивых серебрянников и за то, что ты лучше и больше его, ищет погубить тебя чужими руками—вот это газетчик, о котором я писал тебе... Я газетчик, потому что много пишу, но это временно... Оным не умру. Коли буду писать, то непременно издадека, из щелочки... Не завидуй, братец, мне! Писанье кроме, дерганья, ничего не дает мне. 100 р., которые я получаю в месяц, уходят в утробу, и нет сил переменить свой серенький, неприличный сюртук на что либо менее ветхое. Плачу во все концы, и мне остается nihil. В семью ухлопывается

1 О завидующих газетчиках А. П. писал брату в предыдущем письме в связи с разговором о личных делах и отношениях: «У нас, у газетчиков, есть болезнь — зависть. Вместо того, чтобы радоваться твоему успеху, тебе завидуют и... перчику! перчику! А между тем одному богу молятся, все до единого одно дело делают... А как все это отравляет жизнь!»—Алекс. Павл., благодаря своей мнительности, принял эти слова на свой счет.



А. П. Чехов в 1883 г.



больше 50. Не с чем в Воскресенск ехать... Живи я в отдельности, я жил бы богачом, ну а теперь... на реках Вавилонских седоком и плакоком. ... Пастухов ¹ водил меня ужинать к Тестову, пообещал 6 к. за строчку. Я заработал бы у него не сто, а 200 в месяц. Но сам видишь, лучше без штанов с голой ж... на визит пойти, чем у него работать. „Будильник“ я не терплю и если соглашусь строчить в нем, то не иначе, как с болью. Чорт с ними! Если бы все журналы были так честны, как „Осколки“, то я на лошадях бы ездил. Мои рассказы не подлы и, говорят, лучше других по форме и по содержанию. На литературных вечерах рассказываются мои рассказы, но... лучше с триппером возиться, чем брать деньги за подлое, за глумление над пьяным купцом, когда и т. д. Чорт с ними! Пождем и будем посмотреть, а пока ходим в сереньком сюртуке. Погружусь в медицину, в ней спасение, хоть я и до сих пор не верю себе, что я медик...

(А. П. Чехов—Ал. П. Чехову. Москва. 1883, 19 мая. П. Т. I, 51—52).

Настоящий присыл принадлежит к неудачным. Заметки бледны ², рассказ не отшлифован и больно мелок. Есть тема получше и написал бы побольше и получил, но судьба на этот раз против меня. Пишу при самых гнусных условиях. Передо мной моя не литературная работа, хло-

¹ Пастухов—редактор-издатель бульварной газеты «Московск. Листок».

² Под заметками А. П. подразумевает «Осколки московск. жизни», юмористические фельетоны, которые он писал под псевдонимами Улисс и Рувер в течение трех лет (1883—85 гг.).

пающая немилосердно по совести ¹, в соседней комнате кричит детиныш приехавшего погостить родича, в другой комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“ ²... Кто то завел шкатулку, и я слышу Елену Прекрасную... Для пишущего человека гнусней этой обстановки и придумать трудно что либо другое. Постель моя занята приехавшим сродственником, который то и дело подходит ко мне и заводит речь о медицине. „У дочки, должно быть, резь в животе—оттого и кричит“... Я имею несчастье быть медиком, и нет того индивидуя, который не считал бы нужным „потолковать“ со мной о медицине. Кому надоело толковать про медицину, тот заводит речь про литературу...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1883, август. II. Т. I, 65—66).

... Рассказиков напеку... Зачем вы в деле скоро и многописания меня сравниваете с собой? Литература ваша специальность... На вашей стороне опыт, уверенность в самом себе, министерское содержание. А я, пишущий без году неделю, знающий иную специальность, неуверенный в доброкачественности своих извержений, не имеющий отдельной комнаты для письма и волнуемый страстями... могу ли я поспеть за вами? Если буду писать двадцатую часть того, что вы пишете, и за это слава богу...

¹ А. П. готовился к государствен. экзаменам в университете.—Любопытен рассказ Алекс. Чехова «Завтра экзамен» (кстати, того самого «сродственника», о котор. упоминается в письме), напечатанный в юмористич. журн. «Развлечение» в 80 гг. В нем дана живая картинка домашней обстановки, при которой приходилось работать А. П. (Перепечатка имеется в кн. Ю. Соболева. «Лит. Чехов—Неизданные страницы». Изд. «Сев. Дни». М. 1916).

² «Запечатленный ангел»—роман Н. С. Лескова.

Портной принес новое пальто. Поздравляю: не все ваши сотрудники ходят в старых пальто...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1884, 7 марта. П. Т. I, 92).

В последние три года студенчества Чехов писал необычайно много и своим заработком служил главной опорой для своей небогатой семьи. Как много писал в это время Чехов, видно из слов его брата Ивана Павловича, который рассказывал мне, что только в Петербург Чехову нужно было еженедельно отправлять к каждому понедельнику по рассказу, не говоря уже о других работах. Несмотря на это, Чехов однако и в это время медицины не бросал, аккуратно посещал лекции и клиники... Товарищ он был хороший, общестуденческой жизнью очень интересовался, часто ходил на собрания и сходки (время тогда—начало 80 годов—было весьма бурное для студенчества), но активного участия в общественной и политической жизни студенчества не принимал и был всецело захвачен литературными интересами... Товарищи его в это время мало знали и обратили лишь на него внимание, когда узнали, что он „пописывает“...

(М. Членов. «А. П. Чехов и медицина». «Русск. Вед.». 1904, № 91).

Каждое лето все Чеховы приезжали на дачу к Ивану Павловичу в Воскресенск и поселялись в приходском училище ¹... Когда Антон Павлович окончил в 1884 г. курс университета и тоже приехал туда же, то его встретил там

¹ В Воскресенске. заштатном городке Московск. губ., в то время служил брат А. П., Иван Павл., учителем приходск. училища.

уже порядочный круг знакомых... Каждый день вся компания совершала далекие прогулки, играли в крокет; велись либеральные разговоры о политике, увлекались Щедриным. Здесь Антон Павлович познакомился с военной жизнью, что оказало ему впоследствии услугу при создании „Трех сестер“¹...

Ему нужны были впечатления, и он стал их теперь черпать для своих сюжетов из той жизни, которая окружала его в Воскресенске. Он вошел в нее целиком... В двух верстах от Воскресенска находилась Чикинская земская больница, которой заведывал тогда известный земский врач П. А. Архангельский... Он скоро сошелся с П. А. Архангельским, стал принимать у него больных и вообще любил бывать в Чикине. Эта больница сблизила его с крестьянами, открыла перед ним нравы их и низшего медицинского персонала и отразилась в тех произведениях Антона Павловича, в которых изображаются врачи, больные и фельдшера.

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 27—29).

Первые мои яркие воспоминания об Антоне Павловиче относятся к 1881 г., когда он с братом Мишей, а может быть и еще с кем нибудь из своих родственников,—сейчас не припомню,—пришел провести вечерок в „Чикино“, где находилась земская лечебница и арестный дом... С того времени Антон Павлович стал посещать

¹ В Воскресенске стояла батарея, с командиром которой, В. Мзевским и его семьей сблизился А. П.—Дети Маевских изображены в расск. «Детвора», написан. в 1886 г. Пьеса «Три сестры», написана в 1900 г.

и больницу... Нередко он садился на табуретку в кабинете врача, в какомнибудь свободном уголке и оттуда наблюдал своими проникновенными глазами за работой врачей и студентов... Иногда мы чувствовали эти наблюдавшие взоры, и однажды кажется у В. Н. Сиротинина вырвалось восклицание: „уж наверно Антон Павлович на нас заработает не один пятачок!“... В то время для Антона Павловича, имевшего в литературном труде единственное и далеко не надежное обеспечение,—построчный в газетах заработок, кажется по 5 коп. за строчку,—имел огромное значение...

Посещал Антон Павлович Воскресенск и в следующие годы, посещал он довольно часто и Воскресенскую лечебницу,—тогда уже студентом старших курсов и только что окончившим врачом. Он часто проводил в лечебнице время с утра и до окончания приема... Он всегда терпеливо выслушивал больного, ни при какой усталости не возвышал голоса, хотя бы больной говорил и не относящееся к уяснению его болезни... Душевное состояние больного всегда привлекало особенное внимание Антона Павловича, и, наряду с обычными медикаментами, он придавал огромное значение воздействию на психику больного со стороны врача и окружающей среды...

(Д-р П. А. Архангельский. «Из воспоминаний о Чехове». Ю. Соболев. «Ант. Чехов. Незданные страницы». М. 1916 г., стр. 134—138).

Живу теперь в Новом Иерусалиме ¹... Живу с апломбом, так как ощущаю в своем кармане

¹ Монастырь в окрестностях Воскресенска.

лекарский паспорт ¹... Природа кругом великолепная. Простор и полное отсутствие дачников. Грибы, рыбная ловля и земская лечебница. Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галлерей и сводов, я придумываю темы для „звуков сладких“. Тем много, но писать решительно не в состоянии... Скажите на милость, где бы я мог печатать такие „большие“ рассказы, какие вы видели в „Сказках Мельпомэны“? В „Мирском толке“? И к тому же лень... Каждый вечер гуляю по окрестностям в компании, пестреющей мужской, женской и детской *modes et robes*... Вечером же хожу на почту к Андрею Егорычу получать газеты и письма, причем копаюсь в корреспонденции и читаю адреса с усердием любопытного бездельника. Андрей Егорыч дал мне тему для рассказа „Экзамен на чин“ ²... Со мной семья, варящая, пекущая и жарящая на средства, даваемые мне рукописанием. Жить можно... Одно скверно: ленив и зарабатываю мало... Курс я кончил... Предлагали мне место земского врача в Звенигороде—отказался.

— Ах да! Книжку я напечатал в кредит с уплатою в продолжение 4-х месяцев со дня выхода. Что теперь творится в Москве с моей книжкой, не ведаю... ³.

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Воскресенск. 1884, 24 июня. П. Т. I, 99—102).

¹ А. П. окончил курс университета в 1884 г., со званием «лекаря и уездного врача».

² «Экзамен на чин» напечатан в «Осколках» в 1884 г. — Андрей Егорыч—воскресенский почтмейстер.

³ «Сказки Мельпомэны»—первый сборник рассказов Чехова, появившийся в печати, в изд. автора. Рассказы перепечатаны из журн. «Мирской толк», Альманаха «Бу-

Приезжал в Чикино и звенигородский врач С. П. Успенский, молодой человек из семинаристов...

— Послушай, Антон Павлов,—обратился он к Чехову,—я поеду в отпуск, а заменить меня некем... Послужи, брат, за меня...

Антон Павлович согласился... Этот маленький городишко находился в 21 версте от Воскресенска и служил административным центром всего уезда. Приняв на себя заведывание земской лечебницей, Антон Павлович должен был за временным отсутствием и уездного врача *ex officio* исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде. Пребывание в Звенигороде далеко не прошло для писателя даром: здесь он посещал заседания уездных съездов («Сирена») ¹ и прекрасно познакомился со всем укладом уездной чиновничьей жизни. Вообще Воскресенск и Звенигород сыграли в литературной жизни Антона Павловича немаловажную роль. На звенигородских впечатлениях, напр., основан ряд его рассказов—«Мертвое тело», «На вскрытии» и т. д.

(Мих. Павл. Чехов. «Антон Чехов и его сюжеты», стр. 30).

...Дал знать в Москву брату Николаю о предстоящем вашем приезде. Брат будет вашим путеводителем... Сам же я вырваться из Звенигорода не могу до приезда врача, должность коего

дильника» и «Осколков». В нем помещены были: «Он и она», «Трагик», «Барон», «Месть», «Два скандала», «Жены артистов». До «Сказок Мельпомены» А. П. пытался выпустить в свет другой сборник (в 1883 г.), но не смог расплатиться с типографией, и набор был приостановлен, книга не вышла.

² «Сирена» написана в 1887 г.

исправляю... Заранее предупреждаю: удобств на пути не найдете... Дороги и города хуже худшего, но зато масса беллетристического материала. Если переночуете у меня, то свожу вас в больницу на приемку... (рассказ на 300 строк).

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Звенигород. 1884, июль. П. Т. I, 107—108).

В 1884 г., будучи осенью проездом в Москве, узнал от одного товарища, что литературный Антоша Чехонте и таганрогский Антоша Чехонте одно и то же лицо... Едем с товарищем к Антоше Чехонте. Если память мне не изменяет, Антон Павлович жил тогда на Сретенке, в Головинском переулке, занимая небольшую скромную квартиру. Он жил с своими родителями, братьями и сестрой...

Чехов поразил меня и пленил... От него так и веяло самоцветностью, умом, привлекательностью... У Антона Чехова оказалась про запас для друзей уже и своя книжка „Сказки Мельпомены“, которую он тут же с милой надписью и подарил мне... По приезде из Москвы в Одессу я прочитал подаренные мне Чеховым „Сказки Мельпомены“ и пришел в восхищение... Не могу при этом не похвастать, что первая рецензия в России о произведениях Чехова принадлежала мне. В ней я предсказывал блестящую будущность молодому автору.

(П. А. Сергеенко. 1. «О Чехове». «Нива». (ежем. прилож.), 1904 г., № 10, стр. 207—210).

1 П. А. Сергеенко—в то время провинциальный фельетонист юмористическ. изданий и поэт. впоследствии—беллетрист. Ему же принадлежит книга «Как живет и работает Л. Н. Толстой».

Всю эту неделю не посылаю вам нескольких рассказов, ибо был все время и болен и занят; пишу маленькую чепуху для сцены—вещь весьма неудачную...¹ По утрам и вечерам готовлюсь к докторскому экзамену...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва, 1884, 4 ноября. П. Т. I, 116—118).

Был еще у Антона Павловича драматический этюд в одном действии, написанный им 1884 г., под названием „На большой дороге“. Этюд этот был запрещен драматической цензурой потому, что в нем был выведен пропившийся помещик. Я помню, как в вернувшемся из Петербурга цензурованном экземпляре этой пьесы всюду было многозначительно подчеркнуто синим карандашом слово „барин“, очевидно слово это тогда считалось священным, и пропившийся барин не мог быть выводимым на сцене в кабаке..

(М. П. Чехов. «Ант. Чехов, театр, актеры и «Татьяна Репина». Пг. 1924. Стр. 10).

Ну, как живешь? Чай на южном просторе плодишься и размножаешься и стишки пописываешь? Счастливчик. Я же скорблю. Работы—пропасть, денег мало, зима скверная, здоровье негодное... Мечтал к празднику побывать в Питере, но задержало кровохарканье (не чахоточное)...

(А. П. Чехов—П. А. Сергеев. Москва. 1884, 17 дек. П. Т. I, 127).

„ТОСТ ПРОЗАИКОВ“.

...Не моя вина, если требуемый от меня тост заставит вас нахмуриться, и если мой веселый сосед потянет меня за рукав и призовет к по-

¹ «На большой дороге».

рядку! Я смущен, коллеги, и невесело мне. Если бы не было обычая на юбилейных обедах смеяться, то я пригласил бы вас плакать...

Если человек прожил двадцать лет, то он еще так молод, что ему запрещают жениться; если же журнал перевалил через двадцать лет, то его ставят в пример долговечности. Это раз... Во вторых, журнал прожил двадцать лет, а среди нашей обедающей братии нет ни одного, который имел бы право назвать себя ветераном „Будильника“, нет кажется ни одного, который мог бы сказать, что он работал в нашем журнале более десяти лет. Я лично числюсь в штате прозаиков пять-шесть лет, не больше, а между тем три четверти из вас—мои младшие коллеги, и все вы величаете меня старым сотрудником. Хорош старик, у которого нет еще порядочных усов и из которого бьет таким ключом самая настоящая молодость ¹. Журналы недолговечны, пишущие же еще недолговечнее... Прожил „Будильник“ только двадцать лет, а попал уже в старики и пережил чуть ли не двадцать поколений сотрудников. Словно индийские племена исчезали одно за другим эти поколения... Родится и не расцвев, увядает... Смешно: по „Будильнику“ мы имеем предков!

Где же они? Одни умерли... Каждый год, и почему то непременно осенью, нам приходится хоронить кого либо из коллег... Сбежишь не только в частные поверенные или нотариусы, но и подальше: в кондуктора, в почтальоны, в литографы! Я видел третьих, которые просто созна-

¹ Чехову было в это время 25 лет.

вались мне, что они отупели... И все эти смерти, дезертирства, отупения и прочие метаморфозы происходят в удивительно короткий срок. Право, можно подумать, что судьба принимает толпу пишущих за коробку спичек! Не стану я объяснять этой недолговечности, но ею берусь объяснить многое. Объясняю я ею такое печальное явление, как отсутствие окрепших, сформировавшихся и определившихся талантов. Объясняю отсутствие школ и руководящих традиций. В ней же вижу причину мрачного взгляда, установившегося у некоторых на журнальные судьбы. Но что наиболее всего смущает меня, так это то, что та же самая недолговечность является симптомом жизни тяжелой, нездоровой.

Если, коллеги, этот порядок, тянувшийся в течение двадцати лет, естественен и имеет своим конечным пунктом благо, то пусть он и остается. Если же он явление болезненное и указывает только на нашу слабость и неумение выходить из борьбы целым, то пусть он уступит свое место другому порядку.

За новый порядок, за нашу цельность! ¹.

(А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. 22, стр. 103).

...Путь пишущего от начала до конца усыпан тернием, гвоздями и крапивой, и потому здравомыслящий человек всячески должен отстранять себя от писательства. Если же неумолимый рок, несмотря на все предостережения, толкнет когонибудь на путь авторства, то для смягчения

¹ Речь, произнесенная А. П. Чеховым в день 20-летнего юбилея журн. «Будильник», в марте 1885 г.

своей участи такой несчастный должен руководствоваться следующими правилами:

...Следует помнить, что случайное авторство и авторство а-гггггггг лучше постоянного писательства. Кондуктору, пишущему стихи, живется лучше, чем стихотворцу, не служащему в кондукторах.

...Следует зарубить себе на носу, что неудача на литературном поприще в тысячу раз лучше удачи. Первая наказуется только разочарованием, да обидною откровенностью почтового ящика, вторая же влечет за собою томительное хождение за гонораром, получение гонорара купонами 1899 года, „последствия“ и новые попытки...

...Слава есть яркая заплатка на ветхом рубище певца, литературная же известность мыслима только в тех странах, где за уразумением слова „литератор“ не лезут в „словарь 30,000 иностранных слов“...

...Написавши, подписывайся. Если не гонишься за известностью и боишься, чтобы тебя не побили, употреби псевдоним...

...Получивши гонорар делай с ним, что хочешь: купи себе пароход, осуши болото, снимись в фотографии, закажи Финляндскому колокол, увеличь женин турнир в три раза... одним словом, что хочешь. Редакция, давая гонорар, дает и полную свободу действий...

(А. П. Чехов. «Правила для начинающих авторов». Полн. собр. соч., т. 22, стр. 94—97).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В БАБКИНЕ.—«ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА».—ПОСЛЕДНИЙ
ПЕРИОД «АНТОШИ ЧЕХОНТЕ».

(1885 г.)

Сейчас 6 часов утра. Наши спят... Тишина необычайная... Попискивают птицы, да скребет что то за обоями. Я пишу сии строчки сидя перед большим квадратным окном у себя в комнате. Пишу и то и дело поглядываю в окно. Перед моими глазами расстилается необыкновенно теплый, ласкающий пейзаж: речка, вдаль лес, Сафонтьево, кусочек киселевского дома...

Когда мы доплелись до Бабкина ¹, то было уже час ночи... Двери дачи были не заперты... Не беспокоя хозяев, мы вошли, зажгли лампу и узрели нечто такое, что превышало всякие наши ожидания, комнаты громадны, мебели больше, чем следует... Все крайне мило, комфортабельно и уютно... Водворившись, я убрал свои чемоданы и сел жевать. Выпил водочки, винца и... так, знаешь, весело было глядеть в окно на темневшие деревья, на реку... Слушал я, как поет соловей и ушам не верил... Все еще думалось, что я в Москве...

¹ Имение Бабкино, в 5 верстах от Воскресенска, принадлежало земскому начальнику А. С. Киселеву, с которым А. П. познакомился во время пребывания в Воскресенске и Звенигороде. Летом 1885 г. семья Чеховых сняла дачу у Киселева; жила в ней и последующие два лета.

Вчера писал очень много и сейчас посылаю. Работается...

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. Бабкино. 1885.
10 мая. II. Т. I, 142—147).

Просыпались очень рано. Часов в семь утра. Антон Павлович уже сидел у себя за столиком и писал. Теперь уже он был сотрудником „Петерб. Газеты“...¹ Едва Микешка привозил с почты газеты и журналы, как все бросались к ним, вырывали их друг у друга из рук и не было случая, чтобы посланный Чеховым для печати рассказ в Петербург оказался бы ненапечатанным. После обеда всей компанией шли по грибы в Дарагановский лес. Антон Павлович был страстный любитель искать грибы и во время ходьбы легче придумывал темы. Близ Дарагановского леса стояла одинокая Полевщинская церковь, всегда обращавшая на себя внимание писателя. В ней служили всего только один раз в год, и по ночам до Бабкина долетали унылые удары колокола, когда сторож звонил часы. Эта церковь с ее домиком сторожа, у самой почтовой дороги, кажется, дала Чехову мысль написать „Ведьму“ и „Недоброе дело“². Возвратившись из леса, пили чай. Затем Антон Павлович опять писал, или играл в крокет, а в 8 часов ужинали. После ужина шли в большой дом к Киселевым. Мы все были молоды, Антону Павловичу едва исполнилось тогда 25 лет, и все казалось еще в розовом свете. Эти вечера каза-

¹ В „Петерб. Газету“ устроил Чехова, по его просьбе, Н. А. Лейкин, давнишний сотрудник ее. А. П. работал в „П. Г.“ с 1885 по 1888 г.

² „Ведьма“ была напечатана в „Нов. Времени“ в 1886 г.; „Недоброе дело“—в „Петерб. Газете“ в 1887 г.

лись нам превосходными... Антон Павлович шутил, был всегда весел, говорил глупости... В эти вечера много говорилось о литературе, искусстве, смаковали Тургенева, Писемского, Щедрина не сходил с уст. Много читали. Ужасно много. Получались все толстые журналы и газеты. Благодаря жизнерадостности и природы и милых обитателей Антон Павлович и сам был жизнерадостен... Все текло бы хорошо, если бы не безденежье. В „Осколках“ Антон Павлович получал очень мало и к тому же не имел права писать более определенного количества строк в месяц, а „Петерб. Газета“ подчас задерживала плату...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 34—37).

Сейчас погода великолепная—бабье лето. Журавли летят... Но все таки пора отправляться к родным пенатам. Сегодня роковая суббота— время получения денежной почты. Пришла почта, а денег из „Пет. Газ.“ нет и нет! Без этих же денег мне выехать нельзя, ибо надеясь на них я жил по лукуловски и натворил долгов...

В газету писал я чуть ли не три раза. Надоедать совестно и потому не пишу в 4-й раз... В ожидании полочки я все вязну, вязну... по шею вязну...

Больные лезут ко мне и надоедают. За все лето перебивало их у меня несколько сот, а заработал я всего 1 рубль...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Бабкино. 1885, 14 сентября. П. Т. I, 147—148).

Последний номер „Осколков“ немножко удивил меня отсутствием в нем Оск. моск. жизни. Обо-

зрение послал я в понед., стало быть опоздать не мог... Похеренный цензурой рассказ пошел в „П. Г.“ под другим названием и таким образом я не в убытке... ¹

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1885, октябрь. П. Т. I, 155—156).

Вы спрашиваете, что случилось с „Осколками Моск. жизни“, посланными вами для № 4 журнала? Случилась беда. Не будь запасного набора, я не мог бы составить номера. Целый погром. Цензор все захерил: и ваших „Зверей“ и стихи Трефолева, стихи Гиляровского, $\frac{1}{2}$ обозрения Билибина, мой фельетонный рассказ, анекдоты, копилку курьезов и московскую жизнь... И это еще не все: сам журнал еле уцелел. На утро я был вызван в цензурный комитет, и председатель Кожухов (он из Москвы) объявил мне, что журнал будет запрещен, если я не переменю направления, что цензор вымарывает статьи, но против общего направления, против подбора статей он ничего не может сделать, и что тут виноват редактор. Объявил мне также, что начальник главного управления по делам печати вообще против сатирических журналов и не находит, чтобы они были необходимы для публики, что... и т. д. Громы разверзлись страшные. Мне приказано, чтобы весь запас каждую неделю посылаем был в комитет на новое рассмотрение, и мотивировано было это тем, что неделю раньше могло быть дозволено, то неделю позже, вследствие некоторых циркуляров, не может быть дозволено. Затем я прослышал, что мне хотят запретить

¹ Рассказ «Упразднили».

розничную продажу. Но что я без розничной продажи? Она—все. Без нее, одними подписными деньгами, я не мог бы и половины того платить сотрудникам, что я теперь плачу. Я бросился хлопотать. Нашлись друзья, заступники, сторонники, почитатели моего пера, и кое как дело уладилось, но все таки Дамоклов меч висит, и надо, хоть на время, сократиться. Против рожна не попрешь! Я просил пропустить „Зверей“ и утверждал, что это невинный рассказ, но в комитете мне сказали: „неужели мы не понимаем, что тут идет речь не о зверях“... ¹

(Н. А. Лейкин—А. П. Чехову. ОПБ. 1885, 10 октября. «Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке», стр. 240—241).

Погром на „Осколки“ подействовал на меня, как удар обухом... С одной стороны, трудов своих жалко, с другой, как то душно, жутко... Конечно вы правы: лучше сократиться и жевать мочалу, чем с риском для журнала хлестать плетью по обуху. Придется подождать, потерпеть... Но думаю, что придется сокращаться бесконечно. Что дозволено сегодня, из за того придется съездить в комитет завтра, и близко время, когда даже чин „купец“ станет недозволенным фруктом. Да, непрочный кусок хлеба дает литература, и умно вы сделали, что родились раньше меня, когда легче и дышалось и писалось...

Вы советуете мне съездить в Петербург, чтобы переговорить с Худековым ² и говорите, что

¹ Походы и погромы цензуры были бытовым явлением того времени. В Москве цензурные притеснения были еще жестче, чем в Петербурге. Характерен в этом отношении рассказ Чехова «Крест», написанный им еще в 1883 г. См. полн. собр. соч., т. 22.

² Редактор-издатель «Петербургской Газеты».

Петербург не Китай... Я и сам знаю, что он не Китай и как вам известно, давно уже сознал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому, что я живу большой семьей, у меня никогда не бывает на руках и свободной десятирублевки, а на поездку самую некомфортабельную и нищенскую, нужно 50 руб. Где же мне взять эти деньги? Выжимать из семьи я не умею, да и не нахожу это возможным... Если я 2 блюда сокращу на одно, то я стану чахнуть от угрызений совести. Раньше я надеялся, что можно будет урвать на поездку из гонорара „Пет. Газ.“, теперь же оказывается, что начав работать в „П. Г.“, я зарабатываю не больше прежнего, ибо в оную газету я отдаю все то, что раньше отдавал в „Развлечение“, „Буд.“ и пр. Аллаху известно, как трудно мне балансировать и как легко мне сорваться и потерять равновесие. Заработай я в будущем месяце 20—30-ю рублями меньше и, мне кажется, баланс пойдет к чорту, я запутаюсь... Денежно я ужасно напуган и вероятно в силу этой денежной, совсем не коммерческой трусости, я избегаю займов и авансов. На подъем я не тяжел. Будь у меня деньги, я летал бы по городами весям без конца... Писать больше того, что теперь я пишу, мне нельзя, ибо медицина не адвокатура: не будешь работать, застынешь. Стало быть, мой литературный заработок есть величина постоянная. Уменьшиться может, увеличиться—нет... ¹

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1885. октябрь. II. Т. I, 156—158).

¹ Гонорар Чехова в то время в «Осколках» колебался между 45 и 65 рубл. в месяц.—«Пошли я вам сейчас целый мешок статей, и мой гонорар от этого не станет толще, ибо предел ему положен не вами, а рамками журнала...» (из письма к Лейкину, от 23 ноября 1885 г.).

На аванс он смотрел, как на петлю, которую писатель сам набрасывает себе на шею. Случалось, что взяв аванс и убедившись, что обещанную работу дать к условленному сроку не в состоянии, он делал огромные усилия, чтобы достать денег и поскорее снять со своей шеи петлю и вернуть аванс, что конечно больше всех и несказанно удивляло издателя, который не был приучен к такого рода шепетильности ¹.

(И. Н. Потапенко. «Несколько лет с А. П. Чеховым». «Нива». 1914, № 27).

...Рукописей я не перебеляю. Чаще всего я отсылаю черновики, перебеляю же только для „Осколков“ и то иногда, когда кажется мне, что начало рассказа длинно, когда во время письма явится желание изменить чтонибудь *in cogroge*. Я пишу обыкновенно наотмашь...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1885, ноябрь, П. Т. I, стр. 162).

Я писал, как птица поет,—говорил он.—Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я мог писать, когда угодно. Написать очерк, рассказ, сценку мне не стоило никакого труда. Я, как молодой теленок или жеребенок, выпущенный на зеленый и светлый простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головой. Смеялся сам и смешил окружающих. Я брал жизнь и, не задумываясь над нею, тормозил ее туда и сюда. Щипал ее, щекотал, хватал за бока, тыкал пальцем в бока, под грудь,

¹ Воспоминания И. Потапенко относятся к более поздним годам литер. деятельности Чехова,—приводим их здесь, поскольку эта черта денежной шепетильности А. П. проходит через всю его жизнь.

хлопал по животу. Было самому весело и со стороны, должно быть, выходило очень смешно...

(Г. С. Петров. Воспомин. А. Измайлов. «А. П. Чехов», стр. 162).

Литературная деятельность брата прошла на моих глазах... Начал писать шутя. Покажется чтонибудь смешным, садится за стол и быстро пишет рассказ. Иногда мы ему давали темы. Придет он и скажет: пятак тому, кто даст тему! И вот начнем обсуждать вместе. Написанное читали в семье, и Антон угадывал по лицам, хорош ли рассказ...

(Ив. П. Чехов. «Русск. Слово». 1910, № 13).

С рассказами Чехова мне пришлось познакомиться довольно рано, почти в самом начале выступлений Антона Павловича в „Стрекозе“ и „Будильнике“, а потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить с юмористики на художественные темы. В то время он был известен не столько, как Чехов, а больше как Чехонте,—автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не чтонибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по 10 копеек, а за полный сюжет для рассказа по 20 копеек... И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком...

(Н. Телепов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит». Изд. «Никитинск. Субботники» М. 1927, стр. 5—8).

Он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом рассказывала и Е. Я. Чехова: ¹

— Бывало, еще студентом, Антоша сидит за чаем и вдруг задумается, смотрит прямо в глаза, а я знаю, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро, быстро...

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сб. «О Чехове», стр. 114).

— Надо много работать... Каждый день непременно надо работать. Я прежде писал каждый день по рассказу. Потом уж привычка явится...

(А. Федоров. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 286).

¹ Евгения Яковлевна—мать Ант. Павл.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«НОВОЕ ВРЕМЯ».—ПСЕВДОНИМ И ФАМИЛИЯ.—Д. В. ГРИГОРОВИЧ.—«ПЕСТРЫЕ РАССКАЗЫ».—КРИТИКА.—НАЧАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ.

(1886 г.).

Маленькие рассказы Ант. Чехонте, в первой половине восьмидесятых годов все более и более приковывали внимание читающей публики. А среди петербургской литературной братии понемногу начали интересоваться и самой личностью автора.

— Кто он такой? Где живет? Что за странный псевдоним?—задавались вопросы.

(Вл. Тихонов. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 220).

Помню я Чехова начинавшего работать в „Пет. Газете“, помню, как Н. А. Лейкин громко говорил: „Господа, я Щедрина нового открыл“ и рекомендовал его Худекову. Д. В. Григорович рассказывал мне, что он прочел Чеховский рассказ, если память не изменяет, „Егерь“, появившийся в „Пет. Газете“, отправился с этим рассказом к А. С. Суворину—и о Чехове заговорили.

(А. А. Плещеев. «Об А. П. Чехове». «Пет. Дневник Театрала», 1904, № 28).

...Кое какие из моих „понеделньников“ „Петербургской Газеты“ обращали на себя внимание в Петербурге. Когда в „Петерб. Газете“ по-

явился мой „Егерь“, рассказывают, что Григорович поехал к Суворину и начал говорить: „Алексей Сергеевич, пригласите же Чехова! Прочтите его „Егеря“! Грех его не пригласить!“ Суворин написал Курепину¹, Курепин пригласил меня и торжественно важно объявил мне, что меня зовут в „Новое Время“... И даже дал пару советов, что и как написать! Первый рассказ, который я напечатал в „Новом Времени“, был „Панихида“². Он шел не в фельетоне, а выше, над фельетоном. Кажется им открылся ряд „субботников“ в „Нов. Времени“, беллетристических вещей, печатавшихся в газете под таким заголовком по субботам... „Панихиду“ я подписал псевдонимом „Чехонте“, но редакция „Нов. Времени“ телеграммой просила у меня разрешения поставить под рассказом фамилию. Я разрешил. Позже Суворин писал мне о том же. Сказать по правде, тогда я жалел, что так вышло... Я подумывал кое что напечатать в медицинских журналах и хотел оставить фамилию для серьезных статей...

(А. Грузинский. Воспомин. «Русская Правда». 1904, № 99).

Я познакомился с Чеховым давно, вскоре после появления его первого рассказа в „Нов. Времени“ (в 1886 г.). Он работал до того в „Петерб. Газете“, подписываясь А. Чехонте. Я написал ему, чтобы он бросил этот псевдоним и подписывался своей фамилией. Так он и сделал и

¹ А. Д. Курепин, редактор «Будильника», был в то же время московским фельетонистом «Нов. Врем.».

² «Панихида» была напечатана в «Нов. Вр.» в 1896 г., № 3581.

стал более и более обрабатывать свои рассказы. Прежде он писал быстро, как бы мимоходом, как пишет журналист. Он мне говорил, что один из своих рассказов написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик.

(А. С. Суворин. «Маленькие письма». «Нов. Время», 1904, № 10, 179).

Помню, как восторженно и радостно сообщил мне Д. В. Григорович, что познакомился с молодым писателем Чеховым: „Талант, душечка моя, настоящий талант, очень еще молодой, а уж чувствуешь, что настоящий литератор!“ Муж тоже очень обрадовался появлению нового крупного таланта на поприще литературы... Однажды он пришел ко мне с радостной вестью, что Чехов будет у меня, прибавив при этом: „Ты сама увидишь, какой милый, интересный человек...“

(А. И. Суворина. «Воспоминания о Чехове». А. П. Чехов. Затерянные произвед. и пр. Изд «Атеней», 1923. Стр. 185).

Приехав и остановившись в меблированных комнатах купца Олейничикова (угол Невского и Пушкинской), я умылся, надел новое пальто, новые штаны и острые башмаки... Пошел в „Петербург. Газету“... Из „Пет. Газ.“ пошел в „Новое Время“, где был принят Сувориным. Он очень любезно меня принял и даже подал руку.

— Старайтесь, молодой ч-к! — сказал он. Я вами доволен, но только почаще в церковь ходите и не пейте водки. Дыхните!

Я дыхнул. Суворин, не услышав запаха, повернулся и крикнул: „Мальчики!“ Явился мальчик, которому было приказано подать чаю в прикуску

и без блюдечка. За сим уважаемый г. Суворин дал мне денег и сказал:

— Надо беречь деньги... Подтяните брюки...¹.

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. СПб. 1885. Декабрь. П. Т. I, стр. 163—164).

Был я в Питере... Познакомился с редакцией „П. Газеты“, где был принят, как шах персидский. Вероятно, ты будешь работать в этой газетине, но не раньше лета... Но самое главное: по возможности бди, блюди и пыхти, по пяти раз переписывая, сокращая и проч., памятуя, что весь Питер следит за работой бр. Чеховых. Я был поражен приемом, к-рый оказали мне питерцы. Суворин, Григорович, Буренин...²—все это приглашало, воспевало... и мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знай, мол, что меня так читают, я писал бы не так на заказ... Помни же: тебя читают...

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Москва. 1886, 4 января. П. Т. I, стр. 167—168).

Прежде, когда я не знал, что меня читают и судят, я писал безмятежно, словно блины ел; теперь же пишу и боюсь...

(А. П. Чехов—В. В. Билибину. Москва. 1886. 18 янв. П. Т. I, 177).

Работы очень много. Некогда даже обедать... Сейчас только что кончил сцену-монолог „О вреде табака“, который предназначался в тайнике души моей для комика Градова-Сокольского³. Имея в своем распоряжении только 2¹/₂ часа, я испор-

¹ Здесь А. П. имитирует знакомого московского купца (примеч. издательницы к письмам А. П. Чехова).

² В. П. Буренин—член редакции «Нов. Вр.», фельетонист и критик.

³ Артист московского театра Корш.

тил этот монолог... и послал его не к чорту, а в „Пет. Газ.“. Намерения были благие, а исполнение вышло плохиссимое...

Не слышали ли вы чегонибудь о моей книге?¹ Вы советовали нареци ее во св. крещении не псевдонимом, а фамилией... Зачем вы уклонились от мотивировки вашего совета? Вероятно, вы правы, но я, подумав, предпочел псевдоним и не без основания...

(А. П. Чехов—В. В. Билибину. Москва. 1886. 14 (26) февраля. П. Т. I, стр. 187).

Чертовски я богат теперь. Помилуйте, у Суворина работаю! Но, тем не менее, если у вас, г. банкир, в вашей толстой кассе есть сейчас свободные 25 рублей, то по примеру прошлых месяцев, дайте мне их на неопределенный, но короткий срок, ибо у меня сейчас нет ничего, кроме вдохновения и писательской славы, а без дров между тем холодно.

(А. П. Чехов—М. М. Дюковскому². Москва. 1886. 17 (29) февр. П. Т. I, 190).

Так я утомлен, очумел и обалдел в последние недели две, что голова кругом идет. В квартире у меня вечная толкотня, гам, музыка... В кабинете холодно... пациенты и т. д... Вообще грустно. Я с наслаждением уехал бы теперь куданибудь в роде кругосветного плавания... Кстати же, и кашляю.

¹ Сборник мелких рассказов Чехова, печатавшийся в изд. ред. «Осколки», под заглавием: «Пестрые рассказы. А. Чехонте».

² М. М. Дюковский, инспектор Мещанск. училища, близкий знакомый братьев Чеховых. А. П. часто обращался к нему с просьбами «о ссуде в 25 рубл.», ибо «дожилась до того, что в кармане нет даже и тени денег», просил одолжить ему фрак, по случаю свадьбы знакомого, тарелки, ложки и пр. в дни семейных вечеринок и т. д.

Суворин назначил мне 12 коп. со строки. Но от этого мои доходы нисколько не увеличатся. Больше того писать, что я пишу, у меня не хватит ни времени, ни толкастики, ни энергии, хоть зарежьте меня...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1886.
20 февр. П. Т. I, 192—193).

Письмо ваше я получил ¹. Благодарю вас за лестный отзыв о моих работах и за скорое напечатание рассказа ². Как освежающе и даже вдохновляюще подействовало на мое авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как вы, можете судить сами...

Ваше мнение о выброшенном конце моего рассказа я разделяю и благодарю за полезное указание. Работаю я уже шесть лет, но вы первый, который не затруднился указанием и мотивировкой.

Псевдоним А. Чехонте, вероятно, и странен и изыскан. Но придуман он еще на заре туманной юности, я привык к нему, а потому и не замечаю его странности...

Пишу я сравнительно немного: не более 2—3 мелких рассказов в неделю. Время для работы в „Нов. Времени“ найдется, но тем не менее я радуюсь, что условием моего сотрудничества вы не поставили срочность работы. Где срочность—там спешка и ощущение тяжести на шее, а то и другое мешает работать. Лично для меня срочность неудобна уже потому, что я врач и

¹ Письма А. С. Суворина к Чехову до настоящего времени не найдены. В архиве Чехова, после его смерти, их не оказалось.

² «Панихида».

занимаюсь медициной... Не могу я ручаться за то, что завтра меня не оторвут на целый день от стола. Тут риск не написать к сроку и опоздать постоянный... Назначенного гонорара для меня пока вполне достаточно...

На этот раз шлю рассказ, который ровно вдвое больше предыдущего и... боюсь, вдвое хуже... ¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1886, 21 февр. П. Т. I, 194—195).

Я опять о псевдониме и фамилии. Вы напрасно публику припутываете... Откуда публике знать, что Чехонте псевдоним? И не все ли ей равно?.. Весь исписался и чувствую себя на бобах... Пройдет 5—6 лет, и я не в состоянии буду написать одного рассказа в год... Крупное напишу, но с условием, что вы найдете этому крупному место среди избранных толстой журналистики... Надо полагать, после дебюта в „Нов. Времени“, меня едва ли пустят теперь во чтонибудь толстое... Как вы думаете? Или я ошибаюсь?..

(А. П. Чехов—В. В. Билибину. Москва. 1886, 28 февр. П. Т. I, 198).

Милостивый государь, Антон Павлович!

Около года тому назад я случайно прочел в „Петер. Газете“ ваш рассказ; названия его теперь я не припомню; помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное—замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы.

¹ «Ведьма».

С тех пор я читал все, что было подписано Чехонте, хотя внутренне сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониmu. Читая вас, я постоянно советовал Суворину и Буренину следовать моему примеру. Они меня послушали и теперь, вместе со мною, не сомневаются, что у вас настоящий талант,—талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения. Я не журналист, не издатель; пользоваться вами я могу только читая вас; если я говорю о вашем таланте, говорю по убеждению; мне минуло 65 лет; но я сохранил еще столько любви к литературе, с такой горячностью слежу за ее успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней чтонибудь живое, даровитое, что не смог,—как видите,—утерпеть и протягиваю вам обе руки. Но это еще не все; вот что хочу прибавить: по разнообразным свойствам вашего несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде (Мятедь, ночь, местность в „Агафье“ и т. д.),¹ чувству пластичности, где в нескольких строках является полная картина тучки на угасающей заре „как пепел на потухающих угольях“... и т. д. вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно: уважение к таланту, который дается редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю ваших средств; если

¹ Рассказ «Агафья» напечатан в «Нов. Вр.», 15 марта 1886 г.

у вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали, поберегите ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во сто раз выше оценен, чем сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам; вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики...

На днях, говорили мне, выходит книга с вашими рассказами; если она будет под псевдонимом Чехонте,—убедительно прошу вас телеграфировать издателю, чтобы он поставил на ней настоящее ваше имя. После последних рассказов в „Нов. Врем.“ и успеха „Егеря“, оно будет иметь больше успеха...

(Д. В. Григорович—А. П. Чехову. СПб. 1886, 25 марта. «Слово». Сб. второй. К-во Писат. в М-ве. 1914. Стр. 199—201).

Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит вашу старость, я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас. Вы знаете, какими глазами обыкновенно люди глядят на таких избранных, как вы; можете поэтому судить, что составляет для моего самолюбия ваше письмо. Оно выше всякого диплома, а для начинающего писателя оно—гонорар за настоящее и будущее. Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Повторяю, что она поразила меня.

Если у меня есть дар, который следует уважать, то какую пред чистотою вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства. А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый „литературный кружок“: таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают языки. Если пойти мне туда и прочесть хоть кусочек из вашего письма, то мне засмеются в лицо. За пять лет моего шатанья по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и—пошла писать! Это первая причина... Вторая—я врач и по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о двух зайцах никому другому не мешала так спать, как мне.

Пишу это для того только, чтобы хотя немного оправдаться перед вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря. Не помню я ни одного своего рассказа, на

которым я работал бы более суток, а „Егеря“¹, который вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы: машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом... Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал.

Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все таки веры в собственную литературную путевость у меня не было.

Но вот неожиданно-негаданно явилось ко мне ваше письмо. Простите за сравнение, оно подействовало на меня, как губернаторский приказ „выехать из города в 24 часа!“, т. е. я вдруг почувствовал обязательную потребность спешить, скорее выбраться оттуда, куда завяз...

От срочной работы избавлюсь, но не скоро... Выбиться из колеи, в которую я попал, нет возможности. Я не прочь голодать, как уж голодал, но не во мне дело... Письму я отдаю досуг, часа 2—3 в день и кусочек ночи, т. е. время, годное только для мелкой работы. Летом, когда у меня досуга больше и проживать приходится меньше, я возьмусь за серьезное дело.

Поставить на книжке мое настоящее имя нельзя, потому что уже поздно: виньетка готова, и книга напечатана². Мне многие петербуржцы

¹ «Егеръ» напеч. в «Пет. Газ.», в июле 1883 г.

² «Пестрые рассказы».

еще до вас советовали не портить книги псевдонимом, но я не послушался, вероятно, из самолюбия. Книжка моя мне очень не нравится. Это винигрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощищенных цензурой и редакторами юмористических изданий. Я верю, что прочитав ее, многие разочаруются. Знай я, что меня читают и что за мной следите вы, я не стал бы печатать этой книги.

Вся надежда на будущее. Мне еще только 26 лет. Может быть успею чтонибудь сделать, хотя время бежит быстро.

Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу...

(А. П. Чехов—Д. В. Григоровичу. Москва. 1886, 28 марта. П. Т. I, 208—212).

Если не поздно, то на 2-м заглавном листе моей книжки рядом с „А. Чехонте“ поставьте в скобках „А. П. Чехов“. В объявлениях придется делать то же самое. Получил я, представьте, от Григоровича письмо, который требует забросить псевдоним...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1886, 31 марта. П. Т. I, 213).

Я болен. Кровохаркание и слаб... Не пишу... Если завтра не сяду писать, то простите: не пришло рассказа к пасхе... Надо бы на юг, да денег нет... Боюсь подвергнуть себя зондировке коллег... Вдруг откроют чтонибудь в роде удлинённого выдыхания или притупления!.. Мне сдается, что у меня виноваты не так легкие, как горло...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Москва. 1886, 6 апреля. П. Т. I, 219).

Нечаянно, вдруг наподобие *deus ex machina* пришло ко мне письмо от Григоровича. Я ответил и вскоре получил другое с карточкой...¹ Письмо в полтора листа каждое... Старик требует, чтобы я написал что-нибудь крупное и бросил срочную работу. Он доказывает, что у меня настоящий талант (у него подчеркнуто) и в доказательство моей художественности делает выписки из моих рассказов. Пишет тепло и искренно. Я, конечно, рад, хотя и чувствую, что Г. перехватил через край.

30-го апреля я еду на дачу. Летом буду вероятно, на юге. У меня опять было кровохаркание.

Батенька, неужели нам уже скоро 30 лет? Ведь это свинство! За 30-ю идет старость...

(А. П. Чехов—В. В. Билибину. Москва. 1888, 4 апр. П. Т. I, 202—203).

...По моему мнению, описания природы должны быть весьма кратки и иметь характер *à propos*. Общие места в роде: „заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом“ и проч... „Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали“—такие общие места надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, давалась картина.

Например, у тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой

¹ Во втором письме, от 2 апр., Григорович советует Чехову этим же летом приступить к серьезной работе и далее пишет: «По любви вашей к природе и замечательному чувству, с каким вы ее описываете,—вы еще поэт вдобавок. Это драгоценное свойство, столь редкое теперь в литераторах новой формации,—вынесет вас, как на крыльях...»

звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки, и покатила шаром черная тень собаки или волка и т. д. Природа является одушевленной, если ты не брезгуешь употреблять сравнения явлений ее с человеческими действиями и т. д.

В сфере психики тоже частности. Храни бог от общих мест. Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев... Не нужно гоняться за обилием действующих лиц. Центром тяжести должно быть двое: он и она... Пишу это тебе, как читатель, имеющий определенный вкус. Пишу потому также, чтобы ты, пиша, не чувствовал себя одиноким. Одиночество в творчестве тяжелая штука. Лучше плохая критика, чем ничего. Не так ли?.. Я рад, что ты взялся за серьезную работу. Человеку в 30 лет нужно быть положительным и с характером. Я еще пижон, и мне простительно возиться с дребеденью. Впрочем, пятью рассказами ¹, помещенными в „Нов. Времени“, я поднял в Питере переполох, от которого угорел, как от чада...

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Бабкино. 1886, 10 мая. П. Т. I, 229—231).

Про мою книгу ² заговорили толстые журналы. „Новь“ выругала и мои рассказы назвала бредом сумасшедшего, „Русская Мысль“ похвалила, „Сев. Вестник“ изобразил мою будущую плачевную судьбу, на 2-ой странице, впрочем, похвалил...

¹ Эти пять рассказов следующие: «Панихида», «Ведьма», «Агафья», «Кошмар» и «Святой ночью».

² «Пестрые рассказы».

Вчера я получил приглашение от „Русской Мысли“. Осенью напишу туда что нибудь...

(А. П. Чехов—Н. А. Лейкину. Бабкино. 1886. 30 июля. П. Т. I, 259).

„Пестрые рассказы“ (Ап. Е. Чехова)¹. Рассказы эти вполне оправдывают свое название пестрых: пестры они и потому, что содержание их относится к самым разнообразным слоям, как столичной, так и провинциальной жизни, а еще более потому, что на два,—много на три рассказа, маломальски заслуживающих внимания, вы найдете не менее пяти представляющихся ничем иным, как совершенно праздною увеселительною газетною болтовней. Дело в том, что все эти рассказы, редко превышающие пять страниц, не что иное, как перепечатанные и изданные отдельно фельетоны, помещавшиеся некогда на страницах „Нового Времени“, „Осколков“, „Стрекозы“ и проч. газет, в которых главною приманкой для приобретения подписчиков представляется элемент всякого рода скоморошеских потех. Грустное впечатление производят эти рассказы, грустное не потому, чтобы они были плохи, а напротив того, именно потому, что весьма многие из них обличают молодой, свежий талант, не лишенный юмора, чувства наблюдательности... Газета соблазнительна возможностью „легкого заработка“—в 400—500 р. в месяц, она не требует шедевров, а довольствуется хламом. Таланты, которые при иных условиях, могли бы расцвести пышным цветом, губятся, обращаются в легко-

¹ Неверные инициалы—не опечатка. Характерно для начала литературной известности Чехова, что такой критик, как Скабичевский, мог допустить эту ошибку.

весных барабанщиков, в смехотворных клоунов для потехи праздной толпы. Сперва газетным работникам сопутствует успех, но переутомление берет свое, и газетный писатель начинает повторяться, терять популярность,—и дело кончается тем, что он обращается в выжатый лимон, и подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где нибудь под забором, считая себя счастливым, если товарищи пристроят его на счет литературного фонда в одну из городских больниц.

Вот и г. Чехов—как жалко, что при первом же своем появлении на литературном поприще, он сразу записался в цех газетных клоунов. Надо, впрочем, отдать ему справедливость: в качестве клоуна он держит себя очень скромно и умно в том отношении, что не впадает ни в какие скабрёзности... чужд он и пасквильного элемента, не льстит, одним словом, никаким низменным инстинктам толпы.. Но все это еще более усугубляет чувство жалости тем, что увешавшись побрякушками шута, он тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что придет ему в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов.

Вообще книга г. Чехова, как ни весело ее читать, представляет собой весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства.

(А. Скавичевский. (Рецензия на «Пестрые рассказы»). Ю. Соболев. «Ант. Чехов. Неиздан. стр.». Стр. 106—107) 1.

1 Перепечатка из «Сев. Вестника», 1886. кн. 6.—Эта жестокая рецензия на «Пестрые рассказы» видного критика

...Не велика сладость быть великим писателем. Во первых, жизнь хмурая. Работы от утра до ночи, а толку мало... Денег—кот наплакал... Не знаю, как у Зола и Щедрина, но у меня угарно и холодно... Денег, повторяю, меньше, чем стихотворного таланта. Получки начнутся только с 1-го окт., а пока хожу на паперть и прошу в займы... Работаю, выражаясь языком Сергея¹, ужасно, тщестное слово много!.. Пишу пьесу для Корша (гм!), повесть для „Русской Мысли“², рассказы для „Нов. Вр.“, „Петерб. Газ.“, „Осколков“, „Будильника“ и прочих органов. Пишу много и долго, но мечусь, как угорелый: начинаю одно, не кончив другое... Понемножку болею и мало по малу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если умру раньше вас, то шкаф благоволите выдать моим прямым наследникам, которые на его полки положат свои убы...

Впрочем, писательство имеет и свои хорошие стороны. Во первых, по последним известиям, книга моя идет недурно; во вторых, в октябре

произвела на Чехова настолько тягостное и болезненное впечатление, что он, в течение всей своей жизни, не мог забыть о ней. (См. гл. 30). О русской критике вообще и в частности, Чехов всегда отзывался с горечью и негодованием, она много испортила ему крови и укоротила жизни. В 1893 г. в письме к А. С. Суворину (от 24 февр.) он пишет: «Я не журналист: у меня физическое отвращение к брани, направленной к кому бы то ни было; говорю физическое, потому что после чтения Протопопова, Жителя, Буренина и прочих судей человечества у меня всегда остается во рту вкус ржавчины, и день мой бывает испорчен. Мне просто больно... Ведь это не критика, не мировоззрение, а ненависть, животная, ненасытная злоба. Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арестантах? Я не могу и не могу».

¹ Сергей Киселев, мальчик, сын адресатки.

² Пьеса для Корша «Калхас» (Лебедина песня). В «Русск. Мысли» Чехов начал сотрудничать лишь с 1892 г.

у меня будут деньги; в третьих, я уже понемножку начинаю пожинать лавры: на меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами. Корш поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов¹ купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность. Коллеги доктора при встречах вздыхают, заводят речь о литературе и уверяют, что им опостылела медицина. И т. д.

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1886, 21 сент. II. Т. I, 266).

В Питере я отдыхал, т. е. целые дни рыскал по городу, делая визиты и выслушивая комплименты, которых не терпит душа моя. Увы и ах! В Питере я становлюсь модным, как Нана². В то время, когда серьезного Короленко едва знают редакторы, мою дребедень читает весь Питер. Даже сенатор Г. читает... Для меня это лестно, но мое литературное чувство оскорблено... Мне делается неловко за публику, которая ухаживает за литературными болонками только потому, что не умеет замечать слонов, и я глубоко верую, что меня ни одна собака знать не будет, когда я стану работать серьезно...

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1886, 13 дек. II. Т. I, стр. 286).

Надо вам сказать, что в Петербурге я теперь самый модный писатель. Это видно из газет и журналов, которые в конце 1886 года занима-

¹ Иван Алексеевич Белоусов—поэт, переводчик «Кобзаря» Шевченко, был сыном портного и сам долго работал в портновской мастерской отца,—отсюда, видимо, и прозвище данное Чеховым Белоусову.

² «Нана»—героиня романа Э. Золя.

лись мной, трепали на все лады мое имя и превозносили меня паче заслуг. Следствием такого роста моей литературной репутации является изобилие заказов и приглашений, а вслед за ними—усиленный труд и утомление. Работа у меня нервная, волнующая, требующая напряжения... Она публична и ответственна, что делает ее вдвое тяжелой... Каждый газетный отзыв обо мне волнует и меня и мою семью... В декабре, например, в журнале „Русское Богатство“ была статья критика Оболенского под заглавием: „Чехов и Короленко“, где на 15—20 страницах критик превозносит меня до небес и доказывает, что я выше и лучше другого молодого писателя Короленко, который гремит у нас в обеих столицах. Эта статья сделала у нас в доме переполох¹. „Новое Время“ и „Петербургские Ведомости“—две большие питерские газеты—тоже треплют Чехова... Рассказы мои читаются публично на вечерах, всюду, куда ни явлюсь, на меня тычут пальцами, знакомства одолели меня своим изобилием и т. д. и т. д. Нет дня покойного, и каждую минуту чувствуешь себя, как на иголках...

Вышлю вам свою книгу—сборник моих несерьезных пустячков, которые я собрал не столько для чтения, сколько для воспоминания о начале моей литературной деятельности... То, что нра-

¹ Оболенский, сравнивая Чехова с Короленко, находит последнего искусственным, надуманным, тогда как Чехов всегда прост и жизненен... «Что это за рассказы! Сколько в них жизни, сколько наблюдательности, сколько юмора, и слез, и любви к человеку! Куда он ни посмотрит, везде для него является источник творчества...» (Л. Е. Оболенский. «Молодые таланты г. Чехов и г. Короленко», «Русск. Богатство», 1886 г. № 12).

вится в моей книге, я отмечу в оглавлении синим карандашом. Остальное же заслуживает внимания только как образец того балласта, который приходится иногда творить под давлением безденежья...

(А. П. Чехов—М. Г. Чехову. 1 Москва. 1887, 18 января. П. Т. I, стр. 307—309).

...Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение— правда безусловная и честная... Литератор не кондитер, не косметик, не увеселитель; он человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью; взявшись за гуж, он не должен говорить, что он не дюж, и как ему ни жутко, он обязан бороться свою брезгливость, марать свое воображение грязью жизни... Он то же, что и всякий простой корреспондент. Что бы вы сказали, если бы корреспондент из чувства брезгливости или желания доставить удовольствие читателям, описывал бы одних только честных городских голов, возвышенных барынь и добродетельных железнодорожников?

Для химиков на земле нет ничего нечистого. Литератор должен быть также объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые...

Я, какось, редко беседую с своей совестью, когда пишу. Объясняется это привычкой и мелкостью работы... А посему, когда я излагаю то или

1 Адресат—дядя А. П., живший в Таганроге.

другое мнение о литературе, себя в расчет я не беру...¹

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1887, 14 янв. П. Т. I, 302—305).

¹ Вопрос о художественной литературе и значении писателя затронут А. П. в настоящем письме, в связи с его рассказом «Тина» (помещен в «Нов. Вр.» в окт. 1886 г.). Адресатка, М. В. Киселева, также причастная к литературе, — детская писательница — высказывала Чехову свое недовольство содержанием этого рассказа.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

«В СУМЕРКАХ». — «НЕВИННЫЕ РЕЧИ». — В. Г. КОРО-
ЛЕНКО

(1887 г.—весна и лето)

Сейчас я сижу в скучнейшем номере и собираюсь переписывать на чисто конченный рассказ. Скучаю. Скука усугубляется сознанием безденежья и неизвестности. Когда выеду, не знаю. Нервы расстроены ужасно...

Я хочу уехать на юг не позже 31-го марта. Поеду с рублем, но все таки поеду... Всюду меня встречают с почетом, но никто не догадается дать рублей 1000—2000... ¹

(А. П. Чехов—Ф. С. Шехтелю. СПб. 1887.
Март. II. Т. I, 326—327).

Сначала я хандрил, ибо скучал и страшился безденежного будущего, но ныне чувствую себя положительно и с характером. На мою голову сыплются сюрпризы... Всюду встречают с распростертыми объятиями... Суворин... одолжил мне денег (секрет: 300 рублей) и велел прислать ему материал для издания книги с нововремен-

¹ Поездка Чехова в Петербург, в марте 1887 г., была вызвана болезнью жены брата Александра Павлов., в то время служившего в редакции «Нового Времени». А. П. ехал туда в тягостном настроении: «снились мне гробы, и факельщики, мерещились тифы. доктора и проч... Мне страшно». Жена брата болела брюшным тифом, а А. П. почему то больше всех болезней боялся тифа, представляя себе, что он умрет от него.

скими рассказами. Книга будет отпечатана к лету на условиях, весьма выгодных для меня. И т. д...

На юг я поеду 31-го марта, или ранее. Вот и все...¹

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. СПб. 1887. Март. II. Т. I, 327—328).

Сегодня я выбрал и послал вам для моей будущей книги 16 рассказов...² Название для книги я не мог придумать. „Мои рассказы“, просто „Рассказы“,—а остальное, что приходило мне в голову, или претенциозно, или старо, или неумно... Книгу я думаю посвятить Д. В. Григоровичу...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1887, 18 марта. II. Т. I, 328—29).

Мне кажется, что если книга уже печатается, то по законам печати нельзя изменять заглавие.

„В сумерках“—тут аллегория: жизнь—сумрак, и читатель, купивший книгу, должен читать ее в сумерках, отдыхая от дневных работ.

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Бабкино. 1887, 25 мая. II. Т. I, 374).

Я познакомился с Чеховым, когда он жил на Кудринской-Садовой, в доме Корнеева, в оригинальном каменном флигеле, похожем на маленький замок. Квартира была распределена в двух этажах. Во втором жили родители и сестра

¹ Апрель и половину мая А. П. провел в Таганроге, его окрестностях и в Святых Горах Харьковск. губ. Остался очень доволен поездкой («Впечатлений тьма!»). Написал, по возвращении домой, рассказ «Перекасти-поле» (Путевой набросок) из личных переживаний; задумал «Степь».

² Сборник «В сумерках» заключал в себе след. рассказы: Мечты.—Пустой случай.—Недоброе дело.—Дома.—Ведьма.—Верочка.—В суде.—Беспокойный гость.—Панихида.—На пути.—Несчастье.—Событие.—Агафья.—Враги.—Кошмар.—Святой ночью.—Книга вышла в свет в августе 1887 г., в изд. Суворина.

Чехова, внизу был большой кабинет Чехова и две спальни — его и брата Михаила. У одной из стен кабинета, близ входа в спальню Чехова, открытые полки с книгами тянулись от пола до потолка. Это была библиотека Чехова, составившаяся по преимуществу с помощью покупок на знаменитой Сухаревке, положившей начало библиотекам многих московских писателей и журналистов. Кстати, одна из сухаревских покупок чуть чуть огорчила Чехова: почти тотчас по выходе его сборника „В сумерках“, я купил на Сухаревке сборник стихотворений Минаева „В сумерках“, изданный в Петербурге в конце шестидесятых годов. Чехов не знал, что сборник с его заглавием был уже раньше в продаже.

В библиотеке Чехова было порядочно, быть может, до тысячи книг; были старые разрозненные толстые журналы, отдельные томики разных авторов; покупалось все это в разное время, понемножку, при получении из редакций более крупного гонорара или аванса; на полные собрания сочинений в те времена у Чехова еще не хватало денег. Да и помещение ранее не позволяло особенно шириться его библиотеке.

Взяв одну из книг чеховской библиотеки, я уходил с головой в чтение, а Чехов оканчивал начатый рассказ, тщательно обдумывая каждую фразу и медленно нанизывая их, как медленно нижут тонкие искусные пальцы драгоценный жемчуг...

Кроме первых лет юмористического многописания и скорописания, когда Чехов создавал некоторые из своих вещей, лежа на животе

в купальне, все остальные годы Чехов творил очень медленно, вдумчиво, тщательно отделявая и чеканя каждую фразу... Но работая медленно и вдумчиво, Чехов никогда не делал из своей работы ни таинства, ни священнодействия, никогда его творчество не требовало уединения в кабинете, опущенных штор, закрытых дверей...

Я, конечно, не составлял исключения из общего правила. Но при мне Чеховым были написаны некоторые рассказы в „Пет. Газету“ (между прочим, „Сирена“), некоторые „субботники“ в „Новое Время“... Я потому запомнил „Сирену“, что писал ее Чехов в Бабкине чуть не целый день, а кончив к вечеру, обратился ко мне с просьбой:

— Прочитайте „Сирену“, А. С.! Не пропустил ли я гденибудь слова или запятой? Нет ли бессмыслиц? Кстати, это рекорд: рассказ написан без единой помарки.

„Сирена“¹ действительно была написана без помарок; пока Чехов курил и устало потягивался, я прочел рассказ; все слова и все запятые были на своих местах...

Не делал секрета Чехов ни из своих тем, ни даже из своих записных книжек. Однажды летним вечером по дороге с вокзала в Бабкино и Новый Иерусалим, он рассказал мне сюжет задуманного им романа, который,—увы!—никогда не был написан.

А в другой раз, когда в Москве я спросил у него о тонкой тетрадке:

— Что это?

1 «Сирена» напеч. в Петер. Газете в августе 1887 г.

Он ответил:

— Записная книжка. Заведите себе такую ж. Если интересно,—можете просмотреть.

Это был прообраз записных книжек Чехова...¹ Книжечка была очень маленькая, помнится, самодельная, из писчей бумаги; в ней очень мелким почерком были записаны темы, остроумные мысли, афоризмы, приходившие Чехову в голову. Одну заметку, об особенном лае рыжих собак, — „все рыжие собаки лают тенором“, — я вскоре встретил на последних страницах „Степи“.

(А. Грузинский - Лазарев. Воспоминания.
«Русск. Слово». 1914. № 151).

Жизнь вошла в свою колею². Обедаю в 7 часов, ложусь спать в 2 ночи... Пишу и читаю рецензии. Рецензий было много и между прочим в „Северном Вестнике“. Читаю и никак не могу понять, хвалят меня или же плачут о моей погибшей душе? „Талант! талант! но тем не менее упокой, господи, его душу“—таков смысл рецензий. „В сумерках“ идет недурно.

Два раза был в театре Корша, и оба раза Корш убедительно просил меня написать ему пьесу. Я ответил: с удовольствием. Актеры уверяют, что я хорошо напишу пьесу, так как умею играть на нервах. Я отвечал терсі. И, конечно, пьесы не напишу...

На днях я продал кусочек своей души бесу, именуемому коммерцией. На падаль слетаются

¹ Систематически Чехов вел свои записные книжки с 1891 по 1904 г.г. В полном виде, с комментариями, изданы Гос. Академией Художеств. Наук. М. 1927. («Записные книжки А. П. Чехова»).

² После возвращения в Москву с дачи Киселевых в Вабкине.

вороны, на гениев издатели. Явился ко мне Вернер, собачий воротник, издающий книжки на французско-кафешантанный манер, и попросил меня отсчитать ему десяточек каких-нибудь рассказов посмешнее. Я порылся в своем ридикюле, выбрал дюжину юношеских грехов и вручил ему. Он вывалил мне 150 целкашей и ушел... Не будь я безденежен, собачий воротник получил бы кукиш с маслом, но, увы, я беднее, чем ваш осел. Не купите ли вы у меня рассказов? Для вас я уступил бы по рублю за сотню. У меня их больше, чем в купальне малявок...

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1887, 13 сен. П. Т. I, 396—98).

Издатели „Сверчка“, братья Вернеры, купили у него несколько старых рассказов для сборника „Невинные речи“¹, и прежде чем пустить рассказы отдельным сборником, начали печатать их в „Сверчке“ за подписью Чехова. Чехов возмутился: — „Это же безобразие! Это же уголовное! Вот я притяну их к суду“.

Через месяц, приехав в Москву, я спросил у Чехова:

— Ну, что же, притянули Вернеров к суду? Но Чехов только рукой махнул:

— Ну их к чорту! Стоит связываться...

(А. Грузинский. Восп. «Южный Край». 1914, № 12, 136).

...В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором².

¹ «Невинные речи». А. Чехонте. (А. П. Чехова). Изд. журн. «Сверчок». М. 1887.

² Знакомство В. Г. Короленко с Чеховым состоялось в октябре 1887 г.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике... Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более молодой на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний... Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что то более глубокое, чему предстоит еще развернуться и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым... Мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке „Северного Вестника“ о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел,— это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще неопределившуюся большую силу,— относились с некоторым сомнением...

Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, „Северный Вестник“ Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения, я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова, как сотрудника.

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом „деле“, но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев¹, заехавший к нему проездом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же, как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи.

— Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал:

— Хотите, — завтра будет рассказ... Заглавие „Пепельница“.

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

¹ Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893) — известный поэт, участник дела Петрашевцев. В описываемое время — редактор беллетристического отдела «Северного Вестника». Впоследствии — близкий друг А. П.

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха-мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, повидимому, веселым взглядом на жизнь, — мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, — радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... И сам Антон Павлович и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная игрушка — но великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным... Я помню, что в словах матери, видимо счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы встретимся, и г-жа Чехова сказала со вздохом:

— Да, мне кажется, что Антоша теперь уже не мой...

(В. Г. Короленко. Ант. Павл. Чехов. Полн. собр. соч. В. Г. Короленко. Изд. Маркса. 1914, т. I, стр. 389—393).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

«ИВАНОВ».—ПОСТАНОВКА «ИВАНОВА» В МОСКВЕ.—
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗНАКОМСТВА
(1887 г.—осень и зима)

...Устремив на меня свои прекрасные глаза, с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

— Слушайте, Короленко. Я приеду к вам в Нижний.

— Буду очень рад. Смотрите же—не обманите.

— Непременно приеду. Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели.

Я засмеялся...

— Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишете один, а в Нижний все таки приезжайте...

В следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы.

Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

— Я, действительно, пишу и непременно напишу драму,—сказал он,—„Иван Иванович Иванов“... Понимаете? Ивановых тысячи...—Обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизодами,

которые видишь ясно в воображении, — вдруг пустота?..

— Через которую, — сказал я, — приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

— Вот, вот...

— Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

— Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и, как будто, утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова, — в этой драме впервые сказался перелом в настроении Чехова...

(В. Г. Короленко. Ант. Павл. Чехов. Полн. собр. соч. Т. I, стр. 394—395).

„Иванов“ был написан в какие нибудь две недели. Встретившись как то с содержателем московского частного театра Ф. А. Коршем, в его же театре, Антон Павлович разговорился с ним о пьесах. Тогда там ставили легкую комедию и водевиль, серьезные пьесы были не в ходу, и зная, что Антон Павлович был юмористом, Ф. А. Корш предложил ему написать для него пьесу. Условия показались выгодными, и Антон Павлович принялся за исполнение. В сумрачном кабинете, в доме Корнеева, на Кудринской-Садовой, Антон Павлович стал писать акт за актом, которые тотчас же передавались Коршу для цензуры и репетиций...

(Мих. Пав. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты». Стр. 41).

Пьесу я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем. Лег спать, надумал тему и написал. Потрачено на нее 2 недели или, вернее, 10 дней, так как были в двух неделях дни, когда я не работал или писал другое. О достоинствах пьесы судить не могу. Вышла она подозрительно коротка. Всем нравится. Корш не нашел в ней ни одной ошибки и греха против сцены—доказательство, как хороши и чутки мои судьи. Пьесу я писал впервые... Ошибки обязательны. Сюжет сложен и не глуп. Каждое действие я оканчиваю, как рассказы: все действие веду мирно и тихо, а в конце даю зрителю по морде. Вся моя энергия ушла на немногие действительно сильные и яркие места; мостки же, соединяющие эти места, ничтожны, вялы и шаблонны. Но я все таки рад: как ни плоха пьеса, но я создал тип, имеющий литературное значение, я дал роль, которую возьмется играть такой талант, как Давыдов.

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Москва. 1887. Октябрь. П. Т. I, 412—413).

Из всех ныне благополучно пишущих россиян я—самый легкомысленный и несерьезный; я на замечании, выражаясь языком поэтов, свою чистую музу я любил, но не уважал и не раз водил ее туда, где ей не подобает быть. Вы же серьезны и крепки и верны. Разница между нами, как видите, большая, но тем не менее, читая вас и теперь познакомившись с вами, я думаю, что мы друг другу не чужды. Прав я или нет, я не знаю, но мне приятно так думать...

Моя пьеса, вероятно, будет поставлена у Корша. Если да, то о дне постановки сообщу. Быть мо-

жет, этот день совпадет с вашими днями приезда в Москву. Тогда милости просим.

(А. П. Чехов—В. Г. Короленко. Москва. 1887 г., 17 октября. «А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка». М. 1923, стр. 25—26).

...Ну, пьеса проехала... Описываю все по порядку...

Первое действие... Я за сценой в маленькой ложе похожей на арестантскую камеру. Семья в ложе бенуар: трепещет. Сверх ожидания я хладнокровен и волнения не чувствую. Актеры взволнованы, напряжены и крестятся. Занавес. Выход бенефицианта. Неуверенность, незнание роли и поднесенный венок делают то, что я с первых же фраз не узнаю своей пьесы. Киселевский, на которого я возлагал большие надежды не сказал правильно ни одной фразы. Буквально ни одной. Он говорил свое. Несмотря на это и на режиссерские промахи, первое действие имело большой успех. Много вызовов.

Второе действие. На сцене масса народу. Гости. Ролей не знают, путают, говорят вздор. Каждое слово режет меня ножом по спине. Но—о муза!—и это действие имело успех. Вызывали всех, вызывали и меня два раза. Поздравление с успехом.

Третье действие. Играют недурно. Успех громадный. Меня вызывают три раза, причем во время вызовов Давыдов трясет мне руку, а Глама на манер Манилова другую мою руку прижимает к сердцу. Торжество таланта и добродетели.

Действие четвертое. 1-я картина. Идет недурно. Вызовы. За сим длиннейший утомительный антракт. Публика, не привыкшая между двумя картинами вставать и уходить в буфет, ропщет. Подни-

мается занавес. Красиво: в арку виден ужинный стол (свадьба). Музыка играет туши. Выходят шафера; они пьяны, а потому, видишь ли, надо клоуничать и выкидывать коленцы. Балаган и кабак, приводящие меня в ужас. За сим выход Киселевского: душу захватывающее поэтическое место, но мой Киселевский роли не знает, пьян, как сапожник, и из поэтического, коротенького диалога получается что то тягучее и гнусное. Публика недоумевает. В конце пьесы герой умирает от того, что не выносит нанесенного оскорбления. Охладевшая и утомленная публика не понимает этой смерти (которую отстаивали у меня актеры: у меня есть вариант). Вызывают актеров и меня. Во время одного из вызовов слышится откровенное шиканье, заглушаемое аплодисментами и топаньем ног. В общем утомление и чувство досады. Противно, хотя пьеса имела солидный успех (отрицаемый Кичеевым и К⁰)

Театралы говорят, что никогда они не видели в театре такого брожения, такого всеобщего аплодисменто-шиканья и никогда в другое время им не приходилось слышать столько споров, какие видели и слышали они на моей пьесе. А у Корша не было случая, чтобы автора вызывали после 2-го действия. Второй раз пьеса идет 23-го с вариантом и с изменениями—я изгоняю шаферов.

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Москва. 1887, 20 ноябр. II. Т. I, 432—434).

Он часто говорил об особом авторском психозе, которым заболевает человек, ставящий пьесу.

— Я сам испытывал это, когда ставил „Иванова“,—говорил он и описывал болезнь:—чело-

век теряет себя, перестает быть самим собой, и его душевное состояние зависит от таких пустяков, которых он в другое время не заметил бы: от выражения лица помощника режиссера, от походки выходного актера.

Актер исполняющий главную роль, надел клетчатый галстук, а автору кажется, что тут нужен черный. Публика, может быть, совсем не замечает галстука, а ему, автору, кажется, что она не видит ни декорации, ни игры, а только галстук и что это ужасно и что галстук этот погубит пьесу...

Вот идет главная сцена, на которую он возложил все надежды. В зале кашляют, сморкаются. Ни малейшего впечатления, ни хлопка. Автор прячется в темной норе, среди старых декораций, и решает никогда отсюда не выйти и уже ощущает свои подтяжки, пробуя, выдержат ли они, если он на них повесится. И никто этого не понимает. И те не понимают, что приходят за кулисы „утешать“ автора и даже поздравляют с успехом. Они не подозревают, что перед ними временно-сумасшедший, который может наброситься на них и искусать их...

(И. Потапенко. «Несколько лет с А. П. Чеховым». «Нива». 1914, № 28).

Ну, милейший Гусев¹, все наконец, улеглось, рассеялось, и я попрежнему сижу за своим столом и со спокойным духом сочиняю рассказы. Ты не можешь представить, что было! Из такого малозначущего дерьма, как моя пьесенка... получилось чорт знает что. Я уже писал тебе, что на первом представлении было такое возбужде-

¹ Гусев—шуточное прозвище Александра Павл. Чехова.

ние в публике и за сценой, какого отродясь не видел суфлер, служивший в театре 32 года. Шумели, галдели, хлопали, шикали, в буфете едва не подрались, а на галерке студенты хотели вышвырнуть кого то, и полиция вывела двоих. Возбуждение было общее. Сестра едва не упала в обморок. Дюковский, с которым сделалось сердцебие-ние, бежал, а Киселев ни с того, ни с сего искренно возопил: „Что же я теперь буду делать?“

На другой день после спектакля появилась в „Моск. Листке“ рецензия Петра Кичеева, который обзывает мою пьесу нагло-циничной, безнравственной дребеденью... ¹

Ну-с, на днях еду в Питер. Постараюсь вы-браться к 1 декабря...

1 В своей рецензии на «Иванова» П. Кичеев, фельетонист «Московского Листка», писал следующее: «...По некоторым данным, лично нам известным, говоря откровенно, мы не ждали от пьесы г. Антона Чехова чего либо особенно хорошего. Но никогда мы не подозревали, чтобы человек молодой, человек с высшим университетским образованием, рискнул преподнести публике такую нагло-циничскую путаницу понятий, какую преподнес ей г. Чехов в своем «Иванове», обозвав эту сумбурщину комедией. Каким нужно быть бесшабашным клеветником на идеалы нашего времени, чтобы, выводя в качестве главного героя своей пьесы негодяя, полирающего все божьские и человеческие законы, уверять во всеуслышание, что это не негодяй, которому нет названия, а несчастный слабохарактерный только и симпатичный страдалец своего «я»... Что это такое? Где г. Антон Чехов видел таких отъявленных негодяев, которые решаются впридачку какого бы то ни было гнева выкидывать такие коленца, какие выкидывает симпатичный ему «честный, но бесхарактерный» Иванов? Какое развращенное воображение надо иметь, чтобы выдумать такую гнусную, даже для самого невежественнейшего изверга выходку, а не то что для человека получившего университетское образование, каким выведен г. Чеховым симпатичный ему Иванов?.. И вот такую то циничскую дребедень подносит публике г. Чехов, и находится неразборчивая и утратившая всякое чутье к правде публики, которая не только терпеливо смотрит всю эту дребедень, платя за нее деньги по возвышенным бенсфинным ценам, но и рукоплещет этой дребедени и, хотя при громком шиканьи, вызывает по пяти раз кряду автора ес...» («Московский Листок». 1887 г., № 325).

Мне кажется, что я весь ноябрь был психопатом...
Твой Шиллер Шекспирович Гете.

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Москва.
1887, 24 ноября. П. Т. I, 435—437).

...Алексей Николаевич ¹ с первых же рассказов Чехова, появившихся на страницах „Нового Времени“, сделавшийся его горячим почитателем, с нетерпением ожидал появления в Петербурге самого автора. Чехов же почему то предпочитал явиться в первый раз к маститому поэту вместе со мной, как с давним приятелем Алексея Николаевича, и всю дорогу от гостиницы до квартиры Плещеева сильно волновался...

Алексей Николаевич при входе Чехова пришел в некоторое трогательное замешательство.

— Антон Павлович, наконец-то! Ну, вот, как я рад...

Антон Павлович на радушный прием полусконфуженно пробормотал какую то любезность... И вот, не прошло получаса, как милейший Алексей Николаевич был у Чехова в полном „душевном плену“...

В этот первый приезд Чехова в Петербург ² редкий день, что не приходилось с ним видеться: то мы виделись у Плещеева или А. С. Суворина, то сходились, заранее сговорившись, в театре, то засиживались за поздним ужином у Палкина или в Малом Ярославце... Этот месяц его пребывания в Петербурге вышел словно „медовый месяц“ Чеховской славы, и сам Чехов заметно

¹ А. Н. Плещеев.

² Этот приезд Чехова в Петербург был не первый, но он отразился в воспоминаниях Щеглова, как «первый», поскольку тогда состоялось знакомство между обоими писателями, положившее начало долгой дружбе.

был захвачен искренним радушием, теснившим его со всех сторон...

(Ив. Щеглов. «Из воспомин. об Ант. Чехове». «Нива» (ежемесячн. прилож.). 1905, № 6, стр. 229—230).

...В ту пору собирался кружок молодых начинающих писателей у А. Н. Плещеева в его небольшой квартирке на Спасской площади... Здесь до поздней ночи раздавались бесконечные споры и лились горячие речи... Вот здесь то в один из зимних вечеров привелось мне встретиться и познакомиться с А. П. Чеховым... Он жил тогда в Москве и приезжал ненадолго в Петербург по зимам... Это был период его художественной деятельности, когда знакомое в литературной среде имя Антоши Чехонте уступало уже в широкой публике первым лучам славы имени Антона Чехова... По обыкновению мы и этот раз засиделись до поздней ночи и говорили о литературе и общественной жизни... Вышли мы на улицу уже после ужина. Нам было по дороге, и мы шли, продолжая разговор этого вечера... Чехов говорил о необходимости настроения в стихотворениях. Говорил он волнуясь и повторял, что желал бы быть понятен. Смысл его речи был тот, что вся жизнь целиком может давать содержание для художественной работы, которая характеризуется правдивостью настроения изображаемого.

— Я же ничего сегодня не отрицал в нашем литературном споре,—сказал он и остановившись прибавил:—только не надо нарочно сочинять стихи про дурного городского! Больше ничего...

(В. Ладыженский. «Из воспомин. об А. П. Чехове». Сб. «О Чехове», стр. 132—134).

...Я тогда же... сделал попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе отправились к ним в назначенный час, в Пале Рояль, где тогда жил Михайловский и где мы застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала „Мир божий“). Но из этого как то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал... Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна,—человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный,—задела тогда Чехова каким то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась... Веселость тогдашнего Чехова, Чехова „Пестрых рассказов“—была чужда и неприятна Успенскому. Я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом, жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения ¹, которое стоило ему самого, и они разошлись холодно, пожалуй с безотчетным нерасположением друг к другу...

...Питер великолепен. Я чувствую себя на седьмом небе. Улицы, извозчики, провизия—

(В. Г. Короленко. «Ант. Павл. Чехов». Полн. собр. соч. изд. Маркса, 1914, Т. I, 397—398).

¹ Глеб Успенский (1840—1902) в то время страдал приступами угнетенного состояния духа, впоследствии развившегося в душевную болезнь, от которой он и скончался, проведя последние 10 лет своей жизни в психиатрической лечебнице.

все это отлично, а умных и порядочных людей столько, хоть выбирай. Каждый день знакомлюсь. Вчера, например, с 10¹/₂ часов утра до трех я сидел у Михайловского (критиковавшего меня в „Северном Вестнике“) в компании Глеба Успенского и Короленко; ели, пили и дружески болтали. Ежедневно выдаюсь с Сувориным, Бурениным и проч. Все наперерыв приглашают меня и курят мне фимиам. От пьесы моей все положительно в восторге, хотя и бранят меня за небрежность... Московские рецензии возбуждают здесь смех. Все ждут, когда я поставлю пьесу в Питере, и уверены в успехе, а мне после Москвы так опротивела моя пьеса, что я никак не заставляю себя думать о ней, лень и противно. Как вспомню, как коршевские... пако-стили Иванова, как они его коверкали и ломали, так тошно делается и начинаешь жалеть публику, которая уходила из театра не солоно хлебавши... Жаль себя и Давыдова. Суворин возбужден моей пьесой.

Я за три дня пополнел. Как я жалею, что не могу всегда жить здесь. Воспоминание о предстоящем возвращении в Москву, кишашую Гавриловыми и Кичеевыми, портит мне кровь ¹.

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. СПб. 1887, 3 дек. II. Т. I, 438—440).

¹ Вскоре, однако, это радужное настроение, вызванное новыми интересными знакомствами, спадает. Спустя месяц (9-го янв.) А. П. пишет В. Г. Короленко о своих питерских впечатлениях: «В Питере я прожил 2½ недели и видел многих. В общем вынес впечатление, которое можно свести к тексту: «Не надейся на князи, сыны человеческие...», хороших людей видел много, но судей нет. Впрочем, может быть, это к лучшему».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК». — «СТЕПЬ». — Я. П. ПОЛОН-
СКИЙ. — А. Н. ПЛЕЩЕЕВ. — Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ.
(1888 г. — зима, начало весны)

Передайте добрейшему А. Н. Плещееву, что я начал пустячок для „Северного Вестника“ (этого литературного „вдовьего дома“). Когда кончу, не знаю. Мысль, что я пишу для толстого журнала и что на мой пустяк взглянут серьезнее чем следует, толкает меня под локоть, как чорт монаха. Пишу степной рассказ¹. Пишу, но чувствую, что не пахнет сеном...

(А. П. Чехов — И. Л. Щеглову. Москва. 1888,
1 янв. П. Т. II, 2).

С вашего дружеского совета я начал маленькую повестушку для „Северного Вестника“. Для почина взялся описать степь, степных людей и то, что я пережил в степи. Тема хорошая, пишется весело, но, к несчастью, от непривычки писать длинно, от страха написать лишнее, я впадаю в крайность: каждая страница выходит компактной, как маленький рассказ, картины громоздятся, теснятся и, заслоня друг друга, губят общее впечатление. В результате получается не картина, в которой все частности, как звезды на небе, слились в одно общее,

¹ «Степь».

а конспект, сухой перечень впечатлений. Пишущий, например, вы, поймет меня, читатель же соскучится и плюнет...

(А. П. Чехов—В. Г. Короленко. Москва. 1888, 9 янв. «А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка», стр. 27—28).

Что вы теперь пишете?.. В последнее время, т. е. с осени я написал... несколько стихотворений, из которых одно „У двери“ позвольте мне посвятить вашему имени. Оно будет помещено в журнале „Север“ и, как мне кажется, более всего подходит к вашим небольшим рассказам или очеркам. Очень бы желал, чтобы его стихотворная форма была бы так же хороша и колоритна, как ваша проза...

Не удивляйтесь, что я печатаюсь в разных иллюстрациях, так же как я не удивляюсь, что вы печтаетесь в газетах. Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство—и тогда только благоволят к нам, когда считают нас своими, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадобится, а не комунибудь. Иллюстрации мне очень рады и платят мне дороже, чем большие ежемесячные журналы—ну и я очень рад...

Вам душевно-преданный

Я. Полонский. ¹

(Я. П. Полонский—А. П. Чехову. СПб. 1888, 8 янв. «Слово». Сб. второй, стр. 223—224).

...На ваше желание посвятить мне стихотворение я могу ответить только поклоном и прось-

¹ Яков Петрович Полонский (1810—1898), известный поэт.

бой—позвольте мне посвятить вам в будущем ту мою повесть, которую я напишу с особенной любовью¹. Ваша ласка меня тронула, и я никогда ее не забуду. Помимо ее теплоты и той внутренней прелести, какую носит в себе авторское посвящение, ваше „У двери“ имеет для меня еще особую цену: оно стоит целой хвалебной критической статьи авторитетного человека, потому что благодаря ему я в глазах публики и товарищей вырасту на целую сажень.

Относительно сотрудничества в газетах и иллюстрациях, я вполне согласен с вами. Не все ли равно, поет ли соловей на большом дереве или на кусте? Требование чтобы талантливые люди работали только в толстых журналах, желчно, пахивает чиновником и вредно, как все предвзвешенности. Этот предвзвешенность глуп и смешон. Он имел еще смысл тогда, когда во главе изданий находились люди с ясно выраженной физиономией, люди в роде Белинских, Герценов и т. п., которые не только платили гонорар, но и притягали, учили и воспитывали, теперь же, когда вместо литературных физиономий во главе изданий торчат какие-то серые круги и собачьи воротники, пристрастие к толщине издания не выдерживает критики и разница между толстым журналом и дешевой газеткой представляется

¹ Чехов посвятил Полонскому свой рассказ «Счастье». помещенный сначала в «Нов. Времени», а затем в сборнике «Рассказы». Изд. Суворина. СПб. 1888 г. По поводу своего посвящения Чехов пишет Полонскому: «Я издаю новый сборник рассказов. В этом сборнике будет помещен рассказ «Счастье», который я считаю лучшим из своих рассказов. В рассказе изображается степь: равнина, ночь, бледная зоря на востоке, стадо овец и три человеческих фигуры, рассуждающие о счастье» (25 марта 1888 г.).

только количественной, т. е. с точки зрения художника не заслуживающей никакого уважения и внимания. Сотрудничеству в толстых журналах нельзя отказать только в одном удобстве:—длинная вещь не дробится и печатается целиком. Когда я напишу большую вещь, пошлю в толстый журнал, а маленькие буду печатать там, куда занесут ветер и моя свобода.

Между прочим, я пишу большую вещь, которая будет напечатана, вероятно, в „Северном Вестнике“. В небольшой повести я изображаю степь, степных людей, птиц, ночи, грозы и пр. Писать весело, но боюсь, что от непривычки писать длинно я то и дело сбиваюсь с тона, утомляюсь, не договариваю и не достаточно серьезен. Есть много таких мест, которые не поймутся ни критикой, ни публикой, той и другой они покажутся пустяшными, не заслуживающими внимания, но я заранее радуюсь, что эти самые места поймут и оценят два—три литературных гастронома, а этого с меня достаточно. В общем моя повестушка меня не удовлетворяет. Она кажется мне громоздкой, скучной и слишком специальной...

(А. П. Чехов—Я. П. Полонскому. Москва. 1888, 18 янв. «Радуга». Альманах Пушкинск. Дома. ПБ. 1022, стр. 292—295).

Я здравствую, работаю и скучаю. Пишу теперь повестушку для толстого журнала и, как кончу, пришлю ее вам; буду просить вас протезировать мне в „Северном Вестнике“. Описываю я *с т е п ь*. Сюжет поэтичный и если не сорвусь с того тона, каким начал, то кое-что выйдет у меня „из ряда вон выходящее“. Чувствую, что есть в моей

повестушке места, которыми я угожу вам, мой милый поэт, но в общем я едва ли потрафлю. Выйдет у меня 4—5 печатных листов; из них два листа заняты описанием природы и местностей—скучно!.. Весь январь я работаю над Степью, ничего больше не пишу, а потому разорился в пух и прах. Если степь будет напечатана позже марта, то я взвою волком. Вышлю я ее вам к 1 февраля. Если вы предвидите, что в мартовской книжке места не будет, то, дорогой мой, дайте мне знать: я не буду спешить со степью и нацарапаю ради гонорара чтонибудь в „Новое Время“ и „Пет. Газету“.

Писать большое очень скучно и гораздо труднее, чем писать мелочь. Вы прочтете и увидите, какую уйму трудностей пришлось пережить моему неопытному мозгу...

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 19 янв. II. Т. II, 9—10).

...В наших талантах много фосфора, но нет железа. Мы, пожалуй, красивые птицы и поем хорошо, но мы не орлы...

Я оканчиваю рукопись для „Северного Вестника“. Как это трудно... Моя повесть появится в мартовской книжке. Странная она какая то, но есть отдельные места, которыми я доволен.

(А. П. Чехов—И. Л. Шеглову. Москва. 1888, 22 янв. II. Т. II, 11—13).

Она ¹, конечно пойдет, в марте... Если вам нужны деньги в виде аванса до появления повести, то они будут вам высланы с удовольствием. Это было бы в высшей степени

¹ «Степь».

грустно, если бы вы отложили степь, и принялись за маленькие вещицы ради гонорара, для какойнибудь Петербургской газеты. Не разбрасывайтесь вы так, голубчик! Разве вы не можете давать и ваши маленькие вещицы в журнал?.. Деньги всегда можно будет вам высылать вперед... Мне больно, что вы написали столько прелестных, истинно художественных вещей—и пользуетесь меньшей известностью, чем писатели, недостойные развязать ремня у ваших ног. И все это благодаря какимнибудь паршивым газеткам, которые сегодня прочтут и завтра употребят на обертку, да и читает-то какая публика...

Не могу сказать—как мне хочется поскорей прочесть вашу „Степь“...

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. СПб. 1888, 21 янв. «Слово». Сб. второй, 235—236).

Большое вам спасибо за ваше доброе, ласковое письмецо. Как жаль, что оно не пришло тремя часами раньше! Представьте, оно застало меня за царапаньем плохонького рассказа для „Пет. Газеты“... В виду предстоящего первого числа с его платежами, я смалодушествовал и сел за срочную работу. Но это не беда. На рассказ потребовалось не больше полудня, теперь же я могу продолжать свою Степь...

В своем письме вы оказали моей повестушке такой хороший прием, что я боюсь... Вы ждете от меня чего то особенно хорошего—какое поле для разочарований! Робею и боюсь, что моя Степь выйдет незначительной. Пишу я ее не спеша, как гастрономы едят дупелей: с чувством, с толком, с расстановкой. Откровенно говоря

выжимаю из себя, нутужаюсь и надуваюсь, но все таки в общем она не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней „стихи в прозе“. Я еще не привык писать длинно, да и ленив. Мелкая работа меня избаловала.

Кончу Степь к 1—5 февраля, не раньше и не позже. Пришлю ее непременно на ваше имя, так как, дебютируя в толстых журналах, я хочу просить вас быть моим крестным батюкой...

Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! Не люблю я за это толстые журналы и не соблазняет меня работа в них. Партийность, особенно если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 23 янв. П. Т. II, 14—15).

„Степь“ кончена и посылается. Не было ни гроша и вдруг алтын. Хотел я написать два—три листа, а написал целых пять. Утомился, замучился...

Сюжет „Степи“ незначителен; если она будет иметь хоть маленький успех, то я положу ее в основание большой повести и буду продолжать. Вы увидите в ней не одну фигуру, заслуживающую внимания и более широкого изображения.

Пока писал, я чувствовал, что пахло около меня летом и степью. Хорошо бы туда поехать!

Ради бога, дорогой мой, не поцеремоньтесь и напишите, что моя повесть плоховата и заурядна, если это действительно так. Ужасно хочется знать сущую правду...

Моя Степь похожа не на повесть, а на степную энциклопедию.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 3 февр. II. Т. II, 16).

Голубчик, Антон Павлович! Степь, отдана в набор,—пойдет вся целиком. Завтра высылается аванс в 300 руб. (не мало ли? Тогда напишите). Прочитал я ее с жадностью. Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать вам не могу и никаких замечаний не могу сделать—кроме того, что я в безумном восторге. Эта вещь захватывающая, и я предсказываю вам большую, большую будущность... Я глубоко убежден, что вещь эту ожидает огромный успех. Пускай в ней нет того внешнего содержания, в смысле фабулы,—которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник. Поэты, художники с поэтическим чутьем должны с ума сойти. И сколько разбросано тончайших психологических штрихов. Одним словом, я давно ничего не читал с таким огромным наслаждением. Сегодня в редакции мы только и толковали, что о вас... Редакция вся к вам относится наилучшим образом и просит вас без церемонии заявлять ваше желание насчет гонорара. Если эта цена кажется вам недостаточной, просите прямо, что вы желаете. Я уверен, что вы в самом скором времени будете получать по 300 р.¹ и что в будущем этим не ограничится...

1 За «Степь» А. П. получил 150 р. с листа.

Если у вас напишется маленький рассказ или два—все высылайте и сейчас же получите деньги...

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. СПб. 1888, 8 февр. «Слово». Сб. второй, стр. 238—241).

Последнее ваше письмо меня безгранично порадовало и подбодрило. Я согласился бы всю жизнь не пить вина и не курить, но получать такие письма...

Спешу засесть за мелкую работу, а самого так и подмывает взяться опять за чтонибудь большое. Ах, если бы вы знали, какой сюжет для романа сидит в моей башке! Какие чудные женщины! Какие похороны, какие свадьбы! Если б деньги, я удрал бы в Крым, сел бы там под кипарис и написал бы роман в 1—2 месяца. У меня уже готовы три листа, можете себе представить! Впрочем, вру: будь у меня на руках деньги, я так бы завертелся, что все романы полетели бы вверх ногами...

Я жаден, люблю в своих произведениях многолюдство, а посему роман мой выйдет длинен. К тому же люди, которых я изображаю, дороги и симпатичны для меня, а кто симпатичен, с тем хочется подольше возиться.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 9 февр. П. Т. I, 24).

Я сейчас дочитал корректуру вашей „Степи“ и хочется мне о ней сказать вам несколько слов. Хотите обижайтесь, хотите сердитесь за это непрошенное письмо—мне все равно, потому что слишком я далек от мысли сделать вам обиду. Читая „Степь“ я все время думал, какой грех вы совершили, разрываясь на клочки, и

какой это будет уже совсем незамолимый грех, если вы и теперь будете себя рвать. Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не зная куда и зачем, так кости разминает, и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, все с одинаковой легкостью и даже разницы между этими действиями не чувствует. Много вам от бога дано, Антон Павлович, много и спросится. Сила—это само собой. Но сила бывает мрачная (Достоевский) и ясная (Толстой до своего повреждения). Ваша сила ясная и в этой ясности ручательство, что злу она не послужит, не может послужить, за что бы вы ни взялись, что бы не задумали. Я был поражен вашей неискорченностью, потому что не знал школы хуже той, которую вы проходили в „Новом Времени“, „Осколках“ и проч. Потом понял, что иначе и не могло быть,—эта грязь не могла к вам пристать. Школа однако сделала что могла,—приучила вас к отрывочности и к прогулке по дороге не знамо куда и не знамо за чем. Это пройдет, должно пройти, вы будете не только не служить злу, а прямо служить добру. Само собой это выйдет, и тогда берусь вам предсказать блестящую будущность. Но примите хоть к сведению советы человека, посевшего на литературе,—не возвращайтесь ни на минуту на тот путь, с которого сошли, погибнете там. Не то, чтобы вы непременно писали большие вещи, пишите что хотите, пишите мелкие рассказы, но вы не должны, не смеете быть диллетантом в литературе, вы в нее должны душу положить.

Простите, пожалуйста, поймите из какого источника это письмо идет. И еще простите одну мелочь: я дополнил вашу подпись,—не Ан., а Антон Чехов. Есть, говорят, другой Чехов, да и вообще эта фамилия не редкая, а вы—редкий. Прецедент—Глеб Успенский.

Ваш Ник. Михайловский.

(Н. К. Михайловский—А. П. Чехову. СПб. 1888, 15 февраля 1. «Слово». Сб. второй, стр. 216—217).

— Вчера получил любопытное письмо от Михайловского,—сказал мне однажды Чехов.

— Что же он вам пишет?

— А пишет он мне, что, во первых, возлагает на меня надежды, во вторых, что мне следует бросить мелкие рассказы, переходить к крупным по размерам вещам и печататься в толстых журналах, а в третьих, что мне непременно следует бросить „Новое Время“ и прекратить всякую работу у Суворина... Последнее меня разозлило.

— Вы уже ответили Михайловскому?

— Да... Я начинал и рвал несколько писем. Последнее где то здесь.

Чехов наклонился к корзине с рваной бумагой и взял сверху надорванное письмо; письмо было особенно интересно в той части, которая относилась до „Нов. Времени“. Я хорошо помню это место.

Чехов сообщал Михайловскому, что не чувствует никакой антипатии к „Нов. Времени“, но если бы и чувствовал, не затруднился бы

1 Письмо Н. К. Михайловского, помещенное в сб. «Слово» (М. 1914 г.), датировано 15 ноября 1888 г., что не соответствует действительности, т. к. корректура «Степи» читалась в редакции «Сев. Вестника» в феврале мес. 1888 г.—«Степь» вышла в мартовском № журнала (№ 3).

печататься там, потому что слишком многим обязан Суворину, чтобы уходить от него; когда он был слаб и неизвестен и страстно карабкался вверх, никто не протянул ему руки, никто не пришел на помощь:—это сделал Суворин.

Прочитав письмо, Чехов добавил с досадой:

— Далось им „Нов. Время“. Ведь поймите же, тут может быть такой расчет... У газеты 50,000 читателей; я говорю не о „Нов. Вр.“, а вообще о газете,—этим пятидесяти, сорока, тридцати тысячам гораздо полезнее прочитать 500 моих безвредных строк, чем те 500 вредных, которые будут идти в фельетоне, если своих я не дам. Ведь это же ясно! Поэтому я буду писать решительно в каждой газете, куда меня пригласят... ¹

(А. Грузинский. Воспомин. «Русская Правда» 1904 г., № 99).

...Не считаю себя, разумеется, в праве касаться ваших личных чувств к Суворину. Но позволю себе не согласиться с одним вашим аргументом. Вы пишете, что лучше уж пусть читатели „Нового Времени“ получают ваш индифферентный

¹ К сожалению, до сих пор не обнаружено ответное письмо Чехова к Михайловскому, вследствие этого приходится довольствоваться пересказом его содержания из вторых рук, между тем как первоисточник в данном случае был бы чрезвычайно ценен. Отвечал ли Чехов на второе (нижеследующее) письмо Михайловского,—остается тоже невыясненным. Можно лишь предполагать, что эти письма крупнейшего из публицистов и критиков своего времени остались не без влияния на Ант. Павл.; справедливость его упреков Чехов, несомненно, признал впоследствии, когда с негодованием отвернулся от «Нов. Времени». Характерно, что в письме А. С. Суворина к В. В. Розанову (от 15 июля 1904 г.), встречается такая оценка влияния Михайловского на Чехова: «Губить Чехова стал именно Михайловский. А Чехов был тем поэтом, который поет, как птица,—поет и радуется». (Письма А. С. Суворина к В. В. Розанову. СПб. 1919 г.).

рассказ, чем какой нибудь „недостойный ругательный фельетон“. Без сомнения, это было бы лучше, если бы вы в самом деле могли заменить собой что нибудь дрянное. Но этого никогда не будет и быть не может... Ради вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания „Жителя“, ни „патриотическая“ наука Эльпе.¹ Я думаю, вы сами с этим согласитесь. Ваш рассказ поступит в общий котел, ничего собой не заменив и не изменив. Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков и стало быть читателей Буренину, Жителю, Эльпе, которых вы не замените, и разным гнусным передовицам, которых вы заменить и не пожелаете. Колеблющиеся умы, частью благодаря вам, въедятся в эту кашу и, привыкнув, найдут, что она не так уж дрянна,— а уж чего дряннее!.. Не индифферентны ваши рассказы в „Нов. Вр.“,—они прямо служат злу. Простите, пожалуйста.

(Н. К. Михайловский—А. П. Чехову. СПб. 1888. «Слово». Сб. второй, стр. 217—218).

...Вы спрашиваете в письме, что я пишу? После „Степи“ я почти ничего не делал. Начал было мрачный рассказ во вкусе Альбова,² написал около полулиста (не особенно плохо) и бросил до марта.

От нечего делать написал пустенький французистый водевильчик под названием „Медведь“, начал маленький рассказ для „Нового Времени“ и больше ничего. Весь февраль проболтался зря.

¹ Сотрудники «Нов. Времени», реакционеры и пасквилянты.

² Альбов, Михаил Нилович (1851—1911), известный беллетрист 80—90-х г.г., в первый период своей литературн. деятельности писал преимущественно о болезненных душевных переживаниях, о психологии самоубийц и т. п.

Ходил из угла в угол или же читал свою медицину. На „Степь“ пошло у меня столько соку и энергии, что я еще долго не возьмусь за чтонибудь серьезное.

Ах, если в „Северном Вестнике“ узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть планίδα моя такая. А говоря серьезно, очень возможно, что эта „планίδα“ служит симптомом, что из меня никогда не выработается серьезный, основательный работник.

(А. П. Чехов—Я. П. Полонскому. Москва. 1888, 22 февр. «Радуга». Альманах Пушкинск. Дома. ИВ. 1922, стр. 297—298).

Нас было четверо. Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать извозчий трактир. Где то неподалеку, в одном из переулков, зашветились окна трактира. Зимнее утро только что начиналось. Было еще темно. Трактир был грязный, дешевый.¹

— Это и хорошо,—говорил Антон Павлович.— Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся.

Сели за стол, за серую, непросохшую с вечера скатерть. Подали нам чаю с лимоном. Но от кусочков лимона сильно припахивало луком.

¹ Настоящее воспоминание Н. Телешова относится к 10 февр. 1888 г.—дело происходило в день свадьбы поэта И. Белоусова, на которой Н. Телешов познакомился с А. П. Когда гости начали расходиться, под утро, А. П. предложил отправиться в трактир. Поехали четверо—А. П., его брат Мих. П., старый приятель Чеховых В. А. Гиляровский (репортер, фелетонист и поэт) и Н. Телешов.

— Превосходно!—ликовал Антон Павлович.— А вот вы жалуетесь, что сюжетов мало.—А это разве не сюжет?

Перед нашими глазами, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда то масляной краской. На ней ничего не было, кроме сала и копоти, да на некотором уровне широких темных пятен; это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этом месте своими курчавыми головами, жирно смазанными деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так, сюжетов нет?—настаивал на своем Антон Павлович.—Да, все сюжет, везде сюжет! Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней, кажется, нет. Но вы взгляните в нее, найдите в ней чтонибудь „свое“, чего никто еще в ней не находил. И опишите это. И, уверяю вас, хороший рассказ получится. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все таки увидеть в ней чтонибудь „свое“, а не чужое.

— А это разве не сюжет?—указал он в окошко на улицу, где стало уже светать.—Вон, смотрите,—идет монах с книжкой собирать на колокол... Чего вам еще надобно? Монах... Черный весь... Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема... Тут есть что то трагическое—в черном монахе!..

(Н. Телешов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит». Изд. «Никит. Субб.». М. (1927), стр. 7—8).

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

У СУВОРИНЫХ.—«ОГНИ».—НА ЛУКЕ.—ПОЕЗДКА В КРЫМ
И НА КАВКАЗ.—МЕДИЦИНА И ЛИТЕРАТУРА.

(1888 г.—с весны до начала осени)

Остановился я в „Москве“, но сегодня пере-
езжаю в редакцию „Нового Времени“, где т-м С.¹
предоставила мне две комнаты...

Я переехал на новую фатеру. Рояль, фис-
гармония, кушетка в турнюре, лакей Василий,
кровать, камин, шикарный письменный стол—
это мои удобства. Что касается неудобств, то их
не перечесть...

До обеда—длинный разговор с т-м NN о том,
как она ненавидит род человеческий, и о том,
что сегодня она купила какую то кофточку за
120 р. За обедом разговор о мигрени, причем
детишки не отрывают от меня глаз и ждут, что
я скажу чтонибудь необыкновенно умное. А по
их мнению, я гениален, так как написал повесть
о Каштанке. У С. одна собака называется Фе-
дором Тимофеевичем, другая Теткой, третья Ива-
ном Ивановичем.² От обеда до чая, хождение
из угла в угол в суворинском кабинете и фило-
софия... Чай. За чаем разговор о медицине. На-
конец я свободен, сижу в своем кабинете и не
слышу голосов...

¹ Жена А. С. Суворина.

² Герои повести «Каштанка».

Мой Василий одет приличнее меня, имеет благородную физиономию, и мне как то странно, что он ходит возле меня благоговейно на цыпочках и старается предугадать мои желания. Вообще неудобно быть литератором. Хочется спать, а мои хозяева ложатся в 3 часа... Писать лень да и мешают... Ложусь и читаю отрывной календарь „Стрекозы“.

Вот все умное и великое, что я успел совершить по приезде в С.-Петербург.

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. СПб. 1888, 15 марта. П. Т. II, 44—45).

Когда он приезжал к нам—для нас был праздник. Для него была у нас его собственная комната, так и называвшаяся „Чеховской комнатой“,—с отдельным ходом прямо из передней... В комнате стоял огромный письменный стол, на котором перед приездом гостя укладывались огромные кипы всевозможной бумаги, конвертов, перьев, карандашей—это его всегда смешило. Он говорил, что это министерский стол, и ему остается только писать на нем приказы...

(А. И. Суворина. «Воспоминания о Чехове». А. П. Чехов. Затерян. произвед., неиздан. письма и пр. «Атеней». 1925, стр. 187).

На днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фимиамы. Жил я у С.¹, привык к его семье и весною еду к нему в Крым. На правах великого писателя я все время в Питере катался в ландо и пил шампанское. Вообще чувствовал себя прохвостом...

Печатается второе издание „В сумерках“.

¹ У А. С. Суворина.

За первое я получил уже деньги. В начале сего года я заработал и прожил полторы тысячи рублей. Деньги улетучиваются, как черти от ладана...

Меня в Питере почему то прозвали Потемкиным, хотя у меня нет никакой Екатерины. Очевидно, считают меня временщиком у муз. Работается плохо. Хочется влюбиться, или жениться, или полететь на воздушном шаре.

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1888, 25 марта. II. Т. II, 48—49).

... Мои доброжелатели-критики радуются, что я ушел из „Нов. Врем.“ Надо бы поэтому, пока радость их еще не охладилась, возможно скорее напечатать чтонибудь в „Нов. Врем.“ Но нет сил писать. Никак не покончу с повестушкой (разговор с инженерами в бараке)¹, она связала меня по рукам и ногам...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 3 апр. II. Т. II, 59—60).

Я давно уже (с середины апреля) сижу за небольшою (1—1½ печатных листа) повестушкой для С. В.², давно уже пора кончить ее, но—уввы! чувствую, что я ее кончу едва к маю. К прискорбию моему она у меня не вытанцовывается, т. е. не удовлетворяет меня, и я порешил выслать вам ее не ранее, пока не поборю ее. Сегодня я прочел все написанное и уже переписанное начисто, подумал и решил начать опять снова. Пусть она выйдет плоха, но все таки я буду знать, что отнесся я к ней добросовестно

¹ «Огни».

² «Северный Вестник».

и что деньги получил не задаром. Повестушка скучная, как зыбь морская; я сокращал ее, шлифовал, фокусничал, и так она подлая надоела мне, что я дал себе слово кончить ее непременно к маю, иначе я ее заброшу ко всем чертям... Я трус и мнителен; боюсь торопиться и вообще боюсь печататься. Мне все кажется, что я скоро надоем и обращусь в поставщика балласта, как обратились Я., М., Б. и проч., как и я, „подававшие большие надежды“. Боязнь эта имеет свое основание; я давно уже печатаюсь, напечатал пять пудов рассказов, но до сих пор еще не знаю, в чем моя сила и в чем слабость?

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 9 апр. II. Т. II, 66).

Вы пишете, что не знаете до сих пор в чем ваша сила и в чем ваша слабость? Правда, что критики о вас не было ни одной солидной (Арсеньева статьи я не читал еще)¹. Но сколько мне случалось слышать от разных лиц—то вас обвиняют в том, что в ваших произведениях не видно ваших симпатий и антипатий. Иные впрочем приписывают это желанию быть объективным, намеренной сдержанностью... другие же индифферентизму, безучастию.— Но все и хвалители и порицатели признают в вас выдающуюся силу, мастера в пейзаже и тонкого психолога.— Погодите, напишите еще две-три вещи—и критика выскажется о вас определеннее; теперь вашей вещи ни одной не пройдут молчанием... Отделка, конечно, хорошая, вещь... Но смотрите Антон Павлович, не слишком уж сидите

¹ К. Арсенъев. «Критические этюды по русской литературе». («Вестн. Евр.», 1887, кн. 12).

над ней. А писать сызнава, как бы не вышло холоднее и суше.

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. СПб. 1888, 14 апр. «Слово». Сборн. второй, стр. 245).

Вы предостерегаете меня от излишней отделки и боитесь, чтобы перестаравшись, я не стал холоден и сух? Это резон и большой резон, но история в том, что речь в моем письме шла вовсе не об отделке. Я переделывал весь корпус повести, оставив в целости только один фундамент. Мне не нравилась вся повесть, а не в деталях. Тут поневоле просидишь вместо одного месяца целых три. Вообще повесть выйдет не из аховых, критики только носом покрутят. Это я не скромничаю. Достоинство повести: краткость и кое что новенькое.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва, 1888, 17 апр. П. Т. II, 71).

Я оканчиваю скучнейшую повестушку ¹. Вздумал пофилосовствовать, а вышел канифоль с уксусом. Перечитываю написанное и чувствую слюнотечение от тошноты: противно. Ну, да ничего... Наплюе!—Какую бы мы глупость ни написали теперь, как бы ни мудрили над нами наши индюки критики, а через десять лет мы уже не будем чувствовать этого, а потому, капитан,—вперед без страха и сомненья!..

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Москва. 1888, 18 апр. П. Т. II, 74).

Живу я на берегу Псла, во флигеле старой, барской усадьбы. Нанял я дачу заглазно,

¹ «Огни».—Закончил эту повесть А. П. 25 апреля и, отсылая ее А. Н. Плещееву в «Сев. Вестник», писал о ней: «Скучна она, как статистика Сольвычегодского уезда».

наугад, и пока еще не раскаялся в этом ¹. Река широка, глубока, изобильна островами, рыбой и раками. Берега красивы, зелени много... Природа и жизнь построены по тому шаблону, который теперь так устарел и бракуется в редакциях: не говоря уж о соловьях, которые поют день и ночь, о лае собак, который слышится издали, о старых запущенных садах, о забитых наглухо, очень поэтичных и грустных усадьбах, в которых живут души красивых женщин, не говоря уж о старых, дышущих на ладан лакеях-крепостниках, о девицах, жаждущих самой шаблонной любви, недалеко от меня имеется даже такой заезженный шаблон, как водяная мельница (о 16 колесах) с мельником и его дочкой, которая всегда сидит у окна и, повидимому, чего то, ждет. Все, что я теперь вижу и слышу, мне кажется, давно уже знакомо мне по старинным повестям, и сказкам...

Вы пишете, что ни разговор о пессимизме, ни повесть Кисочки нимало не подвигают и не решают вопроса о пессимизме ². Мне кажется, что не беллетристы должны решать такие вопросы, как бог, пессимизм и т. п. Дело беллетриста изобразить только, кто, как и при каких обстоятельствах говорили или думали о боге или пессимизме. Художник должен быть не судьей своих персонажей и того, о чем говорят они, а только беспристрастным свидетелем... Мое дело только в том, чтобы быть талантливым, т. е. уметь отличать важные показания от неважных, уметь

¹ В имени Линтваревых — «Лука», возле г. Сумы, Харьковской губ.

² Речь идет о повести «Огни».

освещать фигуры и говорить их языком. Щеглов-Леонтьев¹ ставит мне в вину, что я кончил рассказ фразой: „Ничего не разберешь на этом свете“. По его мнению, художник - психолог должен разобрать, на то он психолог. Пишущим людям, особенно художникам, пора уже сознаться, что на этом свете ничего не разберешь, как когда то сознался Сократ и как сознавался Вольтер. Толпа думает, что она все знает и все понимает; и чем она глупее, тем, кажется, шире ее кругозор. Если же художник, которому толпа верит, решится заявить, что он ничего не понимает из того, что видит, то уж это одно составит большое знание в области мысли и большой шаг вперед.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Сумы, усадьба Линтваревой, 1888, 30 мая. П. Т. II, 101—107).

Когда я разбогатею, то куплю себе на Псле, или на Хороле хутор, где устрою „климатическую станцию“ для петербургских писателей. Когда по целым неделям не видишь ничего, кроме деревьев и реки, когда, то и дело, прячешься от грозы, или обороняешься от злых собак, то поневоле, как бы ни был умен, приобретаешь новые привычки, а все новое производит в организме реакцию более резкую, чем рецепты Бертенсона. Под влиянием простора и встреч с людьми, которые в большинстве оказываются превосходными людьми, все петербургские тенденции становятся необыкновенно куцыми и бледными. Тот, кто в Петербурге близко принимал к сердцу выход Михай-

¹ Щеглов — псевдоним Ивана Леонтьевича Леонтьева (1855—1911), беллетрист и драматург, приятель Чехова.

ловского из „Северного Вестника,“ или ненавидел Михневича ¹, или злился на Буренина, или плакался на невнимание и отсутствие критики и проч., тот здесь, вдали от родных тундр, вспоминает о Петербурге только в те минуты, когда, ознакомившись с простором и людьми, заявляет громогласно:—„Нет не то мы пишем, что нужно!“

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Сумы. 1888, 28 июня. II. Т II, 115—116).

Помнится, что в течение недельного пребывания моего у Антона Павловича ² он всего один или два раза делал попытки писать, чуть ли не тут же у всех на глазах. Так называемая „комната Антона Павловича“ всегда была занята людьми, всегда в ней кто нибудь да находился. С первого же дня моего приезда, в этой комнате, на письменном столе, я увидел несколько четвертушек бумаги, и на одной из них что то набросанное характерным почерком Антона Павловича. В день моего отъезда четвертушки лежали на прежнем месте и издали, наглаз, можно было видеть что к начатому не прибавлено ничего. Все, кто ни бывали в этой комнате,—а бывали в ней многие, раз даже я увидел какого то сельского учителя с гитарой, по справке у Антона Павловича оказавшегося ему почти незнакомым,—все бывшие здесь могли свободно читать, что начал писать Антон Павлович.—Чехов не скрывал своих произведений.

Создавал он их втихомолку, заноса в записную книжку образы и мысли, заноса, где придется:

¹ В. О. Михневич—фельетонист „Голоса“, „Новостей“ и др. изд.

² На даче в усадьбе Лука.

дома, за обедом, ночью, на ступеньках крыльца (он особенно любил сидеть за полночь на ступеньках крыльца), на лодке, в поле, гуляя,—и эту свою записную книжку, должно быть, берег и прятал, потому что я никогда ее не видел,—но раз образы нашли свое место, а мысли надлежащее выражение,—Антон Павлович не считал нужным таить и бросал свою рукопись открытой на столе...

(К. С. Баранцевич. Воспомин. А. Измайлов. «Чехов», стр. 161).

Милые мои домочадцы! Сим извещаю вас, что завтра я выезжаю из Феодосии¹. Гонит меня из Крыма лень. Я не написал ни одной строки и не заработал ни одной копейки; если мой гнусный кейф продлится еще 1—2 недели, то у меня не останется ни гроша, и Чеховской фамилии придется зимовать на Луке. Мечтал я написать в Крыму пьесу и 2—3 рассказа, но оказалось, что под южным небом гораздо легче взлететь живым на небо, чем написать хоть одну строку. Жизнь сытая, полная, как чаша, затягивающая... Кейф на берегу, шартрезы, крюшоны, ракеты, купанье, веселые ужины, поездки, романсы—все это делает дни короткими и едва заметными; время летит, а голова под шум волн дремлет и не хочет работать... Дни жаркие, ночи душные, азиатские... Нет, надо уехать!..²

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Феодосия. 1888, 22 июля. П. Т. II, 127—129).

¹ А. П., по приглашению А. С. Суворина, в июле мес. 1883 г., приезжал к нему на дачу в Феодосию.

² Из Феодосии А. П., вместо возвращения на Луку, предпринял с сыном Суворина, Алексеем Алекс., поездку по Кавказу.

Я в Абхазии! Ночь ночевал в монастыре „Новый Афон“, а сегодня с утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю... Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов...

(А. П. Чехов—Неизвестному лицу. Сухум. 1888, июль. Т. II, 136—137).

Я вернулся во свояси. Был в Крыму, в Новом Афоне, в Сухуме, в Батуме, в Тифлисе, в Баку, хотел съездить в Бухару и Персию, но судьбе угодно было повернуть мои оглобли назад ¹. Впечатления новые, резкие, до того резкие, что все пережитое представляется мне теперь сновидением...

Теперь я сижу у окна, пишу, поглядываю в окна на зелень, залитую солнцем, и уныло предвкушаю прозу московского житья. Ах, как не хочется уезжать отсюда! Каналья Псел, как нарочно, с каждым днем становится все красивее, погода прекрасная; с поля возят хлеб... Москва с ее холодом, плохими пьесами, буфетами и русскими мыслями пугает мое воображение... Я охотно прожил бы зиму подальше от нее. Роман мой на точке замерзания. Он не стал длиннее... Чтобы не остаться без

¹ Путешествия пришлось прервать, т. к. А. А. Суворов получил известие о смерти своего младшего брата.

гроша, спешу писать всякую чепуху. Для „Сев. Вестн.“ дам повестушку в ноябре или октябре, но роман едва ли попадет на его страницы. Я так уже и порешил, что роман будет кончен года через три—четыре.

(А. П. Чехов—Н. А. Плещееву. Сумы. 1888, 13 авг. II. Т. II, 140—141).

Вы советуете мне не гоняться за двумя зайцами и не помышлять о занятиях медициной. Я не знаю, почему нельзя гнаться за двумя зайцами даже в буквальном значении этих слов. Были бы гончие, а гнаться можно. Гончих у меня, по всей вероятности, нет (теперь в переносном смысле), но я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда, сознаю, что у меня два дела, а не одно.—Медицина—моя законная жена, а литература любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе. Во мне нет дисциплины...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 11 сент. II. Т. II, 153—154).

... Помню поздний осенний вечер на Кудринской-Садовой, в знакомом деревянном флигеле. Я сижу на диване в кабинете Чехова, а неподалеку от меня, согнувшись над письменным столом сидит сам Чехов и при свете лампы что то дописывает... Сверху, из второго этажа, доносятся нежные меланхолические звуки шопеновского Ноктюрна. Это брат Антона—Николай Павлович, художник, фантазирует на рояли. (Чехов очень

любил музыку и особенно любил обдумывать свои работы под ласкающую музыкальную мелодию). Дописав страничку, Чехов кладет перо и оборачивается ко мне:

— Это утро, Жан, я думал о вас... все думал, отчего вы так мало сравнительно пишете... И знаете, отчего это?

Он встал и подойдя ко мне, тоном трогательной отеческой журьбы продолжал:

— Все оттого, что вы до чертиков субъективны! Так, Жан, нельзя... Нельзя выворачивать только пережитое—этак, ведь, никаких нервов не хватит. Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя... Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку... сделалось второй натурой!..

Я заметил Чехову, что в тридцать лет не так то легко себя переделать и что он, как врач по профессии, находится в более благоприятных условиях.

— Ну, этого не скажите,—проговорил Чехов, задумчиво пощипывая свою бородку.—Мне медицина, напротив, скорей мешает предаваться вольному искусству... мешает, понимаете, в смысле непосредственности впечатления! Как бы это вам объяснить потолковее?..

Чехов принялся ходить взад и вперед по комнате—обычная его повадка, когда он хотел что-нибудь рассказать или доказать—потом остановился у окна и заглянул на освещенный луной дворик.

— Вот, например, простой человек смотрит на луну и умиляется, как пред чем-то страшно таинственным и непостижимым. Ну, а астроном

смотрит на нее совсем иными глазами... У него уже нет и не может быть этих дорогих иллюзий. И у меня, как медика, их тоже мало... И, конечно, жаль—это как то сушит жизнь...

После ужина Николай Павлович опять играл на рояли; потом что то пели хором, чему то оглушительно громко смеялись и в заключение, молодежь, возбужденная чудной лунной ночью потащила меня, как приезжего гостя, шататься по стогнам первопрестольной. Антона Чехова тоже соблазняла прогулка, но у него на плечах была какая то срочная работа... и он остался. Уходя, я видел, как он уселся за письменный стол, как то по стариковски сгорбившись, и снова взялся за перо...

(Ив. Щеглов. «Из воспомин. об Ант. Чехове». «Нива». (Ежемесячн. прилож.) 1905 г., № 6, стр. 247—250).

Моя мечта: заработать к весне возможно больше денег, каковые нужны мне для осуществления моих планов, в тиши задуманных. Буду стараться писать во всю, семо и овамо, вкривь и вкось, не щадя живота, пока не опротивею; вернусь в „Пет. Газ.“, в „Осколки“ и в прочие колыбели моей славы, пойду в „Север“, в „Ниву“ и куда хотите... Денег, денег! Жениться мне, что ли???

Я сижу с 15 рублями, а будущее, когда я начну получать гонорар, представляется мне таким же отдаленным, как страшный суд. Задолжал я за лето более 500 рублей. Ну не курицын ли я сын!.. А что мы теряем жизнь—это так же верно, как то, что вы носите очки. Впрочем, чорт его знает!

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Москва. 1888, 14 сент. П. Т. II, 155—156).

... В истекший сезон я написал „Степь“, „Огни“, пьесу, два водевиля, массу мелких рассказов, начал роман,—и что же? Если промыть 100 пудов этого песка, то получится (если не считать гонорара) 5 золотников золота, только.

Все таки мне и в предстоящий сезон не избежать многописания. Буду стараться во все лопатки заработать возможно больше денег, чтобы опять провести лето ничего не делая... Ах, как мне опостылела Москва! Осень еще только началась, а уж я помышляю о весне...

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888. 15 сент. П. Т. II, стр. 159—160).

Наступила осень 1888 года. Литературные дела вызвали меня в Москву. И в самый день приезда туда, только что отделавшись от первых хлопот, в третьем часу дня я отправился на Кудринскую-Садовую к Антону Павловичу, чтобы сделать ему мой первый визит...

Звоню. Горничная впускает меня прямо в переднюю.

— Антон Павлович Чехов дома?—спрашиваю я.

А слева отворяется дверь и на пороге ее стоит довольно высокий худощавый молодой человек... Я сразу догадался, что это Антон Павлович и назвал свою фамилию...

Мы вошли в кабинет и... были уже знакомы, т. е. случилось что то странное: через минуту я сидел на каком то диване и курил, а Антон Павлович ходил взад и вперед по комнате и тоже курил и говорил со мной, как с человеком, с которым он уже давным-давно знаком...

Время от времени Антон Павлович на минуту обрывался, подсаживался к письменному столу

и что то писал на листочках почтовой бумаги малого формата.

— Вы что это пишете?

— Да так, рассказ дописываю,—совсем просто ответил он.

— Так я вам мешаю? Простите, ради бога!—всполошился я, поднимаясь с дивана.

— Нет, нет, пожалуйста! Нисколько не мешаете. Я всегда так, успокоил он меня...

Итак, я сидел у него на диване, он ходил взад и вперед по комнате, курил, присаживался время от времени, писал несколько строк и в то же время мы беседовали...

В комнату к нам один за другим, пришли три брата Чехова: художник Николай, учитель Иван и совсем еще юный Михаил Павлович. Беседа сделалась общей...

И вот, во время этой общей беседы, я заметил в Чехове одну характерную черту, это то, что он всегда думал, всегда, всякую минуту, всякую секунду. Слушая веселый рассказ, сам рассказывая что нибудь, сидя в приятельской пирушке, говоря с женщиной, играя с собакой—Чехов всегда думал. Благодаря этому, он иногда сам обрывался на полуслове, задавал вам, кажется совсем неподходящий вопрос и казался иногда даже рассеянным...

Нас позвали наверх обедать, и я, так протянувши мой первый визит, нашел вполне естественным, вместе с братьями Чеховыми, уже как свой человек в доме, отправиться наверх, в столовую...

Не доев тарелку супа, Антон Павлович встал из за стола, закурил папиросу и зашагал взад

и вперед по столовой, прислушиваясь к нашему разговору. А после жаркого он и совсем вышел из столовой.

— Антон всегда так,—сказала мне Марья Павловна,—поест-поест, а потом пойдет к себе вниз, да рассказ напишет.

К третьему блюду он уже был наверху.

(Вл. Тихонов. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 225—230).

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«ИМЕНИНЫ».—ВОПРОС О НАПРАВЛЕНИИ.—ПУШКИН-
СКАЯ ПРЕМИЯ.—ЗАМЫСЕЛ РОМАНА.

(1888 г.—октябрь)

Прочитавши мой рассказ ¹, напишите мне? Он вам не понравится, но вас и Анны Михайловны ² я не боюсь. Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом, или консерватором. Я не либерал, не постепеновец, не монах, не индифферентист. Хотел бы быть свободным художником и—только, и жалею что бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах, и мне одинаково противны как секретари консисторий, так и Нотович с Градовским. Фарисейство, ту-поумие и произвол царят не в одних купеческих домах и кутузках: я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю пред-рассудком. Мое святое святых—это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от

¹ «Именины».

² А. М. Евреинова, редакторница «Сев. Вести».

силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва.
4 окт. II. Т. II, 171).

Это письмо я мог бы скрепить одним личным воспоминанием.

Однажды мы возвращались вместе от Плещеева, и разговор как раз зашел на эту тему (о праздных толках, что у Чехова нет бога, нет философской подкладки и т. д.). Чехов нахмурился и раздраженно проговорил:

— Толкуют про меня и то, и се. Словом, всякий вздор! А я просто человек прежде всего... Я люблю природу и литературу, люблю красивых женщин и ненавижу рутину и деспотизм.

— Политический деспотизм?

— Всякий... где бы и в чем бы он ни выражался,—резко оборвал Чехов.—Все одно: в министерстве внутренних дел или в редакции „Русской Мысли“.

(Ив. Щеглов. «Из воспомин. об Ант. Чехове». «Нива», (ежемесячн. прилож.), 1905 г. № 6, стр. 417).

Сейчас только что прочел вашу повесть,¹ дорогой Антон Павлович. Как и всегда у вас,—в ней разбросано множество тонких, психологических черт, свидетельствующих о вашем знании жизни и большой наблюдательности. Все здесь реально, правдиво, жизненно... Местами повеяло на меня лучанским воздухом...² Но середина

¹ «Именины».

² А. Н. Плещеев гостил летом у Чехова на Луке.

повести—признаюсь вам,—скучновата... Что касается до „направления“, о котором вы мне писали в одном из ваших писем,¹ то я не вижу в вашем рассказе никакого направления. В принципиальном отношении тут нет ничего ни против либерализма, ни против консерватизма; и я решительно не понимаю почему—если б выкинуть из повести одну или две фразы—она бы приобрела тенденциозный характер? Ни либеральной, ни консервативной она бы не сделалась... Вы очень энергично отстаиваете вашу душевную независимость и справедливо порицаете доходящую до мелочности боязнь людей либерального направления, чтоб их не заподозрили в консерватизме; но простите меня, Антон Павлович,—нет ли у вас тоже некоторой боязни—чтоб вас не сочли за либерала? Вам прежде всего ненавистна фальш—как в либералах, так и в консерваторах. Это прекрасно; и каждый честный и искренний человек может только сочувствовать вам в этом. Но в вашем рассказе вы смеетесь над украинофилом, „желающим освободить Малороссию от русского ига“ и над человеком 60-х годов, застывшим в идеях этой эпохи,—за что собственно? Вы сами прибавляете, что он искренен, и что дурного он ничего не говорит... Украинোфила в особенности я бы выкинул. Верьте, что это бы не повредило объективизму повести. Дядюшка либерал достаточно бы оградил вас

¹ Чехов писал Плещееву: «Неужели и в последнем рассказе не видно «направления»? Вы как то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий... Но разве в рассказе от начала до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление? Нет?..»

от подозрений в либерализме, в тенденциозности в эту сторону...

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову, СПб. 1888, 6 окт. «Слово». Сб. второй, стр. 256—258).

Большое вам спасибо за то, что прочли мой рассказ и за ваше письмо. Вашими мнениями я дорожу. В Москве мне разговаривать не с кем... Вы правы! Середина моего рассказа скучна, сера и монотонна. Писал я ее лениво и небрежно. Привыкнув к маленьким рассказам, состоящим только из начала и конца, я скучаю и начинаю жевать, когда чувствую, что пишу середину. Правы вы и в том, что не таите, а прямо высказываете свое подозрение: не боюсь ли я, чтоб меня сочли либералом? Это дает мне повод заглянуть в свою утробу. Мне кажется, что меня можно скорее обвинить в обжорстве, в пьянстве, в легкомыслии, в холодности, в чем угодно, но только не в желании казаться или не казаться. Я никогда не прятался. Если я люблю вас, или Суворина, или Михайловского, то этого я нигде не скрываю. Если мне симпатична моя героиня Ольга Михайловна, либеральная и бывшая на курсах, то я этого в рассказе не скрываю, что, кажется, достаточно ясно... Правда, подозрительно в моем рассказе стремление к уравниванию плюсов и минусов. Но, ведь, я уравниваю не консерватизм и либерализм, которые не представляют для меня главной сути, а ложь героев с их правдой... Украинофил не может служить уликой... Я же имел в виду тех глубокомысленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не по хохлацки, которые будучи деревянными, бездарными

и бледными бездельниками, ничего не имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки. Что же касается человека 60-х годов, то в изображении его я старался быть осторожен и краток, хотя он заслуживает целого очерка. Я щадил его. Это полинявшая недеятельная бездарность, узурпирующая 60-е годы... Вы бы послушали, как он во имя 60-х годов, которых не понимает, брюзжит на настоящее, которого не видит; он клеветает на студентов, на гимназисток, на женщин, на писателей и на все современное и в этом видит главную суть человека 60-х годов. Он скучен, как яма, и вреден для тех, кто ему верит, как суслик. Шестидесятые годы — это святое время, и позволить глупым сусликам узурпировать его, значит опошлить его. Нет, не вычеркну я ни украинофила, ни этого гуся, который мне надоел! Он надоел мне еще в гимназии, надоедает и теперь...¹

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 9 окт. II. Т. II, 177—179).

Вчера из Академии Наук, где присуждалась Пушкинская премия²: «за лучшие литературные произведения, которые отличаются высшим художественным достоинством» — я поехал к А. С. Суворину сообщить радостную весть о том, что вам присуждена единогласно премия в 500 руб.

¹ И «украинофила» и «шестидесятника» Чехов вычеркнул в дальнейших (после «Сев. Вестн.») изданиях своего рассказа «Именины».

² Премия в половинном размере была присуждена Чехову за сборник рассказов «В сумерках».

Немедленно послана вам телеграмма. Спешу поделиться с вами этой радостью, но вместе с тем считаю долгом прибавить следующее: присуждая вам единогласно премию, — единогласно также выражено было искреннее сожаление о том, что вы мало цените свой талант, сотрудничая в мелкой прессе и часто принуждая себя к спешной работе. Не то же ли самое и я говорил вам всякий раз, как мы встречались? Не лучше ли написать внимательно—вдоль и поперек два—три рассказа и напечатать их сразу в „Русск. мысли“, „Русск. Вестнике“ и т. д... Здесь нет редактора большого журнала, который не заплатил бы вам хорошего гонорара...

(Д. В. Григорович—А. П. Чехову. СПб. 1888, 8 окт. «Слово». Сб. второй, 211—212).

Премия для меня, конечно, счастье и, если бы я сказал, что она не волнует меня, то солгал бы. Я себя так чувствую, как будто кончил курс, кроме гимназии и университета, еще где то в третьем месте. Вчера и сегодня я брожу из угла в угол, как влюбленный, не работаю, а только думаю. Конечно,—и это вне всякого сомнения,—премией этой я обязан не себе. Есть молодые писатели лучше и нужнее меня, например, Короленко... Мысль о премии подал Я. П. Полонский, Суворин подчеркнул эту мысль и послал книгу в Академию. Вы же были в Академии и стояли горой за меня. Согласитесь, что если бы не вы трое, то не видеть бы мне премии, как ушей своих. Я не хочу скромничать и уверять вас, что все вы трое были пристрастны, что я не стою премии и пр.—это было бы старо и скучно; я хочу только сказать, что своим

счастьем я обязан не себе. Благодарю тысячу раз и буду всю жизнь благодарить.

В малой прессе я не работал уж с нового года. Свои мелкие рассказы я печатаю в „Новом Времени“, а что покрупнее, отдаю в „Северный Вестник“... Из „Нового Времени“ я не уйду, потому что привязан к Суворину, к тому же ведь „Новое Время“ не малая пресса. Определенных планов на будущее у меня нет. Хочется писать роман, есть чудесный сюжет, временами охватывает страстное желание сесть и приняться за него, но не хватает, повидимому, сил. Начал и боюсь продолжать. Я решил, что буду писать его не спеша, только в хорошие часы, исправляя и шлифуя; потрачу на него несколько лет; написать же его сразу в один год не хватает духа, страшно своего бессилия, да и нет надобности торопиться. Я имею способность—в этом году не любить того, что написано в прошлом, мне кажется, что в будущем году я буду сильнее, чем теперь; и вот почему я не тороплюсь рисковать и делать решительный шаг. Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно.

Те мысли, женщины, мужчины, картины природы, которые скопились у меня для романа, останутся целы и невредимы. Я не растрянжирю их на мелочи и обещаю вам это. Роман захватывает у меня несколько семейств и весь уезд с лесами, реками, паромами, железной дорогой. В центре уезда две главные фигуры, мужская и женская, около которых группируются другие шашки. Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет, я меняю

его ежемесячно, а потому придется ограничиться только описанием, как мои герои любят, женятся, родят, умирают и как говорят.

Пока не пробил час для романа, буду продолжать писать то, что люблю, то есть мелкие рассказы в 1—1½ листа и менее. Растягивать неважные сюжеты на большее полотно—скучно, хотя и выгодно. Трогать же большие сюжеты и тратить дорогие мне образы на срочную, поденную работу — жалко. Подожду более удобного времени.

(А. П. Чехов—Д. В. Григоровичу. Москва. 1888, 9 октября. «Ежегодник Импер. Театров». 1910 г. Выпуск II, стр. 3—4).

Получил я известие, что Академия Наук присудила мне Пушкинскую премию в 500 р. Это, должно быть, известно уже вам из газетных телеграмм. Официально объявят об этом 19-го октября в публичном заседании Академии, с подобающей случаю классической торжественностью. Это, должны быть, за то, что я раков ловил.

Премия, телеграммы, поздравления, приятели, актеры, актрисы, пьесы—все это выбило меня из колеи. Прошное туманится в голове, я ошалел; тина и чертовщина городской, литературской суеты охватывают меня, как спрут-осминог. Все пропало! Прощай лето, прощайте раки, остроносые челноки, прощай моя лень, прощай голу-бенский костюмчик...

Если когданибудь страстная любовь выбивала вас из прошлого и настоящего, то тоже самое почти я чувствую теперь. Ах, нехорошо все это, доктор, нехорошо!

(А. П. Чехов—Е. М. Ушнцевой. Москва. 1888, 9 окт. II. Т. II, 181—182).

Известие о премии имело ошеломляющее действие. Оно пронеслось по моей квартире и по Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса. Я все эти дни хожу, как влюбленный; мать и отец несут ужасную чепуху и несказанно рады, сестра, стерегущая нашу репутацию со строгостью и мелочностью придворной дамы, честолюбивая и нервная, ходит к подругам и всюду трезвонит. Жан Щеглов толкует о литературных Яго и о пьестистах врагах. каких я приобрету за 500 рублей. Иксы, Зеты и Эны, работающие в «Будильниках», в «Стрекозах» и Листках, переполошились и с надеждою взирают на свое будущее. Еще раз повторяю: газетные беллетристы второго и третьего сорта должны воздвигнуть мне памятник, или по крайней мере поднести серебряный портсигар: я проложил для них дорогу в толстые журналы, к лаврам и к сердцам порядочных людей. Пока это моя единственная заслуга, все же, что я написал и за что мне дали премию, не проживет в памяти людей и десяти лет.

Мне ужасно везет. Лето я провел великолепно, счастливо, истратив почти гроши и не наделав особенно больших долгов. Улыбались мне и Псел, и море, и Кавказ, и хутор, и книжная торговля (я ежемесячно получал за свои «Сумерки»). В сентябре я отработал половину долга и написал повестушку в $2\frac{1}{4}$ листа, что дало мне больше 300 руб. Вышло 2-ое издание Сумерек. И вдруг, точно град с неба, эта премия! Так мне везет, что я начинаю подозрительно коситься на небеса. Поскорее спрячусь под стол и буду сидеть тихо, смирно, не возвышая голоса. Пока не решусь на серьезный шаг, т. е. не напишу романа, буду

держат себя в стороне тихо и скромно, писать мелкие рассказы без претензий, мелкие пьесы, не лезть в гору и не падать вниз, а работать ровно, как работает пульс Буренина. Я послушаюсь того хохла, который сказал: „колыб я був царем, то украв бы сто рублив и утик“. Пока я маленький царек в своем муравейнике, украду сто рублей и убегу. Впрочем, кажется, я уж начинаю писать чепуху.

(А. П. Чехов—А. О. Суворину. Москва. 1888, 10 окт. П. Т. II, 182—184).

Сегодня пишу ответ на ваше последнее письмо. Сначала о кровохарканьи. Впервые я заметил его у себя 3 года тому назад в Окружном суде¹: продолжалось оно дня 3—4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого. После этого я раза два в год замечал у себя кровь, то обильно текущую, т. е. густо красящую каждый плевок, то не обильно. Третьего дня или днем раньше—не помню, я заметил у себя кровь, была она и вчера, сегодня ее уже нет. Каждую зиму, осень и весну, и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что то злое, как в зареве. Когда же нет крови, я не волнуюсь и не угрожаю русской литературе «еще одной потерей». Дело в том, что чахотка, или иное серьезное

¹ В ноябре—декабре 1885 г. Чехов писал корреспонденции в «Петерб. Газету» о громком процессе Скопинского банка, повтому бывал в Московском Окружном суде. В письме к Е. Савельевой, жене своего товарища—врача (от 2 янв. 1886 г.), А. П. пишет: «Нездоровье мое, немножко напугало меня...»

легочное страдание узнаются только по совокупности признаков, а у меня то именно и нет этой совокупности...

Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете—вот моя логика.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 14 окт. П. Т. II, 187—188).

Спасибо вам, добрейший Александр Семенович, за поздравление ¹. Насколько помню, льстецом я вас никогда не обзывал и вас не оспаривал; я говорил вам только, что и великие писатели бывают подвержены риску исписаться, надоесть, сбиться с панталыку и попасть в тираж. Я лично подвержен этому риску в сильнейшей степени, чего вы, как умный человек, надеюсь, отрицать не станете. Во первых, я «счастья баловень безродный», в литературе я Потемкин, выскочивший из недр «Развлечения» и «Волны», я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть. Во вторых, наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд, который едет ежедневно, без остановок, не взирая ни на погоду, ни на количество топлива...

Конечно, премия—большая штука и не для меня одного. Я счастлив, что указал многим путь к толстым журналам, и теперь не менее счастлив, что по моей милости те же самые многие могут рассчитывать на академические лавры. Все мною написанное забудется через 5—10 лет; но пути,

¹ С Пушкинской премией.

мною проложенные, будут целы и невредимы— в этом моя единственная заслуга.

(А. П. Чехов—А. С. Лазареву-Грузинскому. Москва. 1888, 20 окт. П. Т. II, 198—199).

Успех свой он принимал как то грустно, скептически, не без печальной насмешки втайне и над самим собой и над честь воздающими. Я вспоминаю Чехова, после первых петербургских лавров и пушкинской премии, в дружеском доме одного московского поэта, угрюмом, как ночь.

Спрашивают его:

— Что вы поделывали в Петербурге?

— Учился говорить генеральским басом.

Хозяйка его попрекнула:

— Вы нас совсем забыли Антон Павлович. Отчего перестали у нас бывать?

— Да вот, говорят, мы, великие люди, должны знаться тоже только с великими.

Фраза эта ошеломила было бедную даму, но когда она вскипев, пристально взглянула на Чехова, то встретила такой печальный взгляд, такую страдальческую улыбку, что сразу поняла яжелую иронию ответа.

(А. Амфитеатров. «А. П. Чехов». «Славные мертвецы», стр. 20—21).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЗАДАЧИ ПИСАТЕЛЯ-ХУДОЖНИКА. — ДВА ПОЛЮСА ТВОРЧЕСТВА: «МЕДВЕДЬ» И «ПРИПАДОК». — ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИКА.

(1888 г.—осень и зима)

Я иногда проповедую ересь, но до абсолютного отрицания вопросов в искусстве еще не доходил ни разу... В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узко-специальные вопросы. Дурно, если художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских болезнях. Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг также ограничен, как у всякого другого специалиста—это я повторяю и на этом всегда настаиваю. Что в его сфере нет вопросов, а сплошную одни только ответы, может говорить только тот, кто никогда не писал и не имел дела с образами. Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компанует—уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос; если с самого начала не задал себе вопроса, то не о чем догадываться и нечего выбирать. Чтобы быть покороче, закончу психиатрией: если отрицать

в творчестве вопрос и намерение, то нужно признать, что художник творит не преднамеренно, без умысла, под влиянием аффекта; поэтому, если бы какой-нибудь автор похвастал мне, что он написал повесть без заранее обдуманного намерения, а только по вдохновению, то я назвал бы его сумасшедшим.

Требую от художника сознательного отношения к работе, вы правы, но вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решен ни один вопрос, но они вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а решают пусть присяжные, каждый на свой вкус...

Вы пишете, что герой моих «Именин» — фигура, которою следовало бы заняться. Господи, я ведь не бесчувственная скотина, я понимаю это. Я понимаю, что я режу своих героев и порчу, что хороший материал пропадает у меня зря... Говоря по совести, я охотно посидел бы над Именинами полгода. Я люблю кейфовать и не вижу никакой прелести в скоропалительном печатании. Я охотно, с удовольствием, с чувством и с расстановкой описал бы всего моего героя, описал бы его душу во время родов жены, суд над ним, его пакостное чувство после оправдательного приговора, описал бы, как акушерка и доктора ночью пьют чай, описал бы дождь. Это доставило бы мне одно только удовольствие, потому, что я люблю рыться и возиться. Но что мне делать? Начинаю я рассказ 10 сент. с мыслью,

что я обязан кончить его к 5 октября—крайний срок; если просрочу, то обману и останусь без денег. Начало пишу покойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и бояться, чтобы рассказ мой не вышел длинен: я должен помнить, что у «Сев. Вестника» мало денег и что я один из дорогих сотрудников. Потому то начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал; середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный. Поневоле, делая рассказ, хлопчешь прежде всего о его рамках: из массы героев и полугероев берешь только одно лицо — жену или мужа — кладешь это лицо на фон и рисуешь только его, его и подчеркиваешь, а остальных разбрасываешь по фону, как мелкую монету, и получается нечто в роде небесного свода: одна большая луна и вокруг нее масса очень мелких звезд. Луна же не удается, потому что ее можно понять только тогда, если понятны и другие звезды, а звезды не отделаны. И выходит у меня не литература, а нечто в роде шитья Тришкиного кафтана. Что делать? Не знаю и не знаю. Положусь на всеисцеляющее время.

Если опять говорить по совести, то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов. Один из романов задуман уже давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успевают быть написаны. В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что пи-

сал бы с восторгом. Для меня безразлично—писать ли «Именины,» или «Огни,» или водевиль, или письмо к приятелю — все это скучно, машинально, вяло, и мне бывает досадно за того критика, который придает значение, например, Огням, мне кажется, что я его обманываю своими произведениями, как обманываю многих моим серьезным или веселым не в меру лицом. Мне не нравится, что я имею успех; те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам. Конечно, в этом вопле много преувеличенного, многое мне только кажется, но доля правды есть, и большая доля. Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным «Именинам». Если моя любовь ошибается, то я не прав, но ведь возможно же, что она не ошибается. Я дурак и самонадеянный человек, или же в самом деле я организм, способный быть хорошим писателем; все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересует меня, трогает и волнует—и из этого я вывожу, что все делают не то, что нужно, а я один только знаю секрет, как надо делать. Вероятнее всего, что все пишущие так думают. Впрочем, сам черт ломает шею в этих вопросах.

В решении, как мне быть и что делать, деньги не помогут. Лишняя тысяча рублей не решит вопроса, а сто тысяч—на небе вилами писаны. К тому же, когда у меня бывают деньги (быть

что я обязан кончить его к 5 октября—крайний срок; если просрочу, то обману и останусь без денег. Начало пишу покойно, не стесняя себя, но в середине я уж начинаю робеть и бояться, чтобы рассказ мой не вышел длинен: я должен помнить, что у «Сев. Вестника» мало денег и что я один из дорогих сотрудников. Потому то начало выходит у меня всегда многообещающее, точно я роман начал; середина скомканная, робкая, а конец, как в маленьком рассказе, фейерверочный. Поневоле, делая рассказ, хлопчешь прежде всего о его рамках: из массы героев и полугероев берешь только одно лицо — жену или мужа — кладешь это лицо на фон и рисуешь только его, его и подчеркиваешь, а остальных разбрасываешь по фону, как мелкую монету, и получается нечто в роде небесного свода: одна большая луна и вокруг нее масса очень мелких звезд. Луна же не удается, потому что ее можно понять только тогда, если понятны и другие звезды, а звезды не отделаны. И выходит у меня не литература, а нечто в роде шитья Тришкиного кафтана. Что делать? Не знаю и не знаю. Положусь на всеисцеляющее время.

Если опять говорить по совести, то я еще не начинал своей литературной деятельности, хотя и получил премию. У меня в голове томятся сюжеты для пяти повестей и двух романов. Один из романов задуман уже давно, так что некоторые из действующих лиц уже устарели, не успев быть написаны. В голове у меня целая армия людей, просящихся наружу и ждущих команды. Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать и что пи-

сал бы с восторгом. Для меня безразлично—писать ли «Именины,» или «Огни,» или водевиль, или письмо к приятелю—все это скучно, машинально, вяло, и мне бывает досадно за того критика, который придает значение, например, Огням, мне кажется, что я его обманываю своими произведениями, как обманываю многих моим серьезным или веселым не в меру лицом. Мне не нравится, что я имею успех; те сюжеты, которые сидят в голове, досадливо ревнуют к уже написанному; обидно, что чепуха уже сделана, а хорошее валяется в складе, как книжный хлам. Конечно, в этом вопле много преувеличенного, многое мне только кажется, но доля правды есть, и большая доля. Что я называю хорошим? Те образы, которые кажутся мне наилучшими, которые я люблю и ревниво берегу, чтоб не потратить и не зарезать к срочным «Именинам». Если моя любовь ошибается, то я не прав, но ведь возможно же, что она не ошибается. Я дурак и самонадеянный человек, или же в самом деле я организм, способный быть хорошим писателем; все, что теперь пишется, не нравится мне и нагоняет скуку, все же, что сидит у меня в голове, интересуется меня, трогает и волнует—и из этого я вывожу, что все делают не то, что нужно, а я один только знаю секрет, как надо делать. Вероятнее всего, что все пишущие так думают. Впрочем, сам черт сломает шею в этих вопросах.

В решении, как мне быть и что делать, деньги не помогут. Лишняя тысяча рублей не решит вопроса, а сто тысяч—на небе вилами писаны. К тому же, когда у меня бывают деньги (быть

может, это от непривычки, не знаю), я становлюсь крайне беспечен и ленив: мне тогда море по колено. Мне нужно одиночество и время.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 27 окт. II. Т. II, 208—210).

Удалось мне написать глупый водевиль, который благодаря тому, что он глуп, имеет удивительный успех...¹ Публика на седьмом небе. В театре сплошной хохот. Вот и пойми тут чем угодить!

(А. П. Чехов—М. В. Киселевой. Москва. 1888, 2 ноября. II. Т. II, 213).

Когда шел первый раз в Москве у Корша «Медведь», Антон Павлович никому из нас об этом не сказал. Он боялся, что это будет ужасно. Но, отец совершенно случайно увидел на афише, что идет водевиль «Медведь» А. П. Чехова и пошел на галерею смотреть... Успех был громадный, аплодисментам не было конца. Сам Антон Павлович был в восторге. Когда вернулись домой отец и Антон Павлович, — отец с восхищением сказал ему:

— Какую чудесную вещь ты написал, Антон!..

(И. П. Чехов. «Из воспоминаний об А. П. Чехове в худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповник», кн. 23, стр. 151).

Уф! кончил наконец переписывать рассказ,² запаковал и послал вам... Получили? Прочли?

¹ «Медведь»; шел в театре Корша впервые 28 октября 1888 г.

² «Припадок»; печатался в Сборн. «Памяти Гаршина» (СПБ 1889 г.) Самоубийство В. М. Гаршина (в припадке психического расстройства—выбросился в пролет лестницы дома, где жил) произвело на Чехова глубокое впечатление; он любил Гаршина, как писателя, стремился и к личному знакомству, но оно случайно не состоялось.

Небось сердитесь? Рассказ совсем не подходящий для альманашно-семейного чтения, неграциозный и отдает сыростью водосточных труб. Но совесть моя по крайней мере спокойна: во первых, обещание сдержал, во вторых, воздал покойному Гаршину ту дань, какую хотел и умел. Мне, как медику, кажется, что душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической науки...

О получении рассказа пожалуйста уведомьте; если он не сгодится у вас, то я пушу его в другое место с надписью «Памяти Гаршина». Не дай бог, если не сгодится. Я с ним долго возился.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1888, 13 ноября. П. Т. II, 232).

Гаршинский сборник выйдет в декабре. Мой рассказ, если его не вырежет из сборника цензура, будет. За цензуру сильно опасаюсь. А рассказ велик и не очень глуп. Прочтется он с пользой и произведет некоторую сенсацию. Я в нем трактую об одном весьма щекотливом старом вопросе и, конечно, не решаю этого вопроса...¹

У меня работы по горло, но по обыкновению скучно и грустно. Пишу, пишу, немножко лечу, опять пишу и по обязанности хожу к добрым знакомым, которые мне надоели. С удовольствием уехал бы в деревню спать и спал бы, как крот, до самого мая...

(А. П. Чехов—Е. М. Линтваревой. Москва. 1888, 23 ноября. П. Т. II, 241—242).

¹ О проституции.

Вы пишете, что писатели избранный народ божий. Не стану спорить. Щеглов называет меня Потемкиным в литературе, а потому не мне говорить о тернистом пути, разочарованиях и проч. Не знаю, страдал ли я когданибудь больше, чем страдают сапожники, математики, кондуктора; не знаю, кто вещает моими устами, бог, или ктонибудь другой похуже. Я позволю себе констатировать только одну, испытанную на себе, маленькую неприятность, которая вероятно по опыту знакома и вам. Дело вот в чем. Вы и я любим обыкновенных людей; нас же любят за то, что видят в нас необыкновенных. Меня, например, всюду приглашают в гости, везде кормят и поят, как генерала на свадьбе; сестра возмущается, что ее всюду приглашают за то, что она сестра писателя. Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей. Отсюда следует, что если завтра мы в глазах добрых знакомых покажемся обыкновенными смертными, то нас перестанут любить, а будут только сожалеть. А это скверно. Скверно и то, что в нас любят такое, чего мы часто в себе сами не любим и не уважаем. Скверно, что я был прав, когда писал рассказ «Пассажир I класса», где у меня инженер и профессор рассуждают о славе¹.

Уеду я на хутор. Чорт с ними!

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, ноябрь. П. Т. II, 243—244).

... Зачем вы дразните меня Потемкиным?

¹ В «Пассажире I класса» (напис. в 1886 г., напечат. в «Нов. Времени»).—Чехов проводит мысль, что слава достигается тем, кто окружен шумихой и сплетней, а не тем, кто работает в тишине, как профессор его рассказа, или создает полезные сооружения, как его инженер.

В своем потемкинстве я пока не вижу ничего кроме труда, утомления и безденежья, да скуки громадных размеров. За своих Медведей мне стыдно, театра я не люблю, к литературе и семье привык, интересных людей не вижу, погода отвратительная... Что ж тут завидного и похож ли я на Потемкина?

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Москва. 1888. Ноябрь—декабрь. «Чехов. Новые письма». ИБ. «Атеней». 1922, стр. 25).

Бывают минуты, когда я положительно падаю духом. Для кого и для чего я пишу? Для публики? Но я ее не вижу и в нее верю меньше, чем в домового: она необразована, дурно воспитана, а ее лучшие элементы недобросовестны и неискренни по отношению к нам. Нужен я этой публике, или не нужен, понять я не могу. Буренин говорит, что я не нужен и занимаюсь пустяками, Академия дала премию — сам чорт ничего не поймет. Писать для денег? Но денег у меня никогда нет и к ним я от непривычки иметь их почти равнодушен. Для денег я работаю вяло. Писать для похвал? Но они меня только раздражают. Литературное общество, студенты, Евреинова, Плещеев, девицы и проч. расхвалили мой «Припадок» во всю, а описание первого снега заметил один только Григорович¹. И т. д. и т. д. Будь же у нас критика, тогда бы я знал, что я составляю материал—хороший

¹ Григорович писал: «Вечер с сумрачным небом, только что выпавшим и падающим мокрым снегом,—выбран необыкновенно счастливо; он служит как бы аккордом меланхолическому настроению, разлитому в повести, и поддерживает его от начала до конца...» («Слово». Сб. второй, М. 1914, стр. 215).

или дурной, все равно, — что для людей, посвятивших себя изучению жизни, я так же нужен, как для астронома звезда. И я бы тогда старался работать и знал бы, для чего работаю. А теперь я, вы, Муравлин¹ и проч. похожи на маньяков, пишущих книги и пьесы для собственного удовольствия. Собственное удовольствие, конечно, хорошая штука; оно чувствуется, пока пишешь, а потом? Но... закрываю клапан... Скажут, что критике у нас нечего делать, что все современные произведения ничтожны и плохи. Но это узкий взгляд. Жизнь изучается не по одним только плюсам, но и минусам. Одно убеждение, что восьмидесятые годы не дали ни одного писателя, может послужить материалом для пяти томов...

Послал Худякову за 100 рублей рассказ,² который прошу не читать, мне стыдно за него. Вчера я сел вечером, чтобы писать в Новое Время сказку,³ но явилась баба, потащила меня на Плющиху к поэту Пальмину, который в пьяном образе упал и расшиб себе лоб до кости. Возился я с ним, с пьяным, часа полтора-два, утомился, провонял иодоформом, разозлился и вернулся домой утомленным. Сегодня писать было бы уже поздно. Вообще живется мне скучно, и начинаю я временами ненавидеть, чего раньше со мной никогда не бывало. Длинные, глупые разговоры, гости, просители, рублевые двух и

¹ Муравлин, псевдоним князя Д. П. Голицына, крупного чиновника, «светского» писателя.

² Вероятно говорится о рассказе «Сапожник и нечистая сила», напеч. в «Пет. Газ.», 25 дек. 1888 г.

³ «Сказка» напеч. в Н. В. 1 янв. 1889 г. В собр. соч. названа «Пари».

трехрублевые подачки, траты на извозчиков ради больных, не дающих мне ни гроша—одним словом, такой кавардак, что хоть из дому беги. Берут у меня взаймы и не отдают, книги тащут, временем моим не дорожат... Не хватает только несчастной любви.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 23 дек. II. Т. II, 261—264).

Вы пишете, что надо работать не для критики, а для публики, что мне рано еще жаловаться. Приятно думать, что работаешь для публики, конечно, но откуда я знаю, что я работаю именно для публики? Сам я от своей работы, благодаря ее мизерности и кое чему другому, удовлетворения не чувствую, публика же (я не называл ее подлой) по отношению к нам недобросовестна и неискренна, никогда от нее правды не услышишь и потому не разберешь, нужен я ей или нет. Рано мне жаловаться, но никогда не рано спросить себя: делом я занимаюсь или пустяками? Критика молчит, публика врет, а чувство мое мне говорит, что я занимаюсь вздором. Жалуюсь я? Не помню, каков тон был у моего письма, но если это так, то я жалуюсь не за себя, а за всю нашу братию, которую мне бесконечно жалко.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 26 дек. II. Т. II, 266).

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«ИВАНОВ» В ПЕТЕРБУРГЕ. — «ТАТЬЯНА РЕПИНА»

(1888—1889 г.г.)

Кажется мой «Иванов» пойдет в Александринке в бенефис Федорова-Юрковского, со Стрепетовой и Савиной...

Надеюсь, ради вдовы моей и детей вы сжалитесь над бедным Ивановым и не забракуют его в Комитете ¹. Я еще не женат, но пьесы пишу исключительно для вдовы, так как рано или поздно не миную общей участи и женюсь.

В Иванове весь IV акт переделан коренным образом, безжалостно...

(А. П. Чехов—Н. А. Плещееву. Москва. 1888, 30 дек. II. Т. II, 271—272).

Режиссер считает Иванова лишним человеком в тургеневском вкусе; Савина спрашивает: почему Иванов подлец? Вы пишете: «Иванову необходимо дать чтонибудь такое, из за чего видно было бы, почему две женщины вешаются на него и почему он подлец, а доктор — великий человек». Если все трое так поняли меня, то

¹ А. Н. Плещеев был одним из членов Литературно-Театрального Комитета в Петербурге.

значит—мой Иванов никуда не годится. У меня, воряотно, зашел ум за разум и я написал совсем не то, что хотел... Возьмите пьесу назад. Я не хочу проповедывать со сцены ересь. Если публика выйдет из театра с сознанием, что Ивановы подлецы, а доктора Львовы — великие люди, то мне придется подать в отставку и забросить к чорту свое перо. Поправками и вставками ничего не поделаешь. Никакие поправки не могут низвести великого человека с пьедестала и никакие вставки неспособны из подлеца сделать обыкновенного грешного человека... В Иванове и Львове прибавить уж больше нечего, не могу. Не умею. Если же и прибавлю чтонибудь, то чувствую, что еще больше испорчу. Верьте моему чувству, ведь оно авторское...

Я не сумел написать пьесу. Конечно, жаль. Иванов и Львов представляются моему воображению живыми людьми. Говорю вам по совести, искренно: эти люди родились в моей голове не из пены морской, не из предвзятых идей, не из «умственности», не случайно. Они результат наблюдения и изучения жизни. Они стоят в моем мозгу, и я чувствую, что я не солгал ни на один сантиметр и не перемудрил ни на одну иоту. Если же они на бумаге вышли неживыми и неясными, то виноваты не они, а мое неумение передавать свои мысли. Значит рано еще мне за пьесы браться... ¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1888, 30 дек. П. Т. II, 273—282).

¹ В этом письме (занимающем десять печатных страниц) Чехов дает подробную характеристику и психологический анализ действующих лиц «Иванова».

Вы пишете, что театр влечет к себе потому, что он похож на жизнь. Будто бы? А по-моему театр влечет вас и меня и иссушил Щеглова, потому что он — один из видов спорта. Где успех или неуспех, там и спорт, там азарт.

Мне хочется, чтобы моя пьеса была поставлена. Кто же этого не хочет? Главное, конечно, для меня деньги, но интересны и подробности. Мне, например, очень весело при мысли, что Анна Ивановна ¹ будет иронизировать мой успех или неуспех, мое неумение кланяться, что во время первого представления у Щеглова и прочих моих приятелей будут таинственные физиономии, что все брюнеты, сидящие в ложах, будут казаться мне враждебно настроенными, а блондины — холодными и невнимательными ², что г.г. Михневич ³ будут ходить, как тени, с краснотой на скулах — от духоты и внутреннего напряжения, что Григорович после первого же акта будет кричать: «автора, автора», а автор после второго акта будет уже чувствовать утомление в плечах, сухость в горле и желание ухать домой; мне весело при мысли, что, вернувшись из театра я услышу массу вставок и поправок, какие я должен был бы сделать, услышу, что Варламов был хорош, Давыдов сух, Савина мила, но рассержена Далматовым, кото-

¹ Жена А. С. Суворина.

² В «Чайке» (написанной Чеховым в 1895 г.) имеется почти буквально та же фраза: «Когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны». (Полн. собр. соч. т. XIII, стр. 142).

³ В. С. Михневич — фельетонист «Голоса», «Новостей» и проч.

рый в этот раз наступил ей на мизинец левой руки. Весело, что Анна Ивановна в конце концов обратится ко мне, меньше всего говорившему о пьесе, и скажет:

— «Как вы надоели мне со своей пьесой! Целый день одно и то же, одно и то же... Нет скучней людей, как литераторы».

А я пожелаю ей спокойной ночи, пойду к себе, выпью вина и завалюсь спать.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва, 1889, 4 янв. II. Т. II, 290—291).

Я с большим бы удовольствием прочитал в Литературном обществе реферат о том, откуда мне пришла мысль написать Иванова. Я бы публично покаялся. Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях и своим Ивановым положить предел этим писаньям. Мне казалось, что всеми русскими беллетристами и драматургами чувствовалась потребность рисовать унылого человека и что все они писали инстинктивно, не имея определенных образов и взгляда на дело. По замыслу то я попал приблизительно в настоящую точку, но исполнение не годится ни к чорту. Надо было бы подождать! Я рад, что 2—3 года тому назад я не слушался Григоровича и не писал романа. Воображаю, сколько бы добра я напортил, если бы послушался. Он говорит: «талант и свежесть все одолеют». Талант и свежесть многое испортить могут—это вернее. Кроме изобилия материала и таланта, нужно еще кое что не менее важное. Нужна возмужалость—это раз; во вторых, необходимо чувство личной свободы, а это чувство стало раз-

гораться во мне только недавно. Раньше его у меня не было; его заменяли с успехом мое легкомыслие, небрежность и неуважение к делу.

Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молсдости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества ¹— напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая.

(А. П. Чехов—А. О. Суворину. Москва. 1889, 7 янв. II. Т. II, 297—298).

Пишу Вам, отбыв каторжную работу. Ах, зачем Вы одобрили в комитете моего „Иванова“? Какие неостроумные демоны внушили Федорову ставить в свой бенефис мою пьесу? Я замучился и никакой гонорар не может искупить того каторжного напряжения, какое чувствовал я

¹ Говоря так о себе в прошлом, Чехов возводит на себя поклон. Еще в 1876 г., будучи 16-летним гимназистом, он писал своему младшему брату Михаилу: «...Не нравится мне одно: зачем ты величаешь особу свою ничтожным и незаметным братишкой. Ничтожество свое сознаешь? Ничтожество свое сознавай, знаешь, где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не пред людьми. Среди людей надо сознавать свое достоинство».

в последнюю неделю. Раньше своей пьесе я не придавал значения и относился к ней с снисходительной иронией: написана, мол, и чорт с ней. Теперь же, когда она вдруг неожиданно пошла в дело, я понял, до чего плохо она сработана. Последний акт поразительно плох. Всю неделю я возился над пьесой, строчил варианты, поправки, вставки, сделал новую Сашу (для Савиной), изменил IV акт до неузнаваемого, отшлифовал самого Иванова, и так замучился, до такой степени возненавидел свою пьесу, что готов кончить ее словами Кина ¹:—„Палками, Иванова, палками!“.

Нет, не завидую я Жану Щеглову. Я понимаю теперь, почему он так трагически хохочет. Чтобы написать для театра хорошую пьесу, нужно иметь особый талант (можно быть прекрасным беллетристом и в то же время писать сапожнические пьесы); написать же плохую пьесу и потом стараться сделать из нее хорошую, пускаться на всякие фокусы, зачеркивать, приписывать, вставлять монологи, воскрешать умерших, зарывать в могилу живых—для этого нужно иметь талант гораздо больший. Это так же трудно, как купить старые солдатские штаны и стараться во что бы то ни стало сделать из них фрак. Тут не то что захохочешь трагически, но и заржешь лошадью...

Когда покончу со своим Болвановым, сяду писать для „Сев. Вестника“. Беллетристика—покойное и святое дело. Повествовательная форма—

¹ Кин, знаменитый английский актер, герой пьесы А. Дюма—отца.

это законная жена, а драматическая — эффект-ная, шумная, наглая и утомительная любовница.

Иванова печатать в „Сев. Вестнике“ не буду¹.

Я совсем обезденежил. Живу благотворительностью своего „Медведя“ и Суворина, который купил у меня для Дешевой Библиотеки рассказов на 100 рублей. Да сохранит их обоих провидение...

Пишу понемножку свой роман. Выйдет ли из него чтонибудь, я не знаю, но, когда я пишу его, мне кажется, что я после хорошего обеда лежу в саду на сене, которое только что скосили. Прекрасный отдых. Ах, застрелите меня, если я сойду с ума и стану заниматься не своим делом!

(А. П. Чехов—Н. А. Плещееву. Москва. 1889, 15 янв. II. Т. II, 302—304).

Спешно написанный, еще более спешно разыгранный артистами театра Корш и возбудивший разногласицу в московской прессе „Иванов“ в конец расстроил нервы Чехову, когда автор в виду постановки пьесы на петербургской казенной сцене, принялся за переделку и взглянул на нее строгим оком художника... Разница между московским и петербургским „Ивановым“ получилась разительная...

Едва ли автор мог подозревать, что в Петербурге „Иванова“ встретят овациями!.. На его авторское счастье, пьеса шла в бенефис режиссера Александринского театра Ф. А. Федорова-Юрковского, в виду чего роли были распределены между лучшими силами труппы, без раз-

¹ «Иванов» был напечатан в «Сев. Вестн.», в № 3, 1889 г.

личия рангов и самолюбий. Ансамбль вышел чудесный и успех получился огромный ¹.

Публика принимала эту пьесу чутко и шумно с первого акта, а по окончании третьего, после заключительной драматической сцены между Ивановым и больной Саррой... устроила автору, совместно с юбиляром-режиссером, восторженную овацию... На другой день все газеты дружно рассыпались в похвалах автору пьесы и ее исполнению...

Я увиделся с ним на другой день на веселом банкете, устроенном в его честь помещиком С., восторженнейшим поклонником Чехова. Вид Чехов имел сияющий, жизнерадостный, хотя несколько озадаченный размерами „ивановского успеха“...

Обед вышел на славу, при чем славили Чехова, что называется во всю ивановскую, а сам хозяин, поднимая бокал шампанского в честь Чехова, в заключение тоста торжественно приравнивал чеховского „Иванова“ к грибоедовскому „Горе от ума“.

Я взглянул искоса на Чехова: он густо покраснел, как то сконфуженно осунулся на своем месте, и в глазах его мелькнули чуть чуть заметные юмористические огоньки—дозорные писательские огоньки, свидетельствовавшие о непрерывной критике окружающего... „И Шекспиру не приходилось слышать тех речей, какие прослышал я!“—не без иронии писал он мне из Москвы...

¹ Первая постановка «Иванова» на Александрийской сцене состоялась 26 января 1889 г.

Несмотря на то, что Чехов, переутомленный столичной суетой, спешил в Москву, восторженный помещик, вопреки всяким традициям, накануне отъезда А. П., собрал всех снова „на гуся“. Снова шампанское, снова шумные „шекспировские тосты“...

Все это могло вскружить голову хоть кому, только не Чехову. Возвращаясь вместе с Чеховым после „прощального гуся“ на извозчике, я был озадачен странной задумчивостью, затуманившей его лицо, и на мой попрек он как то машинально, не глядя на меня, проговорил:

— Все это очень хорошо и трогательно, а только я все думаю вот о чем ..

— Есть еще о чем думать после таких оваций!—невольнo вырвалось у меня.

Чехов нахмурился, что я его прервал, и продолжал:

— Я все думаю о том... что то будет через семь лет?—И с тем же хмурым видом настойчиво повторил:—что то будет через семь лет ¹.

(И. Л. Пеглов. «Из воспоминаний об. Ант. Чехове». «Нива» (ежемес. прилож.), 1905 г.. № 6, стр. 247—250).

И скучно, и грустно, и некому руку подать. Из сферы бенгальского огня попал в полутемную кладовую и жмурюсь. Чувствую сильный позыв к своей скромной и кроткой беллетристике, но во всем теле разлита такая лень, что просто беда. Переживаю похмелье...

¹ Через семь лет, в 1896 г. в Александрск. театре ставилась Чеховская «Чайка»,—ее не поняли; пьеса потерпела жестокий провал.

После того, как актеры сыграли моего „Иванова“, все они представляются мне родственниками. Они так же близки мне, как те больные, которых я вылечил, или те дети, которых я когда то учил. Я не могу забыть, что Стрепетова плакала после III акта и что все актеры от радости блуждали, как тени; многого не могу забыть, хотя раньше и имел жестокость соглашаться, что литератору неприлично выходить на сцену рука об руку с актером и кланяться хлопающим. К чорту аристократизм, если он лжет.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 4 февр. II. Т. II, 306—307).

Я живу серо, по обыкновению. Нового ничего нет, ожидаю весну и во всю ивановскую трачу те деньги, которые получил за своего Иванова...

Летом буду коптеть над романом. Свой роман посвящу я вам—это завещала мне моя душа. Я вам еще ничего не посвящал в печати, но в мечтах и планах моих вам посвящена моя самая лучшая вещь.

Пьес не стану писать. Если будет досуг, то сделаю чтонибудь пур манже, но осень и зиму буду отдавать только беллетристике. Не улыбается мне слава драматурга...

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1889, 7 марта. II. Т. II, 341).

Я как то зашел на масляной за кулисы днем и попал как раз, когда шел „Иванов“, в последний раз. Крик и гвалт был страшный после 3-го акта. Автора вызывали с треском... Полагаю, что на пасхе дадут ее еще несколько раз. Но—в печати—должен вам сказать, к сожалению

нию—она производит на всех менее впечатления. Я уже слышал несколько отзывов. Все находят много таланта в деталях, и всех не удовлетворяет сам Иванов. Пьесы вам действительно нужно на долгое время отложить писать. Эти сценические условия связывают вас. У вас талант эпический... За обещание посвятить мне роман, дорогой Антон Павлович, могу только крепко и сердечно поблагодарить вас и пожать вашу руку...

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. СПб. 1889, 9 марта. «Слово». Сб. второй, стр. 261).

Вскоре после постановки „Татьяны Репиной“ в Москве¹ Антону Павловичу понадобился французский словарь Макарова. У Суворина были свои книжные магазины. Чехов часто забирал в них товар на выплату в рассрочку, но теперь, после своего участия в работах по постановке Суворинской пьесы на московском Малом театре, он попросил у него этот словарь в подарок. За это он обещал ему прислать, в свою очередь, подарок...

Антон Павлович всегда был большим знатоком духовной литературы. Он отлично знал все священное писание, был начитан в нем еще с раннего детства... У него была своя библиотека из богослужебных книг... И вот, в один из дней, задумав сделать старику Суворину подарок, он достал с полки служебник, открыл чин венчания и только „для собственного удоволь-

¹ Одновременно с постановкой «Иванова» в Петербурге, за подготовкой которой деятельно следил Суворин, — в Москве шла пьеса Суворина «Татьяна Репина»; Чехов много поработал для ее успеха.

ствия“ и нисколько не предназначая свое произведение для критики и публики, написал одноактную пьесу—продолжение Суворинской „Татьяны Репиной“... Действие этой пьесы происходит в церкви. Для того времени это было и ново, и вполне цензурой недопустимо.. Обряд венчания проведен в пьесе полностью, с чтением евангелия и прочими подробностями. Эту одноактную пьесу Антон Чехов тоже озаглавил „Татьяна Репина“... Написал он ее в один присест, совершенно не придавая ей никакого литературного значения и нисколько не ожидая ее появления в печати...

(М. П. Чехов. «Ант. Чехов, театр, актеры и Татьяна Репина», стр. 60—61).

Посылаю вам, дорогой Алексей Сергеевич, тот дешевый и бесполезный подарок, который я обещал вам. За словарями я буду скучать, поспу-чайте и вы за моим подарком. Сочинил я его в один присест, спешил, а потому вышел он у меня дешевле дешевого. За то, что я воспользовался вашим заглавием, подавайте в суд. Не показывайте никому, а прочитавши бросьте в камин. Можете бросить и не читая. Вам я все позволяю. Можете даже по прочтении сказать: «чорт знает что!..»

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 6 марта. П. Т. II, 338).

Получив оригинал пьесы, Суворин не бросил его и не сжег в камине. Он что то затеял. Прошло более месяца, а он о чеховской «Татьяне Репиной» ни слова. Антона Павловича это заинтересовало. Как вдруг оказывается, что чеховская «Татьяна Репина» уже сдана в печать, что

Антону Павловичу будет выслана корректура и что книжка будет издана всего только в двух экземплярах ¹, из которых один предназначается для самого Суворина и другой для автора...

Наконец, единственный экземпляр пьесы доставляется в Сумы. Антон Павлович получает его и приходит в умиление. Пьеса издана так очаровательно, что лучшего ничего нельзя требовать. «Спасибо, — пишет Антон Павлович, — получил свою «Татьяну Репину». Бумага очень хорошая. Фамилию свою я в корректуре зачеркнул и мне непонятно, как это она уцелела... Для большей иллюзии следовало бы напечатать на обложке не Петербург, а Leipzig ...

(М. П. Чехов. «Ант. Чехов, театр, актеры и Татьяна Репина». Стр. 63).

¹ В действительности пьеса была отпечатана в трех экземплярах.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

РОМАН.— «ЛЕШИЙ»—В КРЫМУ.— «СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ»

(1889 г.)

Фантазия его была прямо поразительная, если собрать все те мотивы и подробности быта, которые разбросаны в его произведениях. Одним он мучился—ему не давался роман, а он мечтал о нем и много раз за него принимался. Широкая раба как будто ему не давалась, и он бросал начатые главы. Одно время он все хотел взять форму «Мертвых душ», т. е. поставить своего героя в положение Чичикова, который разъезжает по России и знакомится с ее представителями, а несколько раз он развивал передо мною широкую тему с полуфантастическим герсем, который живет целый век и участвует во всех событиях XIX столетия... Я думаю, что вечная забота о насущном хлебе и затем приступы болезни не давали ему свободы для большого произведения¹.

(А. С. Суворин. «Маленькие письма». «Нов. Время». 1904, № 10, 179).

А что вы думаете? Я пишу роман. Пишу, пишу и конца не видать моему писанью. Начал его, т. е. роман, сначала, сильно исправив и сократив

¹ Роман, о котором пишет Суворин и о котором неоднократно упоминает сам Чехов—так и не появился в свет. Был ли он закончен, а затем уничтожен Чеховым, или же брошен в начале писанья—осталось неизвестным.

то, что уже было написано. Очертил уже ясно девять физиономий. Какая интрига? Назвал я его так: «Рассказы из жизни моих друзей» и пишу его в форме отдельных, законченных рассказов, тесно связанных между собой общностью интриги, идеи и действующих лиц. У каждого рассказа особое заглавие. Не думайте, что роман будет состоять из ключев. Нет, он будет настоящий роман, целое тело, где каждое лицо будет органически необходимо...

Еле справляюсь с техникой. Слаб еще по этой части и чувствую, что делаю массу грубых ошибок. Будут длинноты, будут глупости. Неверных жен, самоубийц, кулаков, добродетельных мужиков, преданных рабов, резонирующих старушек, добрых нянюшек, уездных остряков, красноносых капитанов и «новых» людей постараюсь избежать, хотя местами сильно сбиваюсь на шаблон.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 11 марта. II. Т. II, 342—343).

Погода в Москве подлая: грязь, холод, дождь... Настроение мое похоже на погоду. Не работаю, а читаю или шагаю из угла в угол. Впрочем, я не жалею, что у меня есть время читать. Читать веселее, чем писать. Я думаю, что если бы мне прожить еще 40 лет и во все эти сорок лет читать, читать и читать, и учиться писать талантливо, т. е. коротко, то через 40 лет я выпалил бы во всех вас из такой большой пушки, что задрожали бы небеса. Теперь же я такой лилипут, как и все.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 8 апр. II. Т. II, 351—352).

Роман значительно подвинулся вперед и сел на мель в ожидании прилива. Посвящаю его вам— об этом я уже писал. В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь—мы не знаем. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу и уже испытана людьми посильнее и умнее меня. Рамка эта—абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, чорта, свобода от страстей и проч.

Впрочем, это скучно...

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1889, 9 апр. II. Т. II, 353—354).

Вы пишете, что я обленился. Это не значит, что я стал ленивее, чем был. Работаю я теперь столько же, сколько работал 3—5 лет назад. Работать и иметь вид работающего человека в промежутки от 9 часов утра до обеда и от вечернего чая до сна вошло у меня в привычку, и в этом отношении я чиновник. Если же из моей работы не выходит по две повести в месяц, или 10 тысяч годового дохода, то виновата не лень, а мои психико-органические свойства: для медицины я недостаточно люблю деньги, а для литературы во мне нехватает страсти и стало быть, таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло, без вспышек и треска, оттого то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три—четыре. или, увлекшись работою, помешал

бы себе лечь в постель, когда хочется спать; не совершаю я поэтому ни выдающихся глупостей, ни заметных умностей.

Я боюсь, что в этом отношении я очень похож на Гончарова, которого я не люблю и который выше меня талантом на 10 голов. Страсти мало; прибавьте к этому и такого рода психопатию: ни с того ни с сего, вот уже два года, я разлюбил видеть свои произведения в печати, оравнодушел к рецензиям, к разговорам о литературе, к сплетням, успехам, неудачам, к большому гонорару—одним словом, стал дурак дураком. В душе какой то застой. Объясняю это застоєм в своей личной жизни. Я не разочарован, не утомился, не хандрю, а просто стало вдруг все как то менее интересно. Надо подсыпать под себя пороку.

У меня, можете себе представить, готов первый акт Лешего¹. Вышло ничего себе, хоть и длинно. Чувствую себя гораздо сильнее, чем в то время когда писал «Иванова». К началу июня пьеса будет готова. Берегись дирекция! Пять тысяч мои! Пьеса ужасно странная, и мне удивительно, что из под моего пера выходят такие странные вещи. Только боюсь, что цензура не пропустит. Пишу и роман, который мне больше симпатичен и ближе к сердцу, чем «Леший», где мне приходится хитрить и ломать дурака. Вчера вечером вспо-

¹ «Леший» был задуман Чеховым еще осенью 1888 г.—А. П. предполагал писать его совместно с А. С. Сувориным, драматическому вкусу и чутью которого доверял. Суворин начал работу, но затем сотрудничество прекратилось и А. П. написал пьесу единолично. Подробная характеристика действующих лиц «Лешего» намечена А. П. в письме к Суворину, от 18 окт. 1888 г.

мнил, что я обещал Варламову написать для него водевиль. Сегодня написал и уж послал ¹. Видите, какая у меня молотьба идет! А вы пишете: обленился.

Брат ² пишет, что он замучился со своей пьесой. Я очень рад. Пусть помучается. Он ужасно снисходительно смотрел в театре «Т. Репину» и моего «Иванова», а в антрактах пил коньяк и милостиво критиковал. Все судят о пьесах таким тоном, как будто их очень легко писать. Того не знают, что хорошую пьесу написать трудно, писать же плохую пьесу вдвое трудней и жутко. Я хотел бы, чтобы вся публика слилась в одного человека и написала пьесу, и чтобы я и вы, сидя в ложе Лит. И. эту пьесу ошिकाки.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Лука. 1889, 4 мая. П. Т. II, 372—373).

Бедняга Николай умер ³. Я поглупел и потускнел. Скука адская, поэзии в жизни ни на грош, желания отсутствуют и проч. и проч. Одним словом, чорт с ним...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Сумы. 1889, 2 июля. П. Т. II, 402—404).

Я еду в Ялту и положительно не знаю, зачем я туда еду. Надо ехать и в Тироль, и в Константинополь, и в Сумы; все страны света перепутались у меня в голове, фантазия кишит городами, и я не знаю, на чем остановить свой выбор.

¹ Вероятно «Свадьба».

² Александр Павл. Чехов.

³ Брат А. П.—художник Николай Павл. умер от чахотки 17 июня 1889 г. на Луке, где и похоронен. А. П., ухаживавший за ним во время болезни и предвидевший неизбежный конец,—был глубоко потрясен его смертью.

А тут еще лень, нежелание ехать куда бы то ни было, равнодушие и банкротство. Живу машинально, не рассуждая... У меня нет ни желаний, ни намерений, а потому нет и определенных планов... Могу хоть в Ахтырку ехать, мне все равно...

(А. П. Чехов — И. П. Чехову. Пароход «Ольга» (из Одессы). 1889, 16 июля. П. Т. II, 404—406).

В 1889 г. вторую половину лета А. П. Чехов проводил в Ялте... В Ялту Антон Павлович привез уже совсем отделанными два первые акта («Лешего») и конец четвертого. Третий акт ему решительно не давался, так что были дни, когда он говорил, что, кажется, пошлет своего «Лешего» к лешему...

— Чорт их знает, как они у меня много едят!—говорил он иногда, вспоминая, что первые два акта, действительно, проходят в разговорах за едой.

Но временами он успокаивал себя и говорил:

— Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как и в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...

Одновременно с новой пьесой он писал тогда и новый рассказ. Он назывался «Мое имя и я». Впоследствии рассказ получил заглавие: «Скучная история». Это, как известно, одно из лучших произведений Чехова. Но автор все время был недоволен им и жаловался, что из за этого «недоноска», с которым надо, в силу обещаний торопиться, он не может как следует заняться пьесой...

Бывало, долгими часами сидели мы на берегу моря и говорили о литературе, о разных писателях, о журналах и газетах. «Направления» Чехов тогда не признавал.

— Я буду печататься хоть на подоконнике,— говорил он,— лишь бы знать, что меня читают...

(Арс, Г. «Из воспоминаний об А. П. Чехове». «Театр и Иск.». 1904, № 28. Стр. 520—522).

К сожалению, у меня много знакомых. Редко остаюсь один. Приходится слушать всякий умный вздор и отвечать длинно. Шляются ко мне студенты и приносят для прочтения свои увесистые рукописи. Одолели стихи. Все претенциозно, умно, благородно и бездарно...

По целым часам я просиживаю на берегу жадно прислушиваясь к звукам и воображаю себя на Луке...

В Ялте можно работать. Если бы не хорошие люди, заботящиеся о том, чтобы мне не было скучно, то я написал бы много...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Ялта. 1889, 18 июля. П. Т. II, 407—408).

Несмотря на жару и ялтинские искушения, я пишу. Написал уже на 200 целковых, т.-е. целый печатный лист.. Рассказ по случаю жары и скверного меланхолического настроения выходит у меня скучноватый. Но мотив новый. Очень возможно, что прочтут с интересом...

Пребываю, как всегда, искренно любящим Антуаном Потемкиным, (прозвище, данное мне Жаном Щегловым).

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Ялта. 1889, 3 авг. П. Т. II, 409—410).

А ваши рассказы ¹ 3-ьим изданием выходят! Ну как же вы не Потемкин!.. Жаль мне очень, что вы не продолжали летом романа. Все ждут от вас именно романа...

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. Шевино. 1889, 13 авг. «Слово». Сб. второй, стр. 287).

...На телеграмму Анны Михайловны ² я ответил письмом, где умолял подождать до ноябрьск. книжки; ответ я получил такой: «да будет по вашему желанию. Отложим». Вы поймете всю цену и прелесть этого ответа, если вообразите себе г. Чехова, пишущего, потеющего, исправляющего и видящего, что от тех революционных переворотов и ужасов, какие терпит под его пером повесть ³ она не становится лучше ни на единый су. Я не пишу, а занимаюсь пертурбациями. В таком настроении, согласитесь, не совсем удобно спешить печататься.

В моей повести не два настроения, а целых пятнадцать; весьма возможно, что и ее вы назовете дерьмом. Она в самом деле дерьмо. Но льщу себя надеждою, что вы увидите в ней два три новых лица, интересных для всякого интеллигентного читателя; увидите одно-два новых положения. Льщу себя также надеждою, что мое дерьмо произведет некоторый гул и вызовет ругань во вражеском стане. А без этой ругани нельзя, ибо в наш век, век телеграфа, театра Горевой и телефонов, ругань — родная сестра рекламы.

¹ После сборн. «В сумерках», в изд. Суворина вышла вторая книга Чехова «Рассказы». (1888 г.).

² Анна Михайловна Еврептова — издательница «Сев. Вестника».

³ «Скучная история» (из записок старого человека) — напеч. в «Сев. Вестн.», № 11.

Что касается Короленко, то делать какие либо заключения о его будущем — преждевременно. Я и он находимся теперь именно в том фазисе, когда фортуна решает, куда пускать нас: вверх или вниз по наклону. Колебания вполне естественны. В порядке вещей был бы даже временный застой.

Мне хочется верить, что Короленко выйдет победителем и найдет точку опоры. На его стороне крепкое здоровье, трезвость, устойчивость взглядов и ясный, хороший ум, хотя и не чуждый предубеждений, но зато свободный от предрассудков. Я тоже не дамся фортуне живой в руки. Хотя у меня и нет того, что есть у Короленко, зато у меня есть кое что другое. У меня в прошлом масса ошибок, каких не знал Короленко, а где ошибки, там и опыт. У меня кроме того шире поле брани и богаче выбор; кроме романа, стихов и доносов, я все перепробовал. Писал и повести, и рассказы, и водевили, и передовые, и юмористику, и всякую ерунду, включая сюда комаров и мух¹ для Стрекозы. Оборвавшись на повести, я могу приняться за рассказы; если последние плохи, могу ухватиться за водевиль и этак без конца, до самой дохлой смерти. Так что при всем моем желании взглянуть на себя и на Короленко оком пессимиста и повесить нос на квинту, я все-таки не унываю ни одной минуты, ибо еще не вижу данных, говорящих за или против. Погодим еще лет пять, тогда видно будет.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва.
1889, 14 сент. II. Т. II, 418—419).

1 «Комары и мухи», один из отделов «Стрекозы».

Вчера вечером читал вслух вашу повесть... По общему нашему мнению... у вас еще не было ничего столь сильного и глубокого, как эта вещь... Но большинству—повесть несомненно покажется скучной (зачем вы назвали ее «Скучной историей?» Назовите иначе. Зачем давать повод самому к дешевому остроумию прохвостов-рецензентов?)... Надо бы, чтоб критика растолковала глупой толпе, разжевала и в рот положила ей—красоты этой вещи. А где критика, на которую можно рассчитывать? Вся она окрысится на вас—в этом не может быть ни малейшего сомнения,—за ваши сильные рассуждения о русской литературе, об ученых статьях, в особенности. Все станут травить вас—это, как бог свят; ждите крупной ругани. Одни обругают просто за то, что вещь напечатана в Сев. Вестн., другие за то, что литераторы и публицисты, на которых вы намекаете и которых боится старый ученый, как швейцаров и капельдинеров,—участвуют в тех самых журналах, которые будут давать о вашей повести отзыв (Р. Мысль). Я надеюсь—разве на отзыв Суворина; но, пожалуй, он, по некоторым соображениям, не станет писать... Печальное, истинно печальное положение у нас независимого, смелого писателя.

(А. Н. Плещеев—А. П. Чехову. СПб. 1889, 27 сент. «Слово». Сб. второй, стр. 269—271).

...Заглавие повести переменять не следует—те прохвосты, которые будут, по вашему предсказанию, острить над «Скучной историей», так не остроумны, что бояться их нечего; если же кто сострит удачно, то я буду рад, что дал к тому повод...

Вас огорчает, что критики будут ругать меня. Что ж? Долг платежом красен. Ведь мой профессор бранит же их¹.

Я теперь отдыхаю. Для прогулок избрал я шумную область Мельпомены, куда и совершаю ныне экскурсии. Пишу, можете себе представить, большую комедию-роман и уже накатал залпом 2½ акта. После повести комедия пишется очень легко. Вывожу я в комедии хороших, здоровых людей, наполовину симпатичных, конец благополучный. Общий тон—сплошная лирика. Называется «Леший»...

(А. П. Чехов—А. П. Плещееву. Москва. 1889, 30 сент. П. Т. II, 424—425).

Едва успев кончить повесть и измучившись, я разбежался и по инерции написал четырех-актного Лешего, написал снова, уничтожив все, написанное весной. Работал я с большим удовольствием, даже с наслаждением, хотя от писанья болел локоть и мерещилось в глазах чорт знает что. За пьесой приехал ко мне Свободин² и взял ее для своего бенефиса (31 октября.) Пьеса читалась Всеволожским³, Григоровичем и К-о. О дальнейшей судьбе ее, коли охота, можете узнать от Свободина, лица заинтересованного, и

1 «Скучная история» и ее скучный профессор—деревянная, или точнее, тряпичная кукла с наклеенным на лбу ярлыком ума, ничем в сущности недоказанного... На каждом шагу в «Скучной истории» обнаруживается недостаточное и случайное знакомство автора с университетом, профессорским бытом и с обычными приемами и настроением профессора на кафедре... В изображении «ученого тупицы», трудолюбивого прозектора, сквозит грубая насмешка над той же наукой, которой воскурятся фамилии на других страницах...—так отозвалась профессура в лице проф. Сумцова на «Скучную историю».

² Артист Александринского театра.

³ Директор императорск. театров в Петербурге.

от Григоровича, бывшего председателем того военно-полевого суда, который судил меня и моего Лешего. Пьеса забракована. Забракована ли она только для бенефиса Свободина (великие князья будут на бенефисе) или же вообще для казенной сцены, мне неизвестно, а уведомить меня об этом не сочли нужным.

Я тщательно готовлю материал для третьей книжки рассказов¹. Конечно, с книжкой обращусь опять к вам—это 1 или 2-го ноября, не раньше. Теперь я, отдыхая, переделываю рассказы, кое что пишу снова...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 13 окт. II. Т. II, стр. 431).

На днях я встретился в театре с одним петербургским литератором. Разговорились. Узнав от меня, что летом в разное время перебивали у меня Плещеев, Баранцевич, вы, Свободин и другие, он сочувственно вздохнул и сказал:

— Напрасно вы думаете, что это хорошая реклама. Вы слишком ошибаетесь, если рассчитываете на них.

То есть, вас я пригласил к себе, чтобы было кому писать обо мне, а Свободина приглашал, чтобы было кому всучить свою пьесу. И после разговора с литератором у меня теперь во рту такое чувство, как будто вместо водки я выпил рюмку чернил с мухами. Все это мелочи, пустяки, но не будь этих мелочей, вся человеческая жизнь сплошную состояла бы из радостей, а теперь наполовину противна.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 17 окт. II. Т. II, 436—437).

1 Для сборника рассказов «Хмурые люди».

О моей пьесе ни слуху, ни духу. Съели ли ее мыши, пожертвовала ли ее дирекция в Публичную библиотеку, сгорела ли она со стыда за ложь Григоровича, который любит меня, как родного сына—все может быть, но мне ничего неизвестно. Никаких извещений и мотивировок я не получал, ничего не знаю, а запросов никаких не делаю из осторожности, чтобы запрос мой не был истолкован, как просьба или неременное желание венчать себя Александринскими лаврами. Я самолюбив, как свинья...

Петерб. газета извещает, что моя пьеса признана «прекрасной драматизированной повестью». Очень приятно. Значит, что нибуь из двух: или я плохой драматург, в чем охотно расписываюсь, или же лицемеры те господа, которые любят меня, как родного сына, и умоляют меня, бога ради, быть в пьесах самим собою, избегать шаблона и давать сложную концепцию¹...

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 21 октября. П. Т. II, 441).

«Лешего» я вам не дам читать из страха, что вы о нем будете говорить с Григоровичем. Месяц тому назад (или 20 дней—не помню) мне многих усилий стоило, чтобы не писать вам о своей пьесе, теперь же я совершенно успокоился и со спокойным духом могу писать о ней. Теперь развелось очень много ноющих, пострадавших за правду драматургов. Они мне так надоели и кажутся такими бабами, что мне даже жаль, что

¹ Чехов, ближе познакомившись с Д. В. Григоровичем, изменил свое первоначальное мнение о нем, найдя его «феноменально неискренним» человеком.

я впутался в их кашу и написал пьесу, которой мог бы совсем не писать...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 28 окт. II. Т. II, 446).

Прочтите моего «Лешего», коли угодно, но не огворите о нем никому ни единого слова, ибо каждое мое слово в Петербурге понимается как просьба, а каждое ваше, как протекция. Ну их к Ироду!

Выходит какая то глупая игра в бирюльки: людям хочется сделать мне одолжение и ждут они, чтоб я попросил, а мне хочется показать, что я ни в грош ставлю свои пьесы, и я упрямо, как скотина, пишу в своих письмах только о погоде, не заикаясь о пьесе. То же и в Москве.

Пьеса «Леший», должно быть, несносна по конструкции. Конца я еще не успел сделать, сделаю когданибудь на досуге...

Ах, как много пьес приходится читать мне! Носят, носят, без конца носят, и кончится тем, что я начну стрелять в людей.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, 1 ноября. II. Т. II, 447—448).

... очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина — и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда... Мне страстно хочется спрятаться куданибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого на-

чала, ибо я, как литератор, круглый невежда; мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за 700—900 р. в год, а не за 3—4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости.

Продал «Лешего» Абрамовой—это зря. Значит, рассуждает моя вялая душа, на 3—4 месяца хватит денег. Вот моя хохлацкая логика. Ах, какие нынче поганые молодые люди стали!..

В январе мне стукнет 30 лет. Подлость. А настроение у меня такое, будто мне 22 года.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1889, дек. II. Т. II, 472—473).

Мой «Леший» идет в театре Абрамовой 27 декабря. Был на репетиции... Идет, повидимому, бойко. Актерам пьеса нравится. О печатании ее поговорим тоже при свидании. Насколько можно судить по репетиции, пьеса шибко пойдет в провинции, ибо комического элемента достаточно и люди все живые, знакомые провинции ¹.

(А. П. Чехов—А. Н. Плещееву. Москва. 1889, 25 дек. II. Т. II, 475).

1888—1889 годы были какими то необыкновенными по душевному подъему у Антона Павловича. Он всегда был весел, шутил, много и без усталости работал, не мог обходиться без людей.

¹ После того, как «Леший» был забракован в Лит.-Театр. Комитете, Чехову было предложено переделать пьесу, но он отказался и отдал ее в частный, только что открывшийся в Москве, театр Абрамовой. Пьеса прошла незамеченной. Не была она и напечатана. Спустя несколько лет Чехов переделал ее в «Дядю Ваню».

Его квартира в Кудрине, маленький двухэтажный особняк, похожий на комод, в то время представляла из себя центр, куда стекалась молодежь. Наверху играли на взятом напрокат пианино, пели, вели шутливые молодые разговоры, а внизу он сидел у своего стола и под долетавшие до него звуки писал. Но эти звуки только подбодряли его. Он не мог жить без них, иногда он настойчиво требовал, чтобы автор этих строк играл для него целыми получасами на пианино, он принимал самое живое участие в общем веселом настроении. «Я положительно не могу жить без гостей,—писал он Суворину:—когда я один, то мне почему то делается страшно». В доме Корнеева в Кудрине посетили Антона Павловича—Григорович, Суворин, Плещеев, Лейкин и многие другие писатели... Царившие в то время у Антона Павловича в квартире настроение и смех заразили и старика Д. В. Григоровича; он как то сразу помолодел и еще долго рассказывал в Петербурге о той обстановке, в которой молодой писатель создавал тогда свои произведения («Вакханалия!!»). Эта жизнерадостная, многообещающая жизнь прерывалась однако приступами сильного кашля, которые посещали Антона Павловича в особенности по ночам. Незаметно, но настойчиво этот кашель подготавливал почву для будущей серьезной его болезни, но он не хотел обращать на него внимания и серьезно лечиться... Припадки этой болезни и геморроя вносили в душу Антона Павловича разочарование. Он чувствовал себя иногда так плохо, что, любя общество, вдруг начинал тяготиться им, запрещал принимать гостей и часто в такие моменты отка-

зывал в приеме людям, которым не отказал бы во всякое другое время. Но заканчивались эти болезни, и моментально менялось настроение, двери широко отворялись, приходили гости, началась музыка...

(Мих. Пав. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты». Стр. 49—51).

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

ПОЕЗДКА НА САХАЛИН

(1890 г.)

Поездка была задумана совершенно случайно. Я только что окончил тогда курс на юридическом факультете и готовился к государственным экзаменам... Часто Антон Павлович брал у меня мои лекции и читал их, лежа на кровати. Как то прочитавши уголовное право, он сказал мне:

— Все наше внимание к преступнику сосредоточено на нем только до момента произнесения над ним приговора; а как сошлют на каторгу, так о нем все и позабудут. А что делается на каторге! Воображаю!

И в один из дней он быстро, нервно засоби-
рался вдруг на Сахалин, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом, или шутит. Начались подготовительные работы к поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать материалы. Он окружил себя книгами, стал изучать уголовный процесс и депортацию, сестра и знакомые девушки делали для него выписки из редких книг в Румянцевском музее, мы переводили известные путешествия... Работа кипела... Как ни было неожиданно решение Антона Павловича ехать на Сахалин, но оно было твердо и крепко и основывалось на его глубоком убеждении, что он должен был ехать туда во чтобы

то ни стало. Он не был уверен в том, что эта его поездка даст какойнибудь вклад в науку или литературу, но рассчитывал, что за всю поездку для него выпадут 2—3 дня, о которых он будет потом с горечью или восторгом вспоминать всю свою жизнь...

(Мих. Павл. Чехов. «Ит. Чехов и его сюжеты», стр. 68—72).

Мы ехали вместе в Москву, весело раговаривая, выходили на станциях и, шутя, пытались по внешнему виду определить общественное положение и характер пассажиров. Дорогой Чехов уговаривал меня поехать с ним в далекое путешествие. Он собирался тогда на Сахалин, и с каким увлечением говорил он о возможности видеть чужие, малознакомые фантастические страны—Индию, Японию... Особенно интересовала его все таки каторга.

— Ее надо видеть, непременно видеть, изучить самому. В ней, может быть, одна из самых ужасных нелепостей, до которых мог додуматься человек со своими условными понятиями о жизни и правде,—говорил он...

(В. Ладыженский. «Из воспомин. о Чехове». Сб. «О Чехове», стр. 134—135).

Насчет Сахалина ошибаемся мы оба, но вы, вероятно, больше чем я. Еду я совершенно уверенный, что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу, ни в науку; не хватит на это ни знаний, ни времени, ни претензий. Нет у меня планов ни гумбольдтовских, ни даже кенановских¹.

¹ Александр Гумбольдт—знаменитый немецкий ученый—естествоиспытатель и путешественник. В 1829 г. по предложению русск. правительства исследовал Азиатскую Рос-

Я хочу написать хоть 100—200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все таки поездка не теряет для меня своего аромата; читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей, и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка—это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю если поеду? Время? Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит, денег у меня все равно никогда не бывает, что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25—30 дней, не больше, все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате... Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все таки за всю поездку не случится таких 2—3 дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью? И т. д. и т. д. Так то, государь мой. Все это неубедительно, но ведь и вы пишете столь же неубедительно. Например, вы пишете,

сию,—об'ехал Урал, Алтай и пр. Джорж Кеннан,—американский журналист и путешественник,—в 1883—86 г.г., по поручению одного из крупных американск. журн., об'ехал с.-в. Россию для изучения системы русск. ссылки. Его книга «Сибирь и ссылка» долгое время находилась в России под цензурн. запретом.

что Сахалин никому не нужен и ни для кого неинтересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов... Сахалин—это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сантиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей.

Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно... Нет, уверяю вас Сахалин нужен и интересен и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не ктонибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1890, 9 марта, П. Т. III, 19—21),

Вы пишете, что вам хочется жестоко поругаться со мной «в особенности по вопросам нравственности и художественности»... А слова «художественности» я боюсь, как купчихи боятся жупела. Когда мне говорят о художественном и антихудожественном, о том, что сценично или

несценично, о тенденции, реализме и т. п., я теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, которые мне не нравятся. Другого критериума у меня нет, а если вы спросите, почему мне нравится Шекспир и не нравится Златовратский, то я не сумею ответить. Быть может, со временем, когда поумнею, я приобрету критерий, но пока все разговоры о «художественности» меня только утомляют и кажутся мне продолжением все тех же схоластических бесед, которыми люди утомляли себя в средние века.

Если критика, на авторитет которой вы ссылаетесь, знает то, что мы с вами не знаем, то почему она до сих пор молчит, отчего не открывает нам истины и непреложные законы? Если бы она знала, то, поверьте, давно бы уж указала нам путь, и мы знали бы, что нам делать, и Фофанов¹ не сидел бы в сумасшедшем доме, Гаршин был бы жив до сих пор, Баранцевич не хандрил бы, и нам бы не было так скучно и нудно, как теперь, и вас бы не тянуло бы в театр, а меня на Сахалин. Но критика солидно молчит или же отделяется праздной, дрянной болтовней. Если она представляется вам влиятельной, то это только потому, что она глупа, нескромна, дерзка и криклива, потому что она пустая бочка, которую поневоле слышишь.

Впрочем плюнем на все это и будем петь из другой оперы. Пожалуйста, не возлагайте лите-

¹ Константин Михайлович Фофанов (1862—1911). поэт.

ратурных надежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того только, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор. Не надейтесь на меня, дядя: если успею и сумею сделать чтонибудь, то—слава богу, если нет—то не взыщите.

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Москва. 1890, 22 марта. П. Т. III, 33—34).

Прожил я на Сев. Сахалине ровно два месяца... Я видел все; стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел.

Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною не мало. Хватило бы на три диссертации. Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел все, но слона то и не заметил.

Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего Сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым; употреблял я при переписи карточную систему и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд...

Присутствовал при наказании плетью, после чего ночи три четыре мне снились палачи, отвратительная кобыла. Беседовал с прикованными к тачкам... А в итоге я расстроил себе нервы и дал себе слово больше на Сахалин не ездить...

Когда вспоминаю, что меня отделяет от мира 10 тысяч верст, мною овладевает апатия. Кажется, что приеду домой через сто лет...

Скучно.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Пароход «Байкал» 1890, 11 сент. П. Т. III, 138—140).

13 октября 1890 года Антон Павлович выехал на пароходе Добровольного флота «Петербург» из Сахалина и, наконец, через Индию и Суэцкий канал возвратился в Европу... В Индийском океане он на всем ходу парохода бросался с палубы в море с носа и затем хватался за веревку, брошенную ему с кормы. Это было его купаньем. В одно из таких купаний он видел невдалеке от себя акулу и стаю рыб-лоцманов, которых он описал потом в своем рассказе «Гусев»¹...

9 декабря Антон Павлович возвратился через Одессу в Москву. С громадным материалом он предпринял разработку вопроса о непригодности колонизации Сахалина, и результатом его работ появился ряд статей в «Русской Мысли» под заглавием: «Остров Сахалин». Кроме того, это путешествие дало следующие рассказы: «В ссылке» и «Убийство»²

(М. П. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 74—75).

13 октября пароход увез меня из Сахалина. Был я во Владивостоке. О Приморской Области и вообще о нашем восточном побережье с его

¹ «Гусев» напеч. в «Нов. Вр.» в дек. 1890 г.

² «В ссылке» напеч. в «Всемирн. Иллюстрации» в 1892 г., «Убийство»—в «Русск. Мысли»—1893 г.

флотами, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один честный человек на 99 воров, оскверняющих русское имя...

По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувyrкаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему то начинает казаться, что и сам умрешь и будешь брошен в море... Сингапур я плохо помню, так как когда я объезжал его, мне почему то было грустно: я чуть не плакал. Затем следует Цейлон—место, где был рай. Здесь в раю я сделал больше 100 верст по железной дороге...

Хорош божий свет. Одно только нехорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный, истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, гонимые в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний—нахальство и самомнение паче меры, вместо труда—лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей подсудимых. Работать надо, а все остальное к чорту. Главное — надо быть справедливым, а остальное приложится...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1890, 9 дек. Т. III, 144—147).

Когда я видел Чехова по возвращении с Сахалина, то нашел его хотя очень мрачным, но

собою как будто довольным, в живом сознании, что он сделал важное общественное дело, значение которого не может подлежать спору...

(А. В. Амфитеатров. «Ант. Павл. Чехов». «Славные мертвецы», стр. 20).

Когда Антон Павлович вернулся с Сахалина, он имел вид изможденный. Так утомило его это путешествие. Ни странствования, ни передвижения не имели теперь для него никакой прелести. Ему хотелось отдохнуть.

Своеобразное у него было понятие об отдыхе: это — непрерывная работа. Но только на одном месте, без лишних движений, без перемены места.

— Я хотел бы быть маленьким, сухоньким старичком, — мечтал он, — и сидеть за большим-большим письменным столом.

(В. Ермилов. «Из воспомин. о Чехове». Чех. Юб. Сб., стр. 412).

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕ САХАЛИНА. — ЗА ГРАНИЦЕЙ. — БОГИМОВО. —
«ДУЭЛЬ». — РАБОТА НАД «САХАЛИНОМ». — КОНЕЦ СО-
ТРУДНИЧЕСТВА В «НОВОМ ВРЕМЕНИ». — МЕЧТЫ
О ПОКУПКЕ ХУТОРА.

(1891 г.)

В это время наша семья жила уже на новой квартире на Малой Дмитровке, в доме Фирган (теперь дом № 29), в маленьком двухэтажном флигеле... Этот флигель был очень тесен внутри, так как много помещения в нем отходило под разные коридоры и подполья... Для Антона Павловича был заранее приготовлен кабинетик, но так как у нас поселился „индеец“¹, а затем начались ежечасные визиты знакомых, жаждавших повидаться с Антоном Павловичем, и разных интервьюеров из газет, то жизнь в тесноте стала прямо невыносимой... Антон Павлович сразу, после свободной, независимой жизни во время путешествия, затосковал и захирел. Прожив около месяца в Москве, он отправился в Петербург повидаться с Сувориным... Но большинство петербургских литературных друзей встретило Антона Павловича завистливо и недоброжелательно...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 77—78).

¹ Бурятский священник, приехавший вместе с А. П. из Сахалина по своим делам в Москву. Чехов пригласил его остановиться у себя.

Меня окружает густая атмосфера злого чувства крайне неопределенного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы съесть меня. За что? Чорт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий)¹ не ходит к Сувориным обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Все ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая то плесень...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. СПб. 1891.
январь. П. Т. III, 169—171).

Живу я еще в Питере и каждый день собираюсь уехать домой. Ужасно утомился. Ужасно! Целый день, от 11 часов утра до 4 часов утра я на ногах, комната моя изображает из себя нечто вроде дежурной, где по очереди отбывают дежурство г.г. знакомые и визитеры. Говорю непрерывно. Делаю визиты и конца им не предвижу... Поездке моей на Сахалин придали значение, какого я не мог ожидать; у меня бывают и статские и действительные статские советники. Все ждут моей книги и пророчат ей серьезный успех, а писать некогда! В Москве писать трудно, а здесь же еще труднее... Когда я буду отдыхать? Утомление такое, что просто беда. Мне бы теперь не писать и не ездить и не об

¹ А. Н. Маслов (псевдоним Бежецкий).—автор военных рассказов, сотрудник «Нового Времени».

умном говорить, а месяца четыре сидеть на одном месте и удить рыбу...

(А. П. Чехов—И. П. Чехову. СПб. 1891, 27 янв. П. Т. III, 180—181).

Едем!!! Я согласен, куда угодно и когда угодно. Душа моя прыгает от удовольствия... Но, голубчик, предоставляю вам взвесить следующие обстоятельства:

1) У меня далеко еще не кончена моя работа...

2) У меня совсем нет денег. Если я, не кончив своей работы, возьму еще тысячу рублей на поездку, а потом после поездки на прожитие, то я так запутаюсь, что сам черт не вытянет меня за уши...

Есть много и других обстоятельств, но все мелко перед работой и деньгами... Не лучше ли мне остаться?... ¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. (1891, 5 марта, П. Т. III, 190).

Замечательнее Венеции я в своей жизни городов не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Весь день от утра до вечера я сижу в гондоле и плаваю по улицам, или брожу по знаменитой площади святого Марка... Здесь собор святого Марка—нечто такое, что описать нельзя, дворец дождей и такие здания, по которым я чувствую подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь...

Мережковский, которого я встретил здесь, с ума сошел от восторга. Русскому человеку, бедному

¹ А. С. Суворин предлагал Чехову совместную поездку за границу

и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума. Хочется здесь на веки остаться...

(А. П. Чехов—И. П. Чехову. Венеция. 1891, 24 марта. П. Т. III, 205).

В нежный мартовский день, в Венеции, я зашел как то с площади св. Марка в собор. Мы оба, я и жена моя¹ в первый раз тогда были в Италии, в первом италийском городе.

— Посмотри. Это русские?

Сутулый, бодрый старик в крылатке. С ним рядом—молодой: полузнакомое бледное лицо с бледной бородкой. Старика я знал. Это был Суворин. Почему я угадал, что спутник его Чехов, не помню. Должно быть я встречался с ним в редакции „Северного Вестника“ мельком. Мы подошли к ним, в тени собора сразу все познакомились и вышло как то, что весь этот день мы провели вместе...

Я восторженно говорил с Чеховым об Италии. Он шел рядом высокий, чуть горбясь, как всегда, и тихонько усмехался. Он также в первый раз был в Италии. Венеция тоже была для него первым италийским городом, но никакой восторженности в нем не замечалось. Меня это даже немногo обидело. Он занимался мелочами, неожиданными и, как мне тогда казалось, совершенно не любопытными. Гид с особенной лысой головой, голос продавщицы фиалок на площади св. Марка, непрерывные звонки на италийских станциях...

(Д. Мережковский. «Брат человеческий». Чех. Юб. Сб., стр. 203—204).

¹ Зинаида Гиппиус—писательница.

Все живое, волнующее и волнующееся, все яркое, веселое, поэтическое, он любил и в природе и в жизни. О путешествиях он постоянно мечтал и будь у него спутник, он побывал бы в Америке, в Африке. С ним вместе мы дважды ездили за границу ¹. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас же по приезде в Рим ему захотелось за город полежать на зеленой траве ². Венеция захватывала его своей оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцами дожей и пр... Кладбища за границей его везде интересовали,— кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков. Это как бы определяло два свойства его таланта—грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим и над самим собою...

(А. С. Суворин. «Маленькие письма». «Нов. Время», 1904, № 10179).

В конце апреля 1891 года, побывав в Париже, Антон Павлович возвратился в Москву. Вся его поездка прошла под дождем (если не считать Венеции и Ниццы) и он считал ее неудавшейся. С грустным чувством он вернулся на родину и

¹ Вторая поездка за границу Чехова с Сувориным состоялась в 1891 г.

² Это мнение Суворина о вкусах Чехова и его мечтах «полежать на зеленой траве», с его легкой руки утвердилось, как нечто невыблемое, и вошло в обиход авторов статей о Чехове и его биографов. Между тем, в письме к Суворину, от 23 марта 1895 г. Чехов пишет: «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади св. Марка и сказал: «Хорошо бы теперь у нас, в Московской губернии на травке полежать». Ломбардия меня поразила, так что, мне кажется, я помню каждое дерево, а Венецию я вижу закрывши глаза».

тотчас же принялся за работу... И вот я получаю вдруг инструкцию от Антона Павловича нанять гденибудь под Алексиным на лето дачу¹... Я нанял на берегу Оки небольшую дачку, и вся наша семья переехала в нее... Мой выбор оказался настолько неудачным, что рассчитывать на то, что мы проведем лето благополучно совершенно не приходилось. У нас было тесно, вечно дул ветер и кругом происходила свалка леса, приготовленного для сплава.

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 81—82).

... В понедельник, вторник и среду я пишу Сахалинскую книгу, в остальные дни, кроме воскресений, роман, а в воскресенья маленькие рассказы. Работаю с охотой. Вообще, если бы не теснота, то я был бы очень, очень доволен... Я бы хотел теперь быть маленьким, лысым старичком и сидеть за большим столом в хорошем кабинете...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Алексин. 1891, 10 мая. П. Т. III. 234).

Ликуй ныне и веселися Сионе. Жил я в деревянной даче в четырех минутах ходьбы от Оки, кругом были дачи и дачники; березы и больше ничего. Надоело. Я познакомился с неким помещиком К.² и нанял в его заброшенной поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы вы

¹ Мих. Павл. Чехов служил в это время податным инспектором в г. Алексине, Тульской губ.

² Н. Д. Былим-Колосовский, изображенный впоследствии Чеховым в повести «Дом с мезонином», в лице помещика Белокурова.

знали! Комнаты громадные, как в благородном собрании, парк дивный с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд... Цветет сирень, яблони, одним словом—табак! Сегодня перебираюсь туда, а дачу бросаю. Дача нанята за 90 руб., а усадьба за 160 руб. Дорсго обойдется лето...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Алексип.
1891. 18 мая. II. Т. III, 239—240).

Антон Павлович поселился в „громадном зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором он спал, да еще стола... Тут всегда, даже в тихую погоду что то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал, и казалось трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией“ („Дом с мезонином“, т. XI, стр. 23) ¹... В этом именно зале Антон Павлович написал свою „Дуэль“ и начал „Остров Сахалин“. Приезжал сюда А. С. Суворин, велись беседы, как и прежде, но уже заметно было, что Антон Павлович был не тот, каким был в Бабкине и на Луке, и что поездка на Восток состарила его душевно и телесно. Из окон дома открывался великолепный вид на усадьбу Даньково, которую Антону Павловичу очень хотелось купить. „Два ряда старых, тесно посаженных очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную, красивую аллею“ ². Аллеи эти образовывали собою боль-

¹ «Дом с мезонином» написан в 1896 г.

² Цитата из «Дома с мезонином».

шой четырехугольник, внутри которого и помещался „Дом с мезонином“.

С этого времени Антон Павлович начинает уже настойчиво думать о покупке своего собственного имения...

(М. П. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 84—86).

Вы пишете, что я кирпичный человек, покрытый известкой, и ничего не даю в газету. Но войдите в мое положение. В моей литературной деятельности такой кавардак и беспорядок, что сам чорт ногу сломает. Стал было повесть писать—заграница помешала; продолжать теперь повесть некогда—Сахалин на шее. Сел бы писать мелочи и пробовал уже, но мысль, что к осени я должен отделаться от Сах., парализует всякую способность. Погодите, голубчик, скоро свалю со спины каторгу и весь буду ваш, от головы до пяток. Я даю вам честное слово, что Сахалинская книга будет осенью печататься, ибо я ее, честное слово, уже пишу и пишу, а если вы не верите, то я могу прислать вам вещественные доказательства. Благодаря тому, что я встаю с курами, мне никто не мешает работать, и дело у меня кипит, хотя оно и тягучее, кропотливое дело, не стоющее, как овчинка, выделки; из за какойнибудь одной паршивой строки приходится целый час рыться в бумагах и перечитывать всякую скуку. Писать о климате, или по обрывкам составлять историко-критический очерк каторги—какая это скука, боже мой!..

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Богимово. 1891, 27 мая. Т. III, 243—244).

Я занят по горло Сахалином и другими работами, не менее каторжными и скучными. Мечтаю о выигрыше 40 тыс., чтобы отрезать от себя ножницами надоевшее писательство, купить немножко земли и зажить байбаком по соседству с тобою и Иваном... В общем живется мне скучновато; надоело работать из за строчек и пяточков, да и старость подходит все ближе и ближе.

(А. П. Чехов—Ал. П. Чехову. Алексин. 1891, июль. П. Т. III, 260).

Спасибо за пяточковую прибавку. Увы, ей не поправить моих дел! Чтобы нажить капиталы, как вы пишете, и вынырнуть из пучины грошевых забот и мелких страхов, для меня остался только один способ—безнравственный. Жениться на богатой или выдать Анну Каренину за свое произведение. А так как это невозможно, то я махнул рукой на свои дела и предоставил им течь, как им угодно...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Богимово. 1891, 24 июля. Т. III, 265)

Рассказ свой¹ кончу завтра или послезавтра, но не сегодня, ибо к концу он утомил меня чертовски. Благодаря спешной работе, я потратил на него 1 ф. нервов. Композиция его немножко сложна, я путался и часто рвал то, что писал, целыми днями был недоволен своей работой—оттого до сих пор и не кончил. Какой ужас! Мне нужно переписывать его! А не переписывать нельзя, ибо чорт знает, как напутано. Боже мой, если мои произведения нравятся

¹ «Дуэль».

публике так же мало, как мне чужие, которые я читаю теперь, то какой я осел! В нашем писательстве есть что то ослиное...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Богимово. 1891, 6 авг. II. Т. III, 271—272).

... Вам рассказ нравится, ну слава богу. В последнее время я стал чертовски мнителен. Мне все кажется, что на мне штаны скверные и что я пишу не так, как надо, и что даю больным не те порошки. Это психоз должно быть... Сахалин подвигается. Временами бывает, что мне хочется сидеть над ним 3—5 лет и работать над ним неистово, временами же в часы мнительности взял бы и плюнул на него. А хорошо бы, ей богу, отдать ему годика три! Много я напишу чепухи, ибо я не специалист, но, право, напишу кое что и дельное. А Сахалин тем хорош, что он жил бы и после меня сто лет, так как был бы литературным источником и пособием для всех занимающихся и интересующихся тюрмоведением...

У меня в сарае холодно. Я бы хотел теперь ковров, камина, бронзы и ученых разговоров. Увы, никогда я не буду толстовцем! В женщинах я прежде всего люблю красоту, а в истории человечества культуру, выражающуюся в коврах, рессорных экипажах и остроте мысли. Ах, поскорее бы сделаться старичком и сидеть за большим письменным столом!..

(А. П. Чехов—А. С. — Суворину. Богимово. 1891, 30 авг. II. Т. III, 281—283).

Мне необходимо удрать из дому, хотя на полмесяца. От утра до ночи я неприятно раздражен, чувствую, как будто кто по душе водит тупым

ножом, а внешним образом это раздражение выражается тем, что я спешу пораньше ложиться спать и избегаю разговоров. Все у меня не удается, глупо валится из рук. Начал я рассказ для Сборника ¹, написал половину и бросил, потом другой начал; бьюсь с этим рассказом уже больше недели... В Нижегородскую губ. я еще не поехал по причинам независимым от моей воли, и когда поеду, неизвестно ². Одним словом, чорт знает что. Какая то чепуха, а не жизнь. И ничего я теперь так не желаю, как выиграть 200 тысяч, потому что ничего так не люблю, как личную свободу...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1891, 16 окт. II. Т. III, 298).

Ах, подруженьки, как скучно! Если я врач, то мне нужны больные и больницы; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке, с магнусом ³. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита,—это не жизнь...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1891, 19 окт. II. Т. III, 300—301).

Печатают меня по средам и вторникам, или вовсе не печатают—для меня решительно все равно. Отдал я повесть, потому что должен „Нов.

¹ Сборник в пользу голодающих.

² Чехов собирался ехать в Нижегородскую губ. для организации помощи голодающим крестьянам, но болезнь («осложнение со стороны легких») не позволила ему выполнить его намерения. Поездка в Нижегородск. и Воронежск. губ. состоялась в следующем году, зимой.

³ Магнус—зверек, привезенный Чеховым с о. Пейлова.

Времени“ и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил и где не было бы жужжания моих уважаемых товарищей. Они видят монополию... Ну, стань на их точку зрения и скажи им, что я был великодушен и не печатался около двух лет, предоставляя 104 понедельника и 104 среды и Петерсону и М, и каторжному Жителю... Попроси Суворина, чтобы он отдал среды—разве они мне нужны? Они мне так же нужны, как и мое сотрудничество в Нов. Вр., к-рое не принесло мне, как литератору, ничего кроме зла. Те отличные отношения какие у нас существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете ¹.

Денег в конторе больше не бери, ибо я просил, чтобы они поступали в уплату моего долга по газете. Ах, как я завертелся!..

(А. П. Чехов—Алекс. П. Чехову. Москва. 1891, 24 окт. П. Т. III, 301—302).

Печатайте Дуэль не 2 раза в неделю, а только один раз. Печатание два раза нарушает давно заведенный порядок в газете и похоже на то, как будто я отнимаю у других один день в неделе, а между тем для меня и для моей повести все равно печататься, что один, что два раза в неделю.

Среди петербургской литературной братии только и разговоров, что о нечистоте моих по-

¹ Сотрудничество Чехова в «Новом Времени» закончилось в этом же,—1891 г. Последняя вещь, напечатанная А. П. в «Нов. Времени», была повесть «Дуэль».

буждений. Сейчас получил приятное известие, что я женюсь на богатой С. Вообще много хороших известий я получаю.

Каждую ночь просыпаюсь и читаю Войну и Мир. Читаешь с таким любопытством, и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо... Когда я буду жить в провинции (о чем я мечтаю теперь день и ночь), то я буду заниматься медициной и романы читать...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1891, 25 окт. Т. III, 304—305).

Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушить, чахнуть и кашлять и уже начинаю подумывать, что мое здоровье не вернется к прежнему состоянию. Впрочем, все от бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1891, 18 ноября. II. Т. III, 309).

Когда к вам приеду, не знаю. Работы pour manger много. Надо до весны работать, т. е. переливать из пустого в порожнее. На моем горизонте блеснул луч свободы. Запахло волей. Вчера я получил из Полтавской губ. письмо. Пишут, что нашли мне подходящую усадьбу... Цена милостивая. Три тысячи теперь, а две тысячи на несколько лет в рассрочку. Всего пять. Если небо сжалится надо мной и покупка удастся, то в марте же перееду совсем, чтобы девять месяцев жить в тиши на лоне природы, а остальное время года в Петербурге...

Ах, свободы, свободы! Если я буду проживать не больше двух тысяч в год, что возможно только в усадьбе, то я буду абсолютно свободен от всяких денежно-приходо-расходных соображений. Буду тогда работать и читать, читать...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1891, 22 ноября. П. Т. III, 314—315).

Ну-с, живу я так же, как и прежде жил. Не женат. Не богат. Инфлуэнция совсем изломала меня, я кашляю и хуюю и, как говорят, стал походить физиономией на утопленника. Решил покориться необходимости: купить хутор в Полтавской губ. и перебраться туда совсем на жительство. Вон из Москвы!..

(А. П. Чехов—Ф. С. Шехтелю. Москва. 1891, 14 дек. П. Т. III, 346).

Если я в этом году не переберусь в провинцию, и если покупка хутора почему либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я разохся, как старый шкаф и что, если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагома-рательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего.

Уехать из Москвы мне необходимо ¹...

(А. П. Чехов—А. И. Смагину. Москва. 1891, 16 дек. П. Т. III, 349).

¹ Покупка хутора в Полтавской губ. не состоялась. В феврале 1892 г., куплено было имение в Московск. губ. Серпуховск. уезда, возле села Мелихова. Чеховы, переехали в него в первых числах марта.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В МЕЛИХОВЕ. — ПРОИСХОЖДЕНИЕ «ПОПРЫГУНЬИ». —
«ПАЛАТА № 6». — «СОСЕДИ»

(1892 г.—весна и лето)

Имение это находилось в Московской губ., Серпуховского уезда, при селе Мелихове и, как имение, ничего из себя не представляло, кроме старой плохо скроенной усадьбы, громадных пустырей земли и вырубленного леса. Куплено оно было зря, только потому, что подвернулось под руку... Во всей усадьбе негде было повернуться от массы решеток и заборов, так неудобно было расположение в ней угодий и построек. К тому же Чеховы переехали в него зимою, когда все было под снегом и когда, за неясностью границ, нельзя было разобрать, где свое и где чужое. Но несмотря на все это, первое впечатление Антона Павловича было благоприятное... Началась трудовая, созидательная жизнь. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же уничтожалось или изменялось... В самой большой комнате со сплошными стеклами устроили кабинет для Антона Павловича...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 90—91).

Я уже в ссылке. Сажу в своем кабинете с тремя большими окнами и благодушествую. Раз пять в день выхожу в сад и кидаю снег в пруд... Настроение пока хорошее... Если бы я не был занят своим делом, то весь день проводил бы во дворе... Встаю по прошлогоднему очень рано и тотчас же сажусь работать... Ах, сколько у нас хлопот! А одиночества хоть отбавляй. Просторно, вольготно...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 6 марта. П. Т. IV, 24—26).

С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево или розовый куст: то подрежет сучок, то поправит веточку, а то долго сидит на корточках у ствола и что то наблюдает на земле... Обедали рано — в двенадцать часов. Уже в 11 часов утра Антон Павлович, успев поработать и много написать, приходил в столовую и молча многозначительно взглядывал на часы. Евгения Яковлевна тотчас же вскакивала с места из за своей швейной машины и начинала суетиться: — Ах, батюшки, Антоша кушать хочет...

После обеда Антон Павлович уходил к себе в спальню, запирался и там обдумывал сюжеты. Иногда это обдумывание прерывалось объятиями Морфея. Затем он опять работал до 3 час. дня, когда в Мелихове пили чай. Время от чая и до ужина (7 час. вечера) посвящалось труду и прогулкам... В 10 час. вечера расходились спать. Тушились огни и все в доме затихало, только слышно было негромкое пение и монотонное

чение: это Павел Егорович в своей комнате совершал всенощное бдение.

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр 92—93).

День тянется, как вечность. Живешь как в Австралии, где-то на краю света; настроение покойное, созерцательное и животное в том смысле, что не жалеешь о вчерашнем и не ждешь завтрашнего. Отсюда люди кажутся очень хорошими и это естественно, потому что, уходя в деревню, мы прячемся не от людей, а от своего самолюбия, которое в городе, около людей, бывает несправедливо и работает не в меру. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя и вспоминаю о своих кредиторах, которые когда нибудь выгонят меня из моей благоприобретенной Австралии. И по делом!.. ¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 17 марта. П. Т. IV, 31—32).

Веду жизнь по преимуществу растительную, которая постоянно отравляется мыслью, что

¹ Имение куплено было за 13 тыс., с рассрочкой платежа. Чехов внес сразу лишь треть этой суммы, котор. взял у (Суворина в счет будущих доходов с издания его книг. Этот заем в «нововременском банке», как и долг по имению, чрезвычайно связывали и тяготили Чехова, заставляя его «писать, вечно писать», без отдыха, ради денег. «Покупка довела меня до остервенения,—писал он В. Тихонову (22 февр. 1892 г.).—Похож я на человека, котор. зашел в трактир только за тем, чтобы съесть биток с луком, но встретив благоприятелей, наливался, натрескался, как свинья и уплатил по счету 142 р. 75 к. Рассчитывал я купить имение за пять тыс. и отделаться этой суммой, но увы! удавы, в виде всяких купчих, закладных, залоговых и пр., с первого абдуга сковали меня, и я слышу, как трещат мои кости и закрывши глаза, ясно вижу, как мое имение пролается с аукциона...»

надо писать, вечно писать. Пишу повесть ¹. Прежде чем печатать, хотел бы прислать вам ее для цензуры — ибо ваше мнение для меня золото, но надо торопиться, так как нет денег. В повести много рассуждений и отсутствует элемент любви. Есть фабула, завязка и развязка. Направление либеральное... Но надо бы с вами посоветоваться, а то боюсь нагородить чепухи и скуки. У вас превосходный вкус и вашему впечатлению я верю, как тому, что на небесах есть солнце... Живя замкнуто в своей самолюбивой эгоистической скорлупе и участвуя в умственном движении только косвенно, рискуешь нагородить чорта в ступе, не желая этого. Разрешите прислать корректуру...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ст. Лопасня. 1892, 31 марта. П. Т. IV, 44—46).

Как это ни странно, мне уже перевалило за 30 и я уже чувствую близость 40. Постарел я не только телесно, но и душевно. Я как то глупо оравнодушел ко всему на свете и почему то начало этого оравнодушения совпало с поездкой за границу ². Я встаю с постели и ложусь с таким чувством, как будто у меня иссяк интерес к жизни. Это или болезнь, именуемая в газетах переутомлением, или же неуловимая сознанием душевная работа, именуемая в романах душевным переворотом; если последнее, то все, значит, к лучшему...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 8 апреля. П. Т. IV, 53).

¹ «Палата № 6».

² Поездка с А. С. Сувориным в 1891 г.

Вчера я был в Москве, но едва не задохнулся там от скуки и всяких напастей. Можете себе представить—одна знакомая моя 42-летняя дама узнала себя в двадцатилетней героине моей „Попрыгуньи“ („Север“ № 1 и 2), и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство: дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником.

Кончаю повесть ¹, очень скучную, так как в ней совершенно отсутствует женщина и элемент любви. Терпеть не могу таких повестей, написал как то нечаянно, по легкомыслию... Хочется написать и комедию, но мешает Сахалинская работа...

Да! Как то писал я вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И вы меня не поняли. Над рассказами можно и плакать и стенать, можно страдать заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление. Вот что я хотел сказать...

(А. П. Чехов—Л. А. Авиловой. Ст. Лопасня. 1892, 29 апр. II. Т. IV, 65—66).

Жил-был в Москве в то время полицейский врач Дмитрий Павлович К. ². Он был женат на Софье Петровне. Жили они оба в казенной квартире, под самой каланчей Мясницкой части. Дмитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью... В доме Дмитрия Павловича собиралось всегда много

¹ «Палата № 6».

² Д. П. Кувшинников.

гостей: и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были, между прочим, вхожи и мы, Чеховы, и, говоря правду, любили там бывать. Как то случилось, что в течение целого вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи вдруг растворялись двери и в них появлялась крупная фигура доктора, с вилкой в одной руке и с ножом в другой, и торжественно возвещала.

— Пожалуйте, господа, покушать!

Все вваливались в столовую... На столе буквально не было пустого места от закусок. В восторге от своего мужа, Софья Петровна подскакивала к нему, хватала его за голову и восклицала:

— Дмитрий! К.!(она называла его по фамилии). Господа, смотрите, какое у него великолепное лицо!

Были вхожи в эту семью два художника: И. И. Левитан, создатель школы русского пейзажа, и анималист С. ¹... Софья Петровна стала брать уроки живописи у Левитана...

Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в Саввинскую Слободу — около Звенигорода—и жили там коммуной целыми месяцами. Так случилось и теперь. Левитан уехал на Волгу и... с ним вместе отправилась туда и Софья Петровна. Она прожила там целое лето, на другой год уехала все с тем же Левитаном в Саввинскую Слободу, и среди наших друзей и знакомых стали

¹ С. Степанов.

уже более определенно поговаривать об отношениях Софьи Петровны и Левитана. Между тем, возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его за голову и говорила:

— Дмитрий! К.! Дай, я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!...

Больше всего возмущался близостью Левитана к Софье Петровне художник С., который и изливал свою душу наедине с Дмитрием Павловичем, вероятно давно уже догадывавшемся об этой близости. Повидимому, и Антону Павловичу Чехову она тоже не нравилась. Я помню, как он вышучивал Софью Петровну, как называл ее „Сафо“, как смеялся и над Левитаном. В конце концов он не удержался и написал рассказ „Попрыгунья“, в котором вывел всех перечисленных лиц. Дмитрий Павлович—это Дымов, Ольга Ивановна — Софья Петровна, Рябовский — Левитан, Коростелев — художник С. Смерть Дымова, конечно, придумана.

Появление этого рассказа в печати (в „Севере“) подняло большие толки среди знакомых Чехова и Дмитрия Павловича. Одни набросились на Антона Павловича с негодованием, другие злорадно прихихикивали... Левитан напустил на себя мрачность и пришел объясняться. Поговаривали, что он хотел даже вызвать Антона Павловича на дуэль. Но все обошлось благополучно, Антон Павлович, по обыкновению, отшутился...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 51—55).

Только писатель знает, как преломляются и комбинируются впечатления от виденной и слышанной жизни в жизнь творческую. С наивностью художника, берущего краски, какие нужно и где можно, Антон Павлович взял много внешних черточек из обстановки Софьи Петровны, он сделал свою героиню очаровательной 20-летней блондинкой, и ему казалось, что этого довольно; однако, Софья Петровна себя „узнала“ и обиделась... Левитан, „узнавший“ себя в художнике Рябовском, тоже обиделся, хотя, в сущности, обидного ничего для него не было, и за одну несравненную талантливость этого рассказа надо было автору „простить все прегрешения“. Тут вступились друзья, приятели, пошли возмущения, негодования, разрасталась тяжелая история, и друзья больше года не виделись и не разговаривали, что обоим было очень неприятно...

Как то зимой, отправляясь в Мелихово, я захватила по дороге на вокзал к Левитану, обещавшему мне показать этюды... Когда Левитан узнал куда я еду, — он стал по своей привычке длительно вздыхать и говорить мне, как ему тяжел этот глупый разрыв и как бы ему хотелось туда поехать.

— Зачем же дело стало?—говорю я...—Раз хочется, так и надо ехать. Поедьте со мной сейчас!..

Левитан заволновался, зажегся... и вдруг решился...

И вот мы подъехали к дому: залаяли собаки на колокольчик, — выбежала на крыльцо Марья Павловна, вышел закутанный Антон Павлович — в сумерках взгляделся, кто со мной — маленькая

пауза — и оба кинулись друг к другу... И вдруг заговорили о самых обыкновенных вещах — о дороге, о погоде, о Москве... будто ничего и не случилось...

Историю с С. П. Чехов очень не любил и между прочим писал мне по поводу моего рассказа „Одиночество“:

„А все таки вы не удержались, и на строке 180 описали С. П...“¹.

(Т. Л. Щепкина-Куперник. «В юные годы». «А. П. Чехов. Затерянные произвед.» и пр. «Атенеи», 1925, стр. 246—247).

Я пишу повесть — маленькую любовную историю². Пишу с удовольствием, находя приятность в самом процессе письма, а процесс у меня кропотливый, медлительный. Когда же болит голова, или около меня говорят вздор, то пишу со скрежетом зубным. Голова часто болит, а слушать вздор приходится еще чаще...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 4 июня. П. Т. IV, 79).

1 Н. М. Ежов, нововременский журналист и беллетрист, которому Чехов протезировал в течение многих лет, после смерти писателя, отблагодарил его в своих «воспоминаниях» («Историч. Вестн.» 1909 г., № 8), целым рядом злобных выпадов и инсинуаций. Так, напр., по поводу инцидента с «Попрыгуньей», — называя рассказ «прямым пасквилом». Ежов писал: «Я прихожу к выводу, что Чехов сделал эти дурные литературные поступки от крайнего самомнения, которое развилось в нем одновременно с его прославлением. Молодой писатель возомнил о себе не как о литераторе в удаче, а как о гении, чего на самом деле вовсе не было. Когда же он получал отпор и отпор решительный, это вызывало в нем раздражение, а раздражение толкало к мести...»

Эти «выводы» Ежова очень характерны для той атмосферы зависти и злобы, со стороны мелкой «литературной братии», среди которой приходилось жить и работать Чехову.

2 «Соседи».

Душа моя просится вширь и ввысь, но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни, с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому ненужной условной добродетелью. Душа моя изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности. Ноющее чувство это вместе со справедливостью делают в моих глазах писательство мое занятием презренным, я не уважаю того, что пишу, я вял и скучен самому себе, и рад, что у меня есть медицина, которою я, как бы то ни было, занимаюсь все таки не для денег¹. Надо бы выкупаться в серной кислоте и совлечь с себя кожу, и потом обрасти новой шерстью...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 16 июня. П. Т. IV, 88).

Встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в Лопасню, где был земским врачом, а я ехал в подмосковную дачную местность, Царицино, снимать дачу на лето.

— Не ездите на дачу, ничего интересного там не найдете,—сказал Чехов, когда узнал мою цель. —Поезжайте куданибудь далеко, верст за тысячу, за две. Ну, хоть в Азию, что ли. Если

¹ «С первых же дней, как А. П. переселился из Москвы в Мелихово, все кругом узнали, что он врач. К нему стали стекаться больные за 20—25 верст. Приходили, привозили больных на телегах и далеко увозили самого А. П. к больным. С самого раннего утра перед домом уже стояли бабы и девки и ждали медицинской помощи. Он выходил, выслушивал, выстукивал и никого не отпускал без совета и без лекарств... Расход на лекарства у него был порядочный, так как пришлось держать целую аптеку. Будили А. П. и по ночам». (М. П. Чехов «Ант. Чехов и его сюжеты», 94).

времени мало, поезжайте на Урал; природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтобы иметь право сказать себе: Ну вот я и в Азии! А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько всего увидите, сколько рассказов привезете. Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих станциях, в избах; и клопы вас будут есть. Но это хорошо. После скажете мне спасибо... Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда по Волге...

Я послушался — и через несколько дней уже плыл по реке Каме, без цели и назначения, направляясь пока на Пермь. За Уралом я увидел изумительную жизнь наших переселенцев, почти сказочные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы толстых журналов...

(Н. Телешов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит», стр. 8—9).

У нас все тихо, мирно, согласно, если не считать шума, который производят дети моего старшего брата. Но писать все теки трудно. Нельзя сосредоточиться. Для того, чтобы думать и сочинять, приходится уходить в огород и полоть там бедную травку, которая никому не мешает. У меня сенсационная новость: „Русская Мысль“ в лице Лаврова¹ прислала мне письмо, полное

¹ Вукол Михайлович Лавров (1852 — 1912) — издатель «Русск. Мысли», журналист и переводчик.

деликатных чувств и уверений. Я растроган, и если б не моя подлая привычка не отвечать на письма, то я ответил бы, что недоразумение, бывшее у нас года два назад, считаю поконченным¹. Во всяком случае ту либеральную повесть, которую начал при вас, дитя мое, я посылаю в „Русскую Мысль“. Вот она какая история!..

(А. П. Чехов—Л. С. Мизиновой. Мелихово. 1892, 28 июня. 4 часа утра. П. Т. IV, 100—101).

¹ А. Измайлов, биограф Чехова, объясняет это давнишнее недоразумение, между А. П. и редакцией «Русск. Мысли» тем, что «он долго не мог простить ранних жестоких и несправедливых отзывов», которыми встретила его произведения критика этого журнала. Это объяснение справедливо лишь отчасти, но сущность расхождения Чехова с «Русск. Мыслью» была значительно глубже, она заключалась в непринятии Чеховым определенно выраженного «направленчества», связывающего свободу писателя-художника, Эта «партийная узость», по его мнению, особенно резко выступала в журналах либерального толка. В 1888 г., в письме к А. Н. Плещееву (от 28 авг.), он пишет: «Погодите, Р. М. будет выкидывать еще не такие фортели. Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена инквизиции. Вот вы увидите! Узость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие литературной и общественной совести сделают свое дело. Все эти... напустят такой духоты, что всякому свежему человеку литература опротивеет, как чорт знает что, а всякому шарлатану и волку в овечьей шкуре будет где лгать, лицемерить и глумиться с честью»...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В ХОЛЕРНЫЙ ГОД.—«РУССКАЯ МЫСЛЬ».—«ПАЛАТА
№ 6» И «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА».—
САМОКРИТИКА И КРИТИКА.

(1892 г.—Осень)

Положение Мелихова на большой дороге и весть о том, что вот де там то поселился писатель Чехов,—повело неминуемо к новым знакомствам. К Антону Павловичу стали заезжать врачи и местные земские деятели, завязались сношения с местной администрацией и кончилось дело тем, что Антона Павловича выбрали в члены Серпуховского санитарного совета. Таким образом, началась официальная общественная деятельность писателя. Он стал принимать непосредственное участие в земских делах, строил школы, проводил шоссе... А тем временем, на юге России уже свирепствовала холера. С каждым днем она все ближе и ближе подходила к Московской губернии... Тогда Антону Павловичу, как члену санитарного совета и как врачу, было предложено принять на себя заведывание холерным участком. Он тотчас согласился, безвозмездно. На его долю выпала тяжелая работа... Несколько месяцев Антон Павлович почти не вылезал из тарантаса. В это время ему приходилось и ездить

по участку, и принимать больных у себя на дому, и заниматься литературой...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 98—100).

У меня в участке 25 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Утром приемка больных, а после утра разъезды. Езжу, читаю лекции печенегам, лечу, сержусь и, так как земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого...¹ Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь—это, сударь мой, такая окрошка, от которой не поздоровится... Конечно, о литературе и подумать некогда. Не пишу ничего. От содержания я отка-

¹ Как кляничил Чехов у богатых людей, видно из следующего описания (в том же письме к А. С. Суворину): «В Бнарице живет теперь мой сосед, владелец знаменитой «Отрады», граф..., бежавший от холеры; он выдал своему доктору на борьбу с холерой 500 руб. Его сестра, графиня, живущая в моем участке, когда я приехал к ней, чтобы поговорить о бараче для ее рабочих, держала себя со мной так, как-будто я пришел к ней наниматься. Мне стало больно, и я солгал ей, что я богатый человек... Тоже самое солгал я п архимандриту, который отказался дать помещение для больных, которые, вероятно, случатся в монастыре. На мой вопрос, что он будет делать с теми, которые заболеют в его гостинице, он мне ответил: «Они люди состоятельные и сами нам заплатят... Понимаете ли вы? А я вспыхнул и сказал, что нуждаюсь не в плате, ибо я богат, а в охране монастыря... Перед отъездом гр... я виделся с его женой. Громадные бриллианты в ушах, турнюр и неуменно держать себя. Миллионерша. С такими особами испытываешь глупое семинарское чувство, когда хочется сгрубить зря».

зался, дабы сохранить себе хотя маленькую свободу действий, и потому пребываю без гроша ..

Когда узнаете из газет, что холера уже кончилась, то это значит, что я уже опять принялся за писанье. Пока же я служу в Земстве, не считайте меня литератором. Ловить за раз двух зайцев нельзя.

Вы пишете, что я бросил „Сахалин“. Нет, сие мое детище я не могу бросить. Когда гнетет меня беллетристическая скука, мне приятно бывает братья не за беллетристику. Вопрос же о том, когда я кончу „Сахалин“ и где буду печатать его, не представляется для меня важным...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 16 авг. II. Т. IV, 124—126).

Мои литературные итоги за минувшее лето, благодаря холере, равны почти ничему. Писал мало, а о литературе думал еще меньше. Впрочем, написал две небольшие повести—одну сносную, другую скверную—которые буду печатать должно быть в „Русской Мысли“...¹

Летом трудненько жилось, но теперь мне кажется, что ни одно лето я не проводил так хорошо, как это. Несмотря на холерную сумятицу и безденежье, державшее меня в лапах до осени, мне нравилось и хотелось жить. Сколько я деревьев посадил! Благодаря нашему культуртрегерству Мелихово для нас стало неузнаваемо, и кажется теперь необыкновенно уютным и красивым, хотя быть может в сущности оно ни к чорту не годно... Уже снег, холодно, но в Москву меня не тянет...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 10 окт. II. Т. IV, 132—133).

¹ «Палата № 6» и «Рассказ неизвестного человека».

К первой же осени усадьба стала неузнаваема. Были перестроены службы, сняты лишние заборы, насажены прекрасные розы и разбит цветник, и в поле, перед воротами, Антон Павлович затеял рытье нового большого пруда... Этот пруд был его детищем. Он любил потом сидеть на плотике на его берегу и с детским восторгом наблюдать, как на его поверхности в часы заката вдруг появлялись целые стада маленьких рыбок и стремительно скрывались затем в глущину...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 101).

Часто я его видел с удочкой на берегу пруда. Как то раз я и говорю кому то из родственников его: вот, кабы именье то на речке было—оно насчет рыбной ловли куда лучше. А мне и говорят: „разве Антону Павловичу рыба нужна?—просто там ему никто не мешает думать“...

(Со слов одного из соседей Чехова, по имени. Ив. Белоусов. «В Мелихове». Сб. «О Чехове», стр. 26).

Вы сквозь призму моего благодушества увидели жизнь однотонную, бесцветную и унылую. Я де сам по себе, а мое Монрепо и семь лошадей сами по себе. Я, голубчик мой, далек от того, чтобы обманывать себя насчет истинного положения вещей: не только скучаю и недоволен, но даже чисто по медицински, т. е. до цинизма, убежден, что от жизни сей надлежит ожидать одного только дурного—ошибок, потерь, болезней, слабости и всяких пакостей, но при всем том, если бы вы знали, как приятно не платить

за квартиру и с каким удовольствием я вчера уезжал из Москвы. Что то новое для меня есть в сознании, что я не обязан жить на такой то улице и в таком то доме. Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне. Для самолюбивых людей, неврастенников, нет удобнее жизни, как пустынножителство. Здесь ничто не дразнит самолюбия и потому не мечешь молний из за яйца выеденного. Здесь есть где двигаться и читаешь больше...

Вчера отвез в „Русскую Мысль“ две повести. Буду работать всю зиму не вставая, чтобы весной уехать в Чикаго. Оттуда через Америку и В. Океан в Японию и Индию. После того, что я видел и чувствовал на востоке, меня не тянет в Европу, но будь время и деньги поехал бы опять в Италию и Париж...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 18 окт. П. Т. IV, 136—137).

Старость или лень жить, не знаю, но жить не особенно хочется.—Умирать не хочется, но и жить как будто надоело. Словом, душа вкушает хладный сон... Написал за лето две тугие повести ¹, которыми поправлю немножко свои финансы, но славы—увы—не приумножу. Не писалось, да и медицина все лето мешала. А может быть и отвык писать. Я уже давно не писал с удовольствием, а это дурной знак. Сунулс я было в „Неделю“ с рассказом (Соседи), но вышло нечто такое, что не следовало бы печатать:

1 «Палата № 6» и «Рассказ неизвестного человека».

ни начала, ни конца, а какая то бледная середка...

(А. П. Чехов—И. Л. Шеглову. Ст. Лопасня. 1892, 24 окт. П. Т. IV, 140—141).

Летом этого года то у меня, то у него гостил покойный Павел Матвеевич Свободин, известный петербургский актер... От него я узнал, что Чехов пишет повесть, и написал в Лопасню письмо с просьбой отдать эту повесть нам в „Русскую Мысль“. Ответ получился желательный для меня, но еще раньше получения обещанной вещи я (конечно, с разрешения автора) добыл из редакции „Русского Обозрения“ рассказ, уже набранный, но почему то не напечатанный¹. Это была знаменитая „Палата № 6“, наделавшая столько шума,—вещь действительно замечательная...

Появилась она у нас в одиннадцатой книге журнала, когда я уже имел в руках оригинал другой повести². Возникал вопрос, какую печатать раньше и мы почему то преимущество отдали „Палате № 6“. Чехов, всегда требовательный к себе, был отчасти недоволен и нашей очередью и своею работой вообще, и вот что он писал мне в письме от 25-го октября 1892 г.: „Да будет воля ваша! Печатайте вперед „Палату № 6“, хотя мне это будет немножко стыдно, так

¹ Почти невероятно, что «Палата № 6», этот в своем роде шедевр его, был ему возвращен из «Русского Обозрения» и лишь потом напечатан в «Русской Мысли». Ответственность за этот позорно неправдоподобный случай лежит на покойном кн. Д. Церетелеве. Сношения Чехова с консервативной редакцией, которой, очевидно, идейно не нравился рассказ и которая, однако, не имела мужества заявить об этом прямо, кончилось тем, что Чехов энергично потребовал оригинал обратно». (А. Измайлов. «Чехов», стр. 383—384).

² «Рассказ неизвестного человека».

как я говорил Боборыкину, что беру повесть от него только для того, чтобы поддержать ее у себя год и переделать. Я ему не врал, а теперь выйдет так, что соврал. Ну, да чорт с ним. А в самом деле „Палату“ следовало бы перекрасить, а то от нее воняет больницей и покойницкой. Не охотник я до таких повестей!..“

А как Чехов был строг к себе, как он относился даже к такому маловажному вопросу, как выбор титула для своего произведения, показывает его письмо ко мне от 9-го февраля 1893 года, касающееся повести, которая появилась в „Русской Мысли“ во второй и третьей книжке того же года: „Ваша телеграмма, дорогой Вукол Михайлович, разбудила меня в 3 часа утра. Я думал, думал и ничего не надумал, а уже 9 часов и пора посылать вам ответ. „Рассказ моего пациента“—не годится безусловно: пахнет больницей. „Лакей“—тоже не годится: не отвечает содержанию и грубо. Что же придумать? 1) В Петербурге. 2) Рассказ моего знакомого. Первое скучно, а второе—как будто длинно. Можно просто „Рассказ знакомого“. Но дальше: 3) В восьмидесятые годы. Это претенциозно. 4) Без заглавия. 5) Повесть без названия. 6) Рассказ неизвестного человека. Последнее кажется подходит. Хотите? Если хотите, то ладно“... И вот под таким то простым наименованием и появилось одно из лучших произведений Антона Павловича¹.

(Вукол Лавров. «У безвременной могилы». «Русск. Ведомости». 1904 г., № 202).

¹ «Рассказ неизвестного человека» я начал писать в 1887—88 г.г., не имея намерения печатать его где либо, потом бросил: в прошлом году я переделал его, в этом же кончил» (из письма Чехова к Л. Я. Гуревич, от 22 марта 1893 г.).

...В наших произведениях нет именно алкоголя, который бы пьянил и порабощал и это вы хорошо даёте понять. Отчего нет? Оставляя в стороне „Палату № 6“ и меня самого, будем говорить вообще, ибо это интересней. Будем говорить об общих причинах, коли вам не скучно и давайте захватим целую эпоху. Скажите по совести, кто из моих сверстников, т. е. людей в возрасте 30—45 лет дал миру хотя одну каплю алкоголя? Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили вам голову? Мило, талантливо, вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рождать только гуттаперчевых мальчиков¹ и не видит этого только Стасов², которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев. Причины тут не в глупости нашей, не в бездарности и не в наглости, как думает Буренин, а в болезни, которая для художника хуже сифилиса и полового истощения. У нас нет „чего то“, это справедливо и это значит, что поднимите подол нашей музе и вы увидите там плоское место. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными, или просто хорошими, и которые пьянят нас, имеют общий и весьма важный признак: они куда то идут

¹ «Гуттаперчевый мальчик» — рассказ Д. В. Григоровича, написанный им в 1883 г., после почти двадцатилетнего перерыва в литерат. деятельности.

² Владимир Вас. Стасов (1824—1906) — археолог, художествен. и музыкальн. критик.

и вас зовут туда же и вы чувствуете не умом, а всем существом, что у них есть какая то цель, как у тени отца Гамлета, которая не даром приходила и тревожила воображение. У одних, смотря по калибру, цели ближайšie—крепостное право, освобождение родины, политика, красота или просто водка, как у Дениса Давыдова¹, у других цели отдаленные—бог, загробная жизнь, счастье человечества и т. п. Лучшие из них реальны и ищут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас. А мы? Мы! Мы ищем жизнь такую, какая она есть, а дальше—ни тпру, ни ну. Дальше хоть плетями нас стегайте. У нас нет ни ближайших, ни отдаленных целей и в нашей душе хоть шаром покати. Политики у нас нет, в революцию мы не верим, бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Кто ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником. Болезнь это или нет—дело не в названии, но сознаться надо, что положение наше хуже губернаторского. Не знаю, что будет с нами через 10—20 лет—тогда быть может изменятся обстоятельства, но пока было бы опрометчиво ожидать от нас чего нибудь действительно путного, независимо от того талантлив мы или нет. Пишем мы машинально, только подчиняясь тому заведенному порядку, по кото-

¹ Денис Вас. Давыдов (1781—1839)—генерал, участвовавший в войнах против Наполеона и поэт первой половины XIX в., воспевал гусарскую удаль, попойки и любовные страсти.

рому одни служат, другие торгуют, третьи пишут... Вы и Григорович находите, что я умен. Да, я умен по крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя своей болезни и не лгать себе и не прикрывать своей пустоты чужими лоскутьями, вроде идей 60-х годов и т. п. Я не брошусь, как Гаршин, в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеждами на лучшее будущее. Не я виноват в своей болезни и не мне лечить себя, ибо болезнь сия, надо полагать, имеет свои скрытые от нас хорошие цели и послана не даром... Не даром, не даром она с гусаром!..

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1892, 25 ноября. II. Т. IV, 152—154).

...В ноябрьской книжке „Русской Мысли“ (1892г.) напечатан рассказ г. Чехова „Палата № 6“, — рассказ мастерской в своем роде и производящий сильное впечатление... Г. Чехов большой талант. Это факт общепризнанный. Но почитатели таланта г. Чехова разделяются на две группы. Одни возводят своеобразную манеру его писания в принцип. В том безразличии и безучастии, с которыми г. Чехов направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и слона, на слезы и воду, на красные и всякие другие цветки, они видят новое откровение, которое величают „реабилитацией действительности“ и „пантеизмом“. Все в природе равноценно, говорят они... А сортировку сюжетов, с точки зрения каких бы то ни было принципов, надо бросить, что и делает г. Чехов. Другие напротив скорбят об этой неразборчивой растрате большого таланта. Я принадлежу к числу этих последних. Высоко цена

большой талант г. Чехова, я думаю, что если бы он расстался со своим безразличием и безучастием, русская литература имела бы в его лице не только большой талант, а и большого писателя. Я боюсь, что в один прескверный для него день он скажет самому себе: „Каждая мысль и каждое чувство живут во мне особняком, и во всех картинах, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека; а коли нет этого, то, значит, нет и ничего“. Этот скверный день, я думаю, г. Чехов уже пережил. Поставленные в кавычки слова вложены им самим в уста героя повести „Скучная история“, прекрасной повести, о которой я в свое время беседовал с читателями... Слова эти говорит 62-летний ученый Николай Степанович, но я думаю, что они приличествуют и молодому беллетристу Чехову..¹

(Н. Михайловский. «Палата № 6». Собр. соч., т. VI (изд. 1897 г.), стр. 1037—1045. Перепечат. из «Русск. Вedom.» за 1892 г.).

¹ В 1890 г. в своей статье «Об отцах и детях и о Чехове», Михайловский писал: «Я не знаю зрелища печальнее, чем этот даром пропадающий талант... Г. Чехов и сам не живет в своих произведениях, а так себе гуляет мимо жизни и, гуляючи, ухватит то одно, то другое. Почему именно это, а не то? Почему то, а не другое? Выбор тем г. Чехова поражает случайностью... Г. Чехов с холодной кровью подписывает, а читатель с холодной кровью почитывает... При всей своей талантливости, г. Чехов не писатель, самостоятельно разбирающийся в своем материале и сортирующий его, с точки зрения какойнибудь общей идеи, а какойто почти механический аппарат... Что попадет на глаза, то он и избирает с одинаково холодной кровью...» (Н. К. Михайловский. Собр. соч., т. VI (изд. 1897 г.), стр. 778—784). Нельзя не отметить здесь, что такого рода анализ его творчества, не мог восприниматься Чеховым безболезненно. Однажды (по словам М. Л., см. «Туркестанск. Вестник», 1910 г., № 47), он так характеризовал Михайловского: «Михайловский—крупный социолог и неудачный критик; он так создан, что не может понять, что такое беллетристика».

— Помилуйте, что это такое?—ораторствовал, как теперь помню, один мой приятель статистик,—ведь ни одной идеи Чехов не проводит! Полное отсутствие общественного содержания и интереса. Полнейший индифферентист, ваш хваленый Чехов!..

— Скажите, пожалуйста, к какому направлению Чехов принадлежит, какому богу молится, какому делу служит?—закидывали очень немногих тогда почитателей и горячих поклонников Чехова в нашем губернском городе. И тут же отвечали:

— Никакому!..

Около этого времени, помню, как раз появились известные фельетоны о Чехове покойного Н. К. Михайловского в „Русских Ведомостях“, и они еще более упрочили и усилили это обидное и незаслуженное отношение к одному из лучших, наиболее идейных, содержательных и глубоких писателей.

(С. Волжанин. «Чехов и интеллигенция». «Русск. Слово», 1904 г., № 185).

...В пасмурный воскресный день, захватив с собой ружье, я отправился его навестить... Мне указывают большой березовый сад, я вхожу и, побродив по деревенскому двору, где за мной мечется стая заливающихся собак, нахожу, наконец, домик хозяина. Он выходит ко мне навстречу своей медленной походкой, в сопровождении двух церемонных, смешных такс. Ему лет тридцать с небольшим; он высокого роста, стройный, с ясным лбом и длинными волосами, которые он отбрасывает назад машинальным движением пальцев. Взгляд у него прямой, пыт-

ливый, открытый и в то же время очень лукавый. В обращении он несколько холоден, но непринужден: очевидно, он рассматривает, с кем имеет дело, и чувствует, что я тоже его изучаю. Скоро, однако, первая неловкость проходит; мы говорим о том, что французы знают о русских, а русские о Франции, и горячо спорим...

— А не пойти ли нам по грибы?—предлагает он вдруг.

Мы направляемся в сад. И склонившись к земле, очень занятые сбором грибов, мы продолжаем беседовать о серьезных вопросах...

* * *

Я снова побывал у Чехова.. На этот раз встреча носит более простой, более открытый, более сердечный характер...

После веселого семейного обеда, я лежу на диване в его кабинете и раньше, чем заснуть, взор мой неопределенно блуждает по комнате. По стенам библиотечные полки с нагроможденными на них без системы книгами по медицине и литературе. Кругом расставлены безделушки из тонкой бронзы и слоновой кости, вывезенные с Дальнего Востока. На подоконнике большого окна—склянки с лекарствами. Кое где портреты, в том числе портрет Толстого. На стене, над диваном, где я лежу, миниатюрная акварель, изображающая лужайку с тремя березами, серебристые стволы которых вырисовываются на красном фоне послезакатного неба...

Я знаю мало авторов, произведения которых вызывали бы более жгучее сознание неумоли-

мого однообразия жизни. Серую, беспросветную жизнь, вяло текущую заведенным порядком, жизнь без широких горизонтов, этот идеал мелких людишек, эту пытку познавших беспокойство сердец,—вот что без усталости рисует Чехов. Если бы его штрихи были ярче очерчены, его рассказов нельзя было бы читать; но он с тонкой и бесстрастной жестокостью рисует мелочи будничных жизней, на которые он неожиданно бросил луч света. А когда все также неожиданно возвращается в мрак, какое то чувство подсказывает вам, что эти будни будут тянуться до безвестной могилы.

(Jules Legras. — «Страницы о Чехове». Чех. Юбил. Сборн. М. 1910 г., стр. 371—373).

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ЗАМЫСЕЛ «ЧЕРНОГО МОНАХА». — ДЕНЕЖНЫЕ ДЕЛА
С «НОВЫМ ВРЕМЕНЕМ». — «АВЕЛАНОВСКИЙ» ПЕРИОД. —
«ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»

(1893 г.)

Антон Павлович управился с санитарной деятельностью и зажил жизнью отшельника... В доме оставались только мать и отец, и часы тянулись необыкновенно длинно. Ложились еще раньше чем летом и случалось так, что Антон Павлович просыпался в первом часу ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. К шести часам утра весь дом был уже на ногах. Антон Павлович в эту зиму много писал. Но, как только приезжали гости, жизнь круто изменялась. Пели, играли на рояли, смеялись... Антон Павлович всегда был доволен, когда приезжали к нему Л. С. Мизинова¹ и писатель И. Н. Потапенко. Он их любил, и вся семья радовалась их приезду. Тогда уж дым поднимался коромыслом, ложились спать далеко за полночь, и в такие дни Антон Павлович писал только урывками, только потому, что это было его потребностью. И всякий раз, урвав мину-

¹ Лидия Стахиевна Мизинова («Лика»), близкая приятельница семьи Чеховых, впоследствии жена артиста Московск. Художеств. Театра—Санина.

точку или две, он писал строчек пять—шесть и шел к гостям.

— Написал на шестьдесят копеек!—говорил он улыбаясь.

И в это же самое время Антон Павлович очень нервничал. Он плохо спал по ночам. Его, как он говорил, „дергало“. Какая то сверхъестественная сила вдруг подбрасывала его на постели на целые четверть аршина, внутри его что то обрывалось „с корнем“, он вскакивал и долго не мог уснуть...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 102—106).

Я не знаю, как он работал, когда был один. Этого кажется никто не знал. Может быть тогда он сидел за столом, не отрываясь. Но в те дни, когда в Мелихове бывали гости, он почти все время был с ними.

Но, несомненно, он и тогда работал. Творческая деятельность не покидала его ни на минуту. И случалось, что во время музыки он вдруг исчезал, но не надолго, через несколько минут он появлялся, и оказывалось, что в это время он был у себя в кабинете, где написал две—три строчки. Так делал он часто в течение дня.

Но вечером, когда около полуночи все расходились по своим комнатам, ложились в постели, и в доме потухали огни, в его кабинете долго еще горела лампа. Тогда он работал, как хотел, иногда засиживаясь долго, а на другой день вставая позже других.

(И. Потапенко. «Несколько лет с А. П. Чеховым». «Нива» 1914 г., № 26, стр. 515).

... Меня обуяла физическая и мозговая вялость, точно я переспал. Состояние противное. Ничего

не болит, но тянет в постель, или на диван. Читаю массу, но вяло, без аппетита. А в душе, как в пустом горшке из под кислого молока: сплошное равнодушие. Объясняю сие состояние отчасти погодою (5 мороза), отчасти старостью, отчасти же неопределенностью моего существования в смысле целей...

(А. П. Чехов—Ал. П. Чехову. Мелихово. 1893, 16 марта. П. Т. IV, 203).

... Но как бы то ни было, жизнь с приездом гостей шла для него в Мелихове интересно и этот интерес достигал своей высшей точки, как я сказал, с приездом Лики Мизиновой и Потапенки... Потапенко пел, играл на скрипке, острил... Обыкновенно случалось так, что когда он и Мизинова приезжали в Мелихово, то Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду „Валахскую легенду“ Брага... В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее с неба песнь ангелов, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки, но мать не понимает ее, и девушка в разочаровании забывается снова в больном беспокойном сне.

Обыкновенно вторую партию в этой легенде играл Потапенко на скрипке. Выходило очень хорошо. В доме поют красивый романс, а в открытое окно слышатся крики птиц и доносится действительно одурманивающий аромат цветов... Антону Павловичу очень нравился этот романс...

Жил постоянно в Мелихове большой неудачник А. И. Иваненко (прототип Епиходова в „Вишневом саду“). Это был добрый, несчастный хохлик, не поладивший со своим отцом в Мало-

россии, эмигрировавший в Москву учиться на флейте, познакомившийся с семьей Антона Павловича, да так и оставшийся при ней совсем. Детство и юность его были несчастны... Обыкновенно он, вспоминая о своих родителях, говорил, как его отец, вечно недовольный на своем хуторе, выйдет, бывало на крыльцо, разведет руками и закричит:

— Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!

Я привожу все эти подробности потому, что они имеют большое отношение к происхождению рассказа Антона Павловича „Черный монах“...

Как то раз, когда в летний, тихий, безоблачный вечер, солнце красным громадным кругом приблизилось к горизонту, среди нас возник в Мелихове вопрос, почему, когда солнце садится, то бывает красное и гораздо больших размеров, чем днем? После долгих дебатов решили, что в такие моменты солнце уже всегда находится под горизонтом, но так как воздух представляет собою для него то же, что и стеклянная призма для свечи, то, преломляясь сквозь призму воздуха, солнце становится для нас видимым из под горизонта уже потерявшим свою естественную окраску и гораздо больших размеров, чем днем, когда оно бывает над горизонтом. Заговорили затем о мираже, о преломлении лучей через воздух и т. д. и т. д. и в результате возник вопрос: может ли и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий, третий—четвертый и т. д. до бесконечности. Следовательно, возможно что сейчас

во вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения? Конечно, все это был только юношеский разговор, граничащий со вздором, но решение таких вопросов было для всех в Мелихове тогда очень интересным...

В то время я страдал бессонницами и, чтобы не бодрствовать ночью, старался один из всех не ложиться спать после обеда, хотя испытывал к тому громадное искушение. И вот сижу я в одно из таких после обеда у самого дома на лавочке и борюсь с дремотой. И вдруг выбегает Антон Павлович и как то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза. Мы все уже привыкли к его „дерганьям“ во сне, и я так понял, что это его „дернуло“ и он выскочил в сад, не успев еще притти хорошенько в себя.

— Что, опять дернуло?—обратился я к нему с вопросом.

— Нет,—ответил он.—Я видел сейчас страшный сон. Мне приснился черный монах.

Впечатление от этого сна было настолько сильно, что Антон Павлович еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ... Тот, кто читал „Черного монаха“, я думаю, поймет его происхождение и структуру, узнает в нем и „Валахскую легенду“, и разговоры о миражах, и отца Иваненки.

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 106—110).

В самом деле, весной жилось мне противно. Я уже писал вам об этом. Геморой и отврати-

тельное психопатическое настроение... Написал я также повестушку в 2 листа „Черный монах“. Вот если бы вы приехали, то я дал бы вам прочесть. Да-с. А приехать не так трудно... Тесно и одиночества нет, но от сих зол можно уйти в лес...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1893, 28 июля. П. Т. IV, 229—230).

... Если автор изображает психически больного, то это не значит, что он сам болен. Черного монаха я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише. Стало быть, скажите Анне Ивановне, что бедный Антон Павлович, славу богу еще не сошел с ума, но за ужином много ест, а потому и видит во сне монахов... ¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1894, 25 янв. П. Т. IV, 243).

¹ В воспоминаниях Иеронима Ясинского («Роман моей жизни». Гиз: 1926) имеется и такая версия о написании Чеховым «Черного монаха». «...Он был любезным молодым человеком с той положительной складкой в обращении, какая обличает обыкновенно врача, изучающего мир сквозь реальные очки. Последнее обстоятельство не помешало Чехову, сдвинуто, написать, как раз во время нашего пребывания в «Лоскутной», почти мистический рассказ «Черный монах».

— Вы мне как то рассказывали о каком то адвокате,—признался мне Чехов,—который страдал тем, что мушволант (летающие перед глазами мушки) разрасталась по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у вас был не замысел, а факт в запасе, но, видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я подложил под этот факт медицинскую теорию. Вообще меня крайне интересуют всякие уклоны так называемой души...» (стр. 268).

Полагаем, что рассказ Мих. Павл. Чехова, помещенный нами в тексте и подтвержденный самим Ант. Павл. более соответствует действительности.

Денег! Денег! Будь деньги, я уехал бы в Южную Америку, о которой читаю теперь очень интересные письма. Надо иметь цель в жизни, а когда путешествуешь, то имеешь цель...

Мне кажется, что жизнь хочет посмеяться немножко надо мной, и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, все это глупо...

(А. П. Чехов—Т. С. Мизиновой. Мелихово. 1893, 13 авг. П. Т. IV, 236—237).

Счет из магазина поверг меня в уныние. Я должен 3482 р.! Ай, ай!. У меня в мозгу сидел долг только в 5 тысяч, которые я взял на покупку имения; теперь за вычетом книжной выручки осталось бы меньше тысячи, но к ужасу моему вспоминаю, что я брал еще 1000 р. на заграничную поездку и быть может не погасил еще того долга, который образовался от поездки на каторгу... Я лично вам помимо конторы должен еще 400 р... Для того, чтобы при теперешнем состоянии моего книжного рынка погасить 3489 + 400 р., мне нужно года полтора по меньшей мере. А мне ужасно хочется не быть должным... Я делаю в уме всякие финансовые выкладки и у меня все выходит похоже на страуса, который спрятал голову и думает, что весь спрятался. Не согласится ли ваш магазин похерить мой долг и уплатить вам 400 р., а взамен взять себе право издавать и продавать все доселе изданные вами книги мои в течение 10 лет? Кроме погашения долга он обязуется выплачивать мне еще 300 р. ежегодно, или 3000 единовре-

менно. Итого книги обойдутся ему без малого в 7000, а сие число деленное на 10 даст 700 в год... Фантастический проект? Увы! Это я сам чувствую...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1893, 18 авг. П. Т. IV, 238—239).

Мое предложение—глупая шутка? Но ведь было бы еще глупее, если бы я, состоя должным, попросил выслать мне в Серпухов еще тысячу рублей. Вы пишете, что я на книгах заработаю 20—30 тысяч. Прекрасно. Говорят также, что я буду в раю. Но когда это будет? А между тем, хочется жить настоящим, хочется солнца, о котором вы пишете.

Сегодня ночью у меня было жестокое сердцебиение, но я не струсил, хотя было тяжело дышать... Я не струсил сердцебиения, потому что все эти ощущения, в роде толчков, стуков, замираний и проч. ужасно обманчивы. Не верьте им и вы. Враг, убивающий тело, обыкновенно подкрадывается незаметно, в маске, когда вы, например, больны чахоткой и вам кажется, что это не чахотка, а пустяки... Все исцеляющая природа убивая нас, в то же время искусно обманывает, как нянька ребенка, когда уносит его из гостиной спать. Я знаю, что умру от болезни, которой не будут бояться. Отсюда, если я боюсь, то значит не умру. Впрочем, чепуха...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1893, 24 авг. П. Т. IV, 242—243).

... Я ем, сплю и пишу в свое удовольствие? Я ем и сплю, потому что все едят и спят; даже вы не чужды этой слабости, несмотря на вашу

воздушность. Что же касается писанья в свое удовольствие, то вы, очаровательная, прочирикали это только потому, что не знакомы на опыте со всей тяжестью и угнетающей силой этого червя, подтачивающего жизнь, как бы мелок он ни казался вам...

(А. П. Чехов—Л. С. Мизиновой. Мелихово. 1893, 1 сент. II. Т. IV, 244).

Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня раздражили „Авеланом“. Никогда раньше я не чувствовал себя таким свободным... Все лето меня томило безденежье, я изнывал, теперь же, когда расходы стали меньше, я успокоился. Чувствую свободу от денег, т. е. мне начинает казаться, что больше двух тысяч в год мне не нужно и я могу писать и не писать...

В последнее время мною овладело легкомыслие и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда, и литература стала моей Ависагой¹, и я до такой степени привязался к ней, что стал презирать медицину. Но в литературе я люблю не те романы и повести, которые вы ждете или перестали ждать от меня, а то, что я в продолжение многих часов могу читать, лежа на диване. Для писанья же у меня не хватает страсти.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1893, 11 ноября. II. Т. IV, 255—257).

Он останавливался всегда в „Большой Московской гостинице“, напротив Иверской (там у него

¹ Ависага—легендарная возлюбленная библейского царя Давида, утешавшая его в старости.

был свой излюбленный номер) и давал знать о своем приезде. С быстротой беспроволочного телеграфа разносилась весть: „А. П. приехал!“ — и дорогого гостя начинали чествовать. Его так усиленно чествовали, что это дало повод прозвать его „Авеланом“; это тогда был морской министр, которого в виду „франко-русских симпатий“ непрерывно чествовали во Франции. И вот, когда приезжал „Авелан“, начинались, так называемые, „общие плавания“...

Антон Павловича затаскивали по обедам, театрам, собраниям литераторов и пр. Как он сам писал, „он жил в непрерывном чадѹ“, так что в конце концов он с облегчением уезжал в свое Мелихово до нового „плавания“...

Правда, он разделял наши развлечения и интересы, говорил обо всем, о чем говорила Москва, бывал на тех же спектаклях, в тех же кружках, что и мы; просиживал ночи, слушал музыку так же, как и мы; но я не могла отделаться от впечатления, что он „не с нами“, что он — зритель, а не действующее лицо, зритель далекий и точно старший, играющий с детьми, делающий вид, что ему интересно а ему не интересно; и где то, за стеклами его пенснэ, за его юмористической улыбкой, за его шутками — чудилась грусть и отчужденность... Радости в Ант. П. не было; и всегда „издали“ на все смотрели его умные, прекрасные глаза.

Он носил брелок с надписью, которую как то показал мне: „одинокому весь мир — пустыня“.

Останавливался он обыкновенно в Большой Московской гостинице, но мне, после долгих хлопот удалось наконец уговорить его останавливаться у меня...

Сейчас об этом посылалось известие в „Русские Ведомости“ Михаилу Александровичу Саблину¹, который почел бы за обиду, если бы узнал об этом не первый... Он оживлялся и обращался в юношу, когда приезжал Чехов и уж тут дни и вечера, сколько бы их ни было, превращались в праздники...

Любил отдыхать с нами В. А. Гольцев². После спектакля иногда урывал час-другой А. И. Южин...³ Домосед В. М. Лавров иногда ознаменовывал приезд Чехова из деревни чем то вроде раута у себя дома...

В Москве Чехов оставался по несколько дней, но в эти дни ничего не писал... Здесь не было его уютного кабинета, с которым у него было связано уже столько творческих воспоминаний...

Зато и уезжал он внезапно, словно по какому то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой, стремился. Или кто нибудь позвал его вечером, и он обещал. Все ровно— неотразимое побуждение было сильнее его... Надо правду сказать надоедали ему очень, особенно когда он останавливался в Большой Мо-

1 М. А. Саблин (1842—1898)—общественный деятель, один из участников издательства газеты «Русские Ведомости».

2 Виктор Александрович Гольцев (1850—1906)—публицист и критик, приват-доцент Московск. университета, редактор «Русской Мысли».

3 Князь А. И. Сумбатов-Южин (1857—1927)—артист и драматург.

сковской гостинице. Стучались в дверь люди, которых он не знал, и которые в сущности не имели никакого права отнимать у него время и покой...

Но к чему он чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям в особенности, если подозревал, что от него потребуется активное участие.

Мне помнится один приезд в Москву покойного Д. В. Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей.—Так как писатель иногда помещал свои вещи в „Русской Мысли“, то В. М. Лавров захотел устроить ему в Москве „филиальное чествование“...

Само собой разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича...

Ведь старый писатель первый заметил талант Чехонте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо.

Антону Павловичу все это было поставлено на вид—и уж само собой разумелось, что он будет украшением „филиального чествования“.

Антон Павлович впал в мрачность. Целый день с ним ни о чем нельзя было говорить... К вечеру он стал мягче. К нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени, прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой то неведомой, повидимому, речи:

— „Глубокоуважаемый и досточтимый писатель... Мы собрались здесь тесной семьей...“ Потом, после молчания, опять:— „Наша дружная

писательская семья, в вашем лице, глубоко-
чтимый..."

— Что это ты? — спросил я.

— А это я из твоей речи, которую ты скажешь
на обеде в честь Григоровича.

— Почему же из моей? Ты бы лучше из своей
чтонибудь.

— Так я же завтра уезжаю.

— Куда?

— В Мелихово.

Я возмущился.

— Как же так? Григорович, его письма...
Такие отношения... Наконец, разочарование
Лаврова и всех прочих...

И тут он начал приводить свои доводы:

— Ведь это же понятно. Я был открыт Гри-
горовичем и, следовательно, должен сказать речь.
Не просто говорить чтонибудь, а именно речь.
И при этом непременно о том, как он меня
открыл. Иначе будет нелюбезно. Голос мой дол-
жен дрожать и глаза наполниться слезами.
Я, положим, этой речи не скажу, меня долго
будут толкать и бок, я все таки не скажу,
потому что не умею. Но встанет Лавров и рас-
скажет как Григорович меня открыл. Тогда по-
дымется сам Григорович, подойдет ко мне, про-
тянет руки и заключит меня в объятия и будет
плакать от умиления. Старые писатели любят
поплакать.. Ну, это его дело, но самое главное,
что и я должен буду плакать, а этого я не
умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд...

Все то, что говорил Чехов совсем не казалось
ему шуткой. Он действительно испытывал стра-

дания, представляя себя героем нарисованной им сцены...

И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню... ¹

(И. Потапенко. «Несколько лет с А. П. Чеховым». «Нива», 1914 г., № 26, стр. 511—513).

... Ах, если бы вы знали, как я утомлен! Утомлен до напряжения. Гости, гости, гости... Моя усадьба стоит как раз на Каширском тракте и всякий проезжий интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне и погреться, а иногда даже и ночевать остаться. Одних докторов целый легион! Приятно конечно, быть гостеприимным, но ведь душа меру знает. Я ведь и из Москвы то ушел от гостей...

А мне надо писать, писать и спешить на почтовых, так как для меня не писать значит жить в долг и хандрить. Пишу вещь, в которой сотня действующих лиц, лето, осень—и все это у меня обрывается, путается, забывается... Тьфу ты пропасть! В Питер ехать? Но в Питере я работаю вяло и мало. В Москву податься и взять там номер? Но в Москве в номере я издохну от скуки. Должно быть кончу тем, что приеду в Петербург, не написав даже пол листа и рассыпав по пути все, что было в голове... Все мне хочется устроить свою внешнюю жизнь, я и так и этак, и вся эта возня с собственной особой

¹ В письме к А. С. Суворину от 25 янв. 1894 г. Чехов пишет, по поводу этого чествования: «...те, которые давали обед приезжавшему Григоровичу, говорят теперь, как много мы лгали на этом обеде, и как много он лгал».

кончится тем, что какой-нибудь строгий Икс скажет: как вы ни садитесь, а все в музыканты не годитесь...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1893, 8 дек. II. Т. IV, 268).

Ах, мой рассказ в „Русских Ведомостях“ постригли так усердно, что с волосами отрезали и голову ¹. Целомудрие чисто детское, а трусость изумительная. Выкинь они несколько строк — куда ни шло, а то ведь отмахнули серединку, отгрызли конец и так облинял мой рассказ, что даже тошно. Ну, допустим, что он циничен, но тогда не следовало его вовсе печатать, или же было бы справедливо сказать хоть слово автору, или списаться с автором, тем более, ведь, что рассказ не попал в рождественский номер, а был отложен на неопределенное время... А денег нет и не скоро будут, анафемские. Рассчитывал на январское жалованье из Русских Ведомостей, но после казуса с рассказом у меня пропал всякий аппетит к этому жалованью. Ты Саблину ничего не говори. Будет всего удобнее и покойнее, если я, уклоняясь от дальнейшего сотрудничества, сошлюсь на недосуг, как на главную причину... ²

(А. П. Чехов—В. А. Гольцеву. Мелихово. 1893, 28 дек. II. Т. IV, 275—276).

¹ «Володя большой и Володя маленький».

² «На «дедушку» (так называли обычно М. А. Саблина) он иногда сердился, потому что в «Русск. Вед.», опасаясь цензурных придирок, иногда «урезывали» его рассказы; но в общем очень его любил». (Т. Щепкина-Куперник. «В юные годы», стр. 226).

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ПЕЧАТАНИЕ «ОСТРОВА САХАЛИНА». — В ЯЛТЕ. —
НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВОМ. — ВТОРАЯ ПОЕЗД-
КА ЗА ГРАНИЦУ. — «ТРИ ГОДА».

(1894 г.)

Летом 1893 года Чехов был занят приведением в порядок обильного материала, привезенного им с поездки на Сахалин, но приходил в ужас от размеров своей работы. Ему все хотелось урезать то там, то здесь и даже пожертвовать фактической стороной дела, чтобы придать рукописи как можно меньший объем. „Сахалин“ был обещан нам, и мы с большим трудом отстояли его в том виде, в котором он появился в последних книжках 1893 г. (Русской Мысли) и в первых книжках 1894 года... ¹

(Вукол Лавров. «У безвремен. могилы». «Русск. Вedom.», 1904. № 202).

Вы смеетесь над моей основательностью, сухостью, ученостью и над потомками, которые оценят мой труд... Мой Сахалин—труд академический, и я получу за него премию митрополита Макария. Медицина не может упрекать меня

¹ «Остров Сахалин», после напечатания в «Русск. Мысли», был издан тем же издательством в 1895 г. отдельной книгой. В отдельн. издании Чехов выбросил из книги все личное, в том числе и свое признание, что он ехал на Сахалин без определенной, заранее намеченной цели.

в измене; я отдал должную дань учености и тому, что старые писатели называли педантством. И я рад, что в моем беллетристическом гардеробе будет висеть и сей жесткий арестанский халат. Пусть висит! Печатать Сахалин в журнале, конечно, не следует, это не журнальная работа, книжка же, я думаю, пригодится на чтонибудь...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1894, 2 янв. II. Т. IV. 277—278).

— Да, подите,—сказал он однажды автору этих строк:—напиши я Сахалин в „беллетристическом роде“ без цифр! Сказали бы: и здесь побасенками занимается. А цифры—оно почтенно. Цифру всякий дурак уважает.

(В. Дорошевич. «А. П. Чехов». «Русск. Слово», 1904 г., № 183).

Из своих произведений он сам очень ценил „Остров Сахалин“... Брат Чехова, М. П., говорит, что как то раз Чехов обратился к нему со следующими словами: „А что, Миша, если за эту штуку да мне дадут степень доктора медицины *honoris causa*?“ А Г. И. Россолимо¹, после одного разговора с Чеховым, где он, в случае получения им степени доктора медицины, выражал желание взять приват-доцентуру по кафедре частной патологии и терапии, обратился с таким запросом к некоторым медицинским профессорами, но без всякого успеха...²

(М. Членов. «А. П. Чехов и медицина». «Русск. Вед.», 1904, № 91).

1 Григорий Иванович Россолимо—московский врач.

2 О значении «Острова Сахалина» для науки, д-р М. Членов говорит следующее: «Остров Сахалин» в будущем, когда у нас откроется, наконец, столь необходимая кафедра этнографически-бытовой медицины будет, конечно, служить образцом для произведений этого рода».

...Насчет академической премии митрополита Макария я писал вам, право, в шутку, совсем не рассчитывая, что вы ответите мне так серьезно. Все мои материальные расчеты, о которых вы пишете, уже сведены: я истратил на поездку и на работу столько денег и времени, сколько не получу назад и в 10 лет, а то, что получено давно уже прожито...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1894, 10 янв. П. Т. IV, 280).

Вот уже почти месяц, как я живу в Ялте, в скучнейшей Ялте, в гостинице „Россия“... В общем я здоров, болен в некоторых частностях. Например, кашель, перебои сердца, геморрой. Как то перебои сердца у меня продолжались 6 дней непрерывно, и ощущение все время было отвратительное. После того, как я совершенно бросил курить, у меня уже не бывает мрачного и тревожного настроения. Быть может оттого, что я не курю, Толстовская мораль перестала меня трогать, в глубине души я отношусь к ней недружелюбно, и это конечно несправедливо. Во мне течет мужицкая кровь, и меня не удивишь мужицкими добродетелями... Я любил умных людей, нервность, вежливость, остроумие, а к тому, что люди ковыряли мозоли и что их портянки издавали удушливый запах, я относился так же безразлично, как к тому, что барышни по утрам ходят в папильотках. Но Толстовская философия сильно трогала меня, владела мной лет 6—7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и вероятно гипнотизм своего

рода. Теперь же во мне что то протестует; расчетливость и справедливость говсрят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в „за и против“, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от поста.

Рассуждения всякие мне надоели... Лихорадящим больным есть не хочется, но чего то хочется и они это свое неопределенное желание выражают так „чего нибудь кисленького“. Так и мне хочется чего то кисленького. И это не случайно, так как точно такое же настроение я замечаю кругом. Похоже, будто все были влюблены, разлюбили теперь и ищут новых увлечений. Очень возможно и очень похоже на то, что русские люди опять переживут увлечение естественными науками и опять материалистическое движение будет модным. Естественные науки делают теперь чудеса, и они могут двинуться, как Мамай, на публику и покорить ее своею массою, грандиозностью...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта. 1884, 27 марта П. Т. IV, 292—294).

Я в Ялте и мне скучно, даже весьма скучно... Ни на одну минуту меня не покидает мысль, что я должен, обязан писать. Писать, писать и писать. Я того мнения, что истинное счастье невозможно без праздности... Для меня высшее

наслаждение—ходить или сидеть и ничего не делать; любимое мое занятие—собирать то, что не нужно (листки, солому и проч.) и делать бесполезное.¹ Между тем я литератор и должен писать даже здесь, в Ялте... Я до такой степени измочалился постоянными мыслями об обязательной, неизбежной работе, что вот уже неделя, как меня безостановочно мучают перебои сердца. Отвратительное ощущение...

(А. П. Чехов—Л. С. Мизиновой. Ялта. 1894, 27 марта. П. Т. IV, 297—298).

...Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уж почему то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее

¹ «Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие, только то, что не нужно». («Записн. княги А. П. Чехова». Гос. Акад. Худ. Наук. М. 1927, стр. 47).

запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончив работу, бегу в театр, или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан-нет, в голове уже ворочается тяжелов чугунное ядро—новый сюжет, и уже тянет к столу и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною, как со здоровым? „Что пописываете? Чем нас подарите?“ Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение—все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот вот, подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом...

Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... А публика читает: „Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого“, или „Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше“. И так до гробовой доски все будет мило и талантливо, мило и талантливо—больше ничего.

Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя, как писателя. Хуже всего, что я в каком то чаду и часто не понимаю, что я пишу...

Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч. и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов, чувствую, что умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив и фальшив до мозга костей...

(А. П. Чехов. «Чайка». Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 140—142).

На днях едва не упал, и мне минуту казалось, что я умираю: хожу с соседом князем по аллее, разговариваю—вдруг в груди что то обрывается, чувство теплоты и тесноты, в ушах шум, я вспоминаю, что у меня подолгу бывают перебои сердца—значит, не даром, думаю; быстро иду к террасе, на которой сидят гости, и одна мысль: как то неловко падать и умирать при чужих. Но вот вошел к себе в спальню, выпил воды и очнулся...

Начинаю строить хорошенький флигель...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1894, 21 апр. П. Т. IV, 307).

Лето того же года было в Мелихове особенно многолюдно. Антона Павловича посещали не только его близкие знакомые, но приезжали люди, с которыми он не искал и не желал

знакомства. Дом был битком набит людьми. Спали на диванах и по несколько человек во всех комнатах. Ночевали даже в сенях. Писатели, девицы-почитательницы, земские деятели, какие то дальние родственники с сынишками... Все эти люди, как в калейдоскопе, проходили сквозь Мелихово чередой. Антон Павлович при этом был центром, вокруг которого сосредоточивалось все внимание: его искали, интервьюировали, каждое его слово ловилось на лету...

Постоянное многолюдство само собой повлекло необходимость в лишнем помещении... Антон Павлович и раньше подумывал о постройке отдельного хутора... Но это не осуществилось. Вместо хутора начались постройки в самой усадьбе... Появились... баня, амбар и, наконец,—мечта Антона Павловича—флигель. Это был маленький домик в три крошечных комнатки, в одной из которых с трудом вмещалась кровать, а в другой—письменный стол. Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него и сам, и там впоследствии написал свою „Чайку“. Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников и, чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблочный сад. Весною, когда цвели вишни и яблони, в этом флигельке было приятно пожить; а зимою его так заносило снегом, что к нему прокапывались траншеи, чуть не в рост человека...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», 114—116).

Он обнаруживал усиленную деятельность в своих палестинах, как врач бессеребренник

и как попечитель школы, и в то же время очень много писал, несмотря на то, что гости буквально одолевали его и отнимали драгоценное время, которое, как я узнал случайно, он наверстывал в ущерб своему здоровью. Беседуя с ним однажды в его спальне, я любопытно-испытывал узнать, зачем у него перед кроватью стоит такой огромный стол вместо маленького ночного.

— Пишу иногда по ночам,—сознался он неохотно.

Покашливал он уже чаще и сильнее...

(Ал. Чехов (А. Седой). «В Мелихове». «Нива», 1911 г., № 26, стр. 206).

Я обыкновенно ездила в Мелихово или осенью, или зимой, или ранней весной, не пугаясь распутицы... Благодаря этому я обычно попадала туда, когда гостей не было. Летом их наезжало столько, что иногда укладывать было негде, мать Чехова, Евгения Яковлевна, и Марья Павловна с ног сбивались, а Антон Павлович сбегал в крохотный флигелек из дома, чтобы работать без помехи...

Дом у них был одноэтажный, небольшой, очень уютный. Кабинет Антона Павловича, давший идею художнику для декорации „Чайки“,—с тамбуром, чтобы не дуло, с большой тахтой, книжными полками, камином и окнами, в которые весной глядели цветущие яблони, а зимою доходившие до пол-окна сугробы снега; комната Марьи Павловны, комнаты стариков, уютная столовая с висячей лампой, гостиная, проходная, носившая громкое название „Пушкинской“, потому что в ней висел портрет Пушкина—вот почти все. Кухни и людские были отдельно.

Жизнь в Мелихове шла мирно и тихо. Иногда разнообразилась прогулками по окрестностям или поездкой к соседям С., где хозяйка чудесно играла Бетховена. Антон Павлович любил музыку и умел слушать ее. Он много занимался, затворившись у себя в кабинете, работал, но когда отдыхал, то отдыхал от души, и бывал тепло радушен и оживлен...

Помню, как то раз шли мы в усадьбу после дождя, который мы долго переживали в какой то пустой риге, и Чехов, держа мокрый зонтик, сказал: „Вот бы надо написать такой водевиль: переживают двое дождь в пустой риге; шутят, смеются, сушат зонты, объясняются в любви; потом дождь проходит, солнце, и вдруг он умирает от разрыва сердца“.

— Бог с вами!—изумилась я:—Какой же это будет „водевиль“?..

— А за то жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся, и вдруг—хлоп, конец!..

Конечно, „водевиля“ этого он не написал. Как то вытащил он записную книжку, из которой любил нам иногда прочитывать поразившие его фразы, названия станций, имена (в роде „Розалия Аромат“) и сказал:

— Вот, кума, когда будете замужем, непременно так с мужем разговаривайте. Это я слышал, когда из Ялты на пароходе ехал; дама говорила мужу: „Jean, твою птичку укачало!“

Надо было слышать его капризно-детский тон, которым он передразнил эту даму! Я после нашла эту фразу в его рассказе „Ариадна“.¹

¹ Рассказ «Ариадна» был написан в 1895 г.

Вообще много каких то черточек, разбросанных и подмеченных им тогда, встречались мне потом, как старые знакомые. Напр., Варя Э.¹, девушка 22 лет (к которой очень хорошо относился А. П.), поражала нас всех своей забавной в молодой и красивой девушке привычкой: она нюхала табак, как женщины XVIII века. И Чехов свою 22-летнюю Машу в „Чайке“ заставляет нюхать табак.

(Т. Л. Шепкина-Куперник. «В юные годы». «Затерян. произв. и пр.», стр. 228—242).

...А хорошо бы гденибудь в Швейцарии или Тироле нанять комнатку и прожить на одном месте месяца два, наслаждаясь природой, одиночеством и праздностью, которую я очень люблю. Мне хочется за границу, представьте. Недавно я был на выборах и баллотировался в гласные, и эта процедура и обстановка вся показались мне до такой степени серыми и в то же время претенциозными, что захотелось куданибудь подальше, где горизонт видно...²

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1894, 26 июня. П. Т. IV, 818).

Я в Италии, в Милане. Был в Лемберге (Львове)... был в Аббации на берегу Адриатического моря и наблюдал здесь хороший дождь и скуку, в Фиуме, в Триесте. Затем, не говоря дурного слова, был я в Венеции... Ничего больше не остается, как ехать в Геную, где много ко-

¹ В. А. Эберле, певица.

² В течение лета и осени 1984 г. Чехов побывал на Волге, в Сумах (у Линтваревых), в Таганроге (был вызван к умирающему дяде), в Феодосии (у Суворяных) и, наконец, за границей.

раблей и великолепное кладбище... Из Генуи я поеду, вероятно в Ниццу, а из Ниццы прямо домой.

Если увидишь Гольцева, то передай ему, что для Русской Мысли я пишу роман из московской жизни. Лавры Боборыкина не дают мне спать, и я пишу подражание „Перевалу“. Но пусть Гольцев и Лавров не ждут раньше декабря, ибо роман большой, листов 6—8... ¹

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Милан. 1894, 29 сент. П. Т. IV, 328—329).

Я кашляю, кашляю и кашляю. Но самочувствие прекрасное. Заграница удивительно бодрит... Ну-с, что касается литературы, то пишу для „Русской Мысли“ повесть из московской жизни. ² Повесть не маленькая, да и не особенно большая. Работаю кропотливо, и потому едва ли кончу раньше декабря...

(А. П. Чехов—В. А. Гольцеву. Ницца. 1894, 6 окт. П. Т. IV, 332).

В январьской книжке „Русской Мысли“ будет моя повесть: „Три года“. Замысел был один, а вышло что то другое, довольно вялое и не шелковое, как я хотел, а батистовое...

Надоело все одно и то же, хочется про чертей писать, про страшных вулканических женщин, про колдунов, но увь, требуют благонамеренных повестей и рассказов из жизни Иванов Гаврилычей и их супруг...

(А. П. Чехов—Е. М. III. Лопасня. 1894, 24 дек. П. Т. IV, 344).

¹ Речь идет о повести «Три года».—Чехов предполагал написать большой роман, но кончил повестью.

² «Три года».

Январская книжка „Русской Мысли“ была арестована, потом помилована. Из моего рассказа ¹ цензура выкинула строки, относящиеся к религии. Ведь „Русская Мысль“ посылает свои статьи в предварительную цензуру. Это отнимает всякую охоту писать свободно; пишешь и все чувствуешь кость поперек горла...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва. 1895, 19 янв. П. Т. IV, 357).

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

МОТИВЫ «ЧАЙКИ» И ЕЕ СОЗДАНИЕ.—«ДОМ С МЕЗО-
НИНОМ».—«МОЯ ЖИЗНЬ».

(1895—1896 г.г.)

...В поле поют жаворонки, в лесу кричат дрозды. Тепло и весело... Пьесы писать буду, но не скоро. Драмы писать не хочется, а комедии еще не придумал. Пожалуй, засяду осенью за пьесу, если не уеду за границу...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1895, 18 апр. II. Т. IV, 387).

Если то, что вы пишете насчет пьесы серьезно, то я рад и приеду непременно, чтобы вместе ходить на репетиции.¹ Тогда и я напишу пьесу, напишу для вашего кружка, где вы ставили „Ганнеле“² и где быть может поставите меня, буде моя пьеса не будет очень плоха. Я напишу чтонибудь странное. Для казны же и для денег у меня нет охоты писать. Я пока сыт и могу написать пьесу, за которую ничего не получу...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1895, 5 мая II. Т. IV, 388—390).

¹ А. С. Суворин в это время собирался писать пьесу.

² Литературно-художественный кружок, организованный А. С. Сувориным. Первой постановкой была пьеса Г. Гауптмана «Ганнеле».

Я не знаю в точности, откуда у Антона Павловича появился сюжет для „Чайки“, но вот известные мне детали. Где то на Рыбинско-Бологовской жел. дороге, в чьей то богатой усадьбе, жил на даче художник Левитан. Он завел там какой то очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться. Он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Павлович был врачом и другом Левитана и желая не разглашать своих тайн, телеграфировали срочно писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана. Антон Павлович собрался и поехал. Что было там, я не знаю, но Антон Павлович потом сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же, при объяснении с дамами, с себя сорвал и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Антоном Павловичем в „Чайке“... Одна известная нам, Чеховым, дама сообщала точно такой же эпизод с убитой чайкой, в котором она называла себя героиней этого мотива.¹ Но это—не-

¹ Повидимому, Мих. Павл. Чехов намекает здесь на С. П. Кувшинникову, героиню Чеховской «Попрыгуньи», воспоминания котор. мы приводим ниже. Эти воспоминания А. А. Измайлов в своем биогр. очерке («Чехов.—Жизнь.—Личность.—Творчество», М. 1916 г.) ошибочно приписывает М. П. Чеховой. Тот же мотив подстреленной птицы встречается и в письме А. П. Чехова к А. С. Суворину, от 8 апр. 1892 г.: «У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закры-

правда. Я ручаюсь за правильность того, что пишу о Левитане...

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», 121—122).

Однажды рано утром мы собрались на охоту в заречные луга. В ожидании лодки, которая должна была нас перевезти за Волгу, я приютилась на заваленке у прибрежной избушки, а Левитан с ружьем под мышкой рассеянно шагал по безлюдному берегу. Над рекой и над нами плавно кружили чайки. Вдруг Левитан вскинул ружье, грянул выстрел, и бедная белая птица, кувыркнувшись в воздухе, безжизненным комком шлепнулась на прибрежный песок. Меня ужасно рассердила эта бессмысленная жестокость, и я накинулась на Левитана. Он сначала растерялся, а потом тоже расстроился.

— Да, да, это гадко. Я сам не знаю, зачем я это сделал. Это подло и гадко. Бросаю мой скверный поступок к вашим ногам и клянусь, что ничего подобного никогда больше не сделаю.—И он в самом деле бросил чайку мне под ноги...

Мало по малу эпизод с чайкой и был забыт, хотя, кто знает, быть может, Левитан рассказал о нем Чехову и Антон Павлович припомнил его, когда писал свою „Чайку“...

(С. П. Кувшинникова. Воспоминания о Левитане. С. Глаголь и И. Грабарь. «И. И. Левитан». Изд. Кнебель, стр. 53—54).

вает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой по ложу...» Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым любимым созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать...»

В воспоминаниях Мелихова хранятся очень оживленные дни и вечера, с непрерывными шутками, пением, художественными эскизами и прогулками. А когда такие развлечения исчерпывались, играли в лото...

Благодаря озеру и саду, в лунные ночи и закатные вечера Мелихово было красиво и волновало фантазию. Здесь Чехов писал „Чайку“ и много подробностей в „Чайке“ навеяно обстановкой Мелихова. По крайней мере, я не могу отделаться от впечатления, что сцена, которую устраивает Треплев, пришла от этой аллеи, ведущей к озеру,—и „в доме играют“ и „красная луна“ и лото—в четвертом действии...

(Вл. И. Немирович-Данченко. «Гостеприимство Чехова». «Солиде России», 1914 г., № 228—25).

Можете себе представить, пишу пьесу, которую кончу тоже вероятно не раньше, как в конце ноября. Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены. Комедия, три женских роли, шесть мужских, четыре акта, пейзаж (вид на озеро); много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви...

Моя пьеса подвигается вперед, пока все идет плавно, а что будет потом, к концу, не ведаю. В ноябре кончу. Пчельников¹ через Немировича обещал дать мне в январе аванс (буде пьеса сгодится); стало быть есть расчет отложить постановку до будущего сезона. Должно быть

¹ П. М. Пчельников — управляющий московск. конторой Императ. Театров.

от пьесы перебои мои участились, я поздно засыпаю и вообще чувствую себя скверно...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1895, 10 ноября. П. Т. IV, 416).

Пьесу я кончил. Называется она так: „Чайка“. Вышло не ахти. Вообще драматург я неважный...

(А. П. Чехов—Е. М. III. Мелихово. 1895, ноябрь. П. Т. IV, 418).

Ну-с, пьесу я уже кончил. Начал ее forte и кончил pianissimo—вопреки всем правилам драматического искусства. Вышла повесть. Я более недоволен, чем доволен и, читая свою ново-рожденную пьесу, еще раз убеждаюсь, что я совсем не драматург. Действия очень коротки, их четыре. Хотя это еще только остов пьесы, проэкт, который до будущего сезона будет еще изменяться миллион раз, я все таки заказал напечатать 2 экземпляра на Ремингтоне... и один пришлю вам. Только вы никому не давайте читать...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1895, 21 ноября. П. Т. IV, 422).

Пишу маленький рассказ: „Моя невеста“¹. У меня когда то была невеста... Мою невесту звали так: „Мисюсь“. Я ее очень любил. Об этом я пишу.

Пьеса уже в Москве.

Не еду в Москву теперь, потому что, во первых, занят по горло, а во вторых, просто мне туда не хочется...

(А. П. Чехов—Е. М. III. Мелихово. 1895, ноябрь. П. Т. IV, 419).

¹ Напечат. в «Русск. Мысли» 1896 г. под заглавием «Дом с мезонином».

Еще до постановки „Чайки“, когда брат только что ее написал, мы как то устроили чтение. У нас на даче, как сейчас помню, на террасе читал „Чайку“ один знакомый—присяжный поверенный. Помню, мы все пришли в восторг от пьесы. Ее новые, изящные формы казались нам такими интересными, жизненными...

(М. П. Чехова. «Русск. Слово», 1910, № 13).

В синей гостиной у Лидии¹ он читал только что написанную им „Чайку“.

Было много народа, и я смутно помню то впечатление, которое произвела пьеса. Она удивила своей новизной; и тем, кто, как Лидия, признавал только трескуче-эффектные драмы Дюма, Сарду и т. п.,—понравиться не могла... Мне, помню, страшно понравился и взволновал меня монолог Нины, а многие увидели в нем только насмешку (!) над новой литературой. Я, впрочем, не могла объективно отнестись к этой пьесе, так как мне казалось, что героиней ее выведена одна близкая мне девушка, близкая также и А. П., которая в это время переживала тяжелый и печальный роман с одним писателем...

Я помню споры, шум, помню неискреннее восхищение Лидии, и какое то, не то смущенное, не то суровое, лицо Антона Павловича...

(Т. Щепкина-Куперник. «В юные годы». «А. П. Чехов. Затерянные произведения и пр.», стр. 229—230).

...Что касается моей драматургии то мне по-видимому суждено не быть драматургом. Не везет. Но я не унываю, ибо не перестаю писать

¹ Л. Б. Яворская, драматич. артистка.

рассказы—и в этой области чувствую себя дома, а когда пишу пьесу, то испытываю беспокойство, будто кто толкает меня в шею...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Москва, 1895, 13 дек. П. Т. IV, 429).

Сим извещаю вас, что рассказ, который я пишу для „Нивы“, уже подваливает к концу второго листа. Называться он будет, кажется, „Моя женитьба“—наверное еще не могу сказать,—сюжет из жизни провинциальной интеллигенции...

(А. П. Чехов—А. А. Луговому. Лопасня. Моск. губ. 1896, 27 апр. П. Т. IV, 451).

Посылаю вам заказной бандеролью свою повесть. Это не половина, а лишь первая треть. Что успел переписать, то и посылаю. Какое будет название—неизвестно. „Моя женитьба“ мне уже не нравится... Мою рукопись благоволите возвратить мне. Придется исправлять во многом, ибо это еще не повесть, а лишь грубо сколоченный сруб, который я буду еще штукатурить и красить, когда кончу здание ..

(А. П. Чехов—А. А. Луговому. Лопасня. 1896, 16 июня. П. Т. IV, 455—456). x

Последняя глава вышла как будто куцая; в корректуре рассироплю и пошлифую. Финал я всегда делаю в корректуре...

Если же, паче чаяния, в сей раз найдете повесть для Нивы слишком мрачной, нецензурной, одним словом, почему либо неподходящей, то пошлите ее немедленно в редакцию Русской Мысли для передачи мне¹...

¹ Повесть «Моя жизнь» была напечатана в ежемесячн. прилож. к «Ниве» в №№ 10, 11 и 12-ом 1896 г.—В письме к А. С. Суворину (от 8 ноября 1896 г.) Чехов писал: «А что сделала цензура из моей повести! Это ужас, ужас! Конец повести обратился в пустыню»,

Уезжаю я на Кавказ¹. Корректуру присылайте в двух экземплярах — пожалуйста...

(А. П. Чехов—А. А. Луговому. Мелихово. 1896, 10 авг. П. Т. IV, 468—469).

Я телеграфировал вам название повести: „Моя жизнь“. Но это название кажется мне отвратительным, особенно слово „моя“. Не лучше ли будет „В девяностых годах?“ Это в первый раз в жизни я испытываю такое затруднение с названием..

(А. П. Чехов—А. А. Луговому. Феодосия. 1896, 13 сент. П. Т. IV, 472).

17 окт. в Петербурге пойдет моя новая пьеса. Значит 5—6 октября я уже буду в Петербурге.. Пьеса моя пойдет в Александринском театре в юбилейный бенефис. Будет торжественно и шумно. Вот приезжай-ка...

(А. П. Чехов—Г. М. Чехову. Феодосия. 1896, 12 сент. П. Т. IV, 471).

¹ Вторую половину августа и первую половину сентября 1896 г., Чехов провел в Кисловодске, затем на даче Суворина в Феодосии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

НА ПЕРВОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ «ЧАЙКИ» В АЛЕКСАНДРИНСКОМ ТЕАТРЕ.—ПРОВАЛ ПЬЕСЫ.—ПОД СУДОМ «ПИШУЩЕЙ ВРАТИИ».

(1896 г.—Осень и зима)

На четвертую репетицию приехал в театр Антон Павлович Чехов. Ант. Павл. Чехов аккуратно приходя каждый день в театр с И. Н. Потапенко, принимал живое, деятельное участие в репетициях. Он видимо очень волновался, хотя и не хотел этого показать.

То и дело он вставал с своего кресла у суфлерской будки, уходил за кулисы и беседовал то с тем, то с другим из артистов. Чехова коробил всякий фальшивый звук актера, затрепанная, казенная интонация. Несмотря на свою стыдливую деликатность, он нередко останавливал среди сцены актеров и объяснял им значение той или иной фразы, толковал характеры, как они ему представляются, и все время твердил:

— Главное, голубчики, не надо театральности... Просто все надо... Совсем просто... Они все простые, заурядные люди...

В зрительном зале на генеральной репетиции сидела почти вся драматическая труппа, театральные чиновники и их родственники...

Антон Павлович в одном из антрактов обвел глазами сидящую публику и как бы про себя спокойно проговорил:

— Пьеса не понравится... Она не захватывает...

— Что за пустяки!.. Почему вы так думаете?..— протестовал я.

— А вы посмотрите на выражение лиц у публики... Она скучает... Им неинтересно...

(Евтихий Карпов. «История первого представления «Чайки». Сб. «О Чехове», стр. 68—70).

Пока Чайка идет неинтересно. В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злы, мелочны, фальшивы, на улице то весеннее солнце, то туман. Спектакль пойдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное. Деньги на дорогу я пошлю тебе сегодня или завтра, но ехать не советую...

(А. И. Чехов—М. И. Чеховой. СПб. 1896, 12 окт. П. Т. IV, 479).

В день первого представления „Чайки“ на Александринской сцене, я приехала в Петербург. Брат встретил меня на вокзале. Меня тут же на вокзале поразила его угрюмость. На его лице было ясно написано, что все уже потеряно, что ничего для него больше не существует.

— В чем дело?—с тревогой я спросила у брата.

— Не знаю, что мне делать,—отвечал он,—ролей совсем не знают. Меня не слушают и не понимают... Из пьесы ничего не выходит... ¹

(М. П. Чехова «О Чехове». «Русск. Слово», 1910 г., № 13).

¹ По словам Е. П. Карпова, режиссера Александринск. театра,—на постановку «Чайки» пошло всего девять дней. В 1898 г. на подготовку представления той же «Чайки» Московск. Худож. Театр затратил полгода.

Ставилась эта печальная из печальных пьес в бенефис самой веселой комической артистки—Левкеевой, общей любимицы Александринского театра¹. Билеты все были раскуплены мигом, и у кассы висел столь всегда желанный и для авторов и для артистов аншлаг: „билеты все проданы“...

Театр был набит веселой, нарядной, по бенефисному одетой публикой с верху до низу. Поднялся занавес, в зрительном зале сделали мрак, и только тогда к нам в ложу вошел Антон Павлович. Он сел сзади меня...

Начало прошло хорошо, спокойно. Аплодисментами, как всегда встретили Коммиссаржевскую². Но вот начала она читать проникновенным своим голосом в глубине сцены свой знаменитый монолог: „Люди, орлы, львы, рогатые олени...“ и т. д. Внизу, как раз под нашей ложей, раздался какой то дурацкий смех... Смех раздался и в другом месте и стал усиливаться. Поднялся шум. Коммиссаржевская все продолжала, но с каждым мгновением—все труднее было слушать ее; в театре начался какой то хаос: одни смеялись, другие шикали, чтобы остановить этот шум, и получился форменный кавардак. Несчастный автор до окончания ушел из ложи, в антракте кто вызывал автора, кто шикал, актеры выходили с изумленными лицами, ничего не понимая, в чем дело, да и публика шумела, тоже, кажется, ничего не понимая. Один сплошной ужас!

¹ Левкеева в «Чайке» не выступала, а играла в водевили.

² В. Ф. Коммиссаржевская играла в «Чайке» роль Нины Заречной.

Второй акт прошел, сколько я помню, лучше, т. е. спокойнее. Антон Павлович сидел напротив нашей ложи, и я часто наводила свой бинокль на него, и часто мой бинокль встречал его взгляд, направленный в нашу сторону. В третьем акте опять началась какая то кутерьма. Чехов сидел опять в нашей ложе, но, не дождавшись окончания акта, вышел из нее, и я увидела его только после полутора, кажется, месяцев! Я не буду описывать окончания спектакля... Я только хочу сказать, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком ужасе. Подумать только, что должен был испытать сам автор! Муж мой волновался, выходил из себя, бегал на сцену, злился на всех, актеры тоже совершенно растерялись и едва находили себя...

Когда занавес опустился, Антона Павловича уже не было в театре. Дома его тоже не было. Скоро к нам начали звонить по телефону, спрашивая,—где Чехов? Муж мой телефонировал всюду, где только мог быть Чехов. Никто и нигде не находил его. Было уже поздно...

Утром мне сказали, что Антон Павлович пришел совсем поздно и с первым утренним ранним поездом уехал в Москву. Муж мне рассказал, что он к нему все таки пошел и что когда захотел зажечь электричество, Антон Павлович закричал: „Умоляю не зажигать! Я никого не хочу видеть и одно только вам скажу: пусть меня назовут... (он сказал при этом очень суровое слово),—если я когданибудь напишу еще чтонибудь для сцены...”

(А. И. Суворина. Воспоминания о Чехове.
«А. П. Чехов. Затеряя. произведения и пр.»,
стр. 192—194).

17 окт.—В Александринском театре шла моя „Чайка“. Успеха не имела.

(Из дневника А. П. Чехова. П. Т. IV, 526).

17 октября (1896 г.).—Сегодня „Чайка“ в Александринском театре. Пьеса не имела успеха. Публика невнимательная, не слушающая, разговаривающая, скучающая. Я давно не видел такого представления. Чехов был удручен. В первом часу ночи приехала к нам его сестра, спрашивала, где он. Она беспокоилась. Мы послали к театру, к Потапенко, к Левкеевой (у нее собирались артисты на ужин). Нигде его не было. Он пришел в 2 часа. Я пошел к нему, спрашиваю:

— „Где вы были?“

— „Я ходил по улицам, сидел. Не мог же я плюнуть на это представление. Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача“.

Завтра в 3 часа хочет ехать. „Пожалуйста, не останавливайте меня. Я не могу слушать все эти разговоры“. Вчера еще на генеральной репетиции он беспокоился о пьесе и хотел, чтобы она не шла. Он был очень недоволен исполнением. Оно было, действительно, сильно посредственное. Но и в пьесе есть недостатки: мало действия, мало развиты интересные по своему драматизму сцены и много дано места мелочам жизни, рисовке характеров неважных, неинтересных. Режиссер Карпов показал себя человеком торопливым, бесвкусным, плохо овладевшим пьесой и плохо репетировавшим ее. Чехов самолюбив, и когда я высказывал ему свои впечат-

ления, он выслушивал их нетерпеливо. Пережить этот неуспех без глубокого волнения он не мог. Очень жалею, что я не пошел на репетиции. Но едва ли я мог чем-нибудь помочь. Я убежден был в успехе и даже заранее написал заметку о полном успехе пьесы. Пришлось все переделать. Писал о пьесе, желая сказать о ней все то хорошее, что я о ней думал, когда читал.

Если бы Чехов поработал над пьесой более, она могла бы и на сцене иметь успех. Мне думается, что в Москве ее сыграют лучше. Здешняя публика не поняла ее. Мережковский, встретив меня в коридоре театра, заговорил, что она не умна, ибо первое качество ума—ясность. Я дал ему понять довольно неделикатно, что у него этой ясности никогда не было.

(А. С. Оуворин. Дневник. Изд. Френкель, М.—П. 1923, стр. 125).

Что же такое случилось?

А вот возьмите наудачу любую из петербургских газет, вышедших на другой день юбилейного бенефиса Левкеевой...

„Вчерашнее юбилейное торжество омрачено было беспрецедентным скандалом. Такого головокружительного падения пьесы мы не запомним...“ — читаю в одной газете.

Разворачиваю другую: „Давно не приходилось присутствовать при таком полном провале“.

Быть может, еще хотите взглянуть третью?

„Чехова „Чайка“ погибла: ее убило единоголосное шиканье всей публики. Точно миллионы пчел, ос и шмелей наполнили воздух зрительной залы — до того сильно и ядовито было шипенье“..

Чего тут только нет? „Птичья пьеса“, „Нелепица в лицах“, „кляуза на живых людей“, „экземпляр для театральной кунсткамеры“ и т. п...

Для Чехова обида была тем чувствительнее, что именно „Чайка“—одно из субъективнейших произведений этого на редкость объективного русского писателя...

(Ив. Щеглов. «Из воспомин. об Ант. Чехове». «Нива» (Ежемесячн. приложение). 1905 г. № 6, стр. 251—252).

... Это было какое то издевательство над автором и артистами, какое то неистовое злорадство некоторой части публики, словно зрительный зал переполнен был на добрую половину злейшими врагами г. Чехова... Неистовство публики росло с каждым актом: она, очевидно, вошла во вкус. Особенно злорадствовали строгие ценители и судьи из „пишущей братии“. Тут сводились личные счеты... Да странно все это, если вспомнить, что г. Чехов—один из любимейших современных писателей. Что за неуважение к авторской личности, что за неблагодарность! Мало ли ставилось неудачных пьес (и в тысячу раз более неудачных, чем „Чайка“), так почему же неудаче г. Чехова был придан характер какого то торжества?... Пресса набросилась на „Чайку“ и ее автора с завидным усердием; дошло до того, что стали отрицать какой бы то ни было талант у г. Чехова, писали, что это раздутая величина, создание услужливых друзей и все в том же роде... Злорадство некоторых критиков доходило прямо до цинизма. Они не только осмеивали и поносили новое произведение г. Чехова, но в своем усердии,

восторгались поведением публики и усматривали в таком поведении... голос истинных ценителей и глубокое понимание интеллигентных зрителей!..

(С. Т. «Петербургские письма». «Театрал», 1898, № 95, стр. 76—77).

Я не знаю, не помню, когда г. Чехов стал большим талантом, но для меня несомненно, что произведен он в этот литературный чин заведомо фальшиво. Когда говорят, напр., о Короленко, то вспоминают, что он написал „Сон Макара“, „Лес шумит“ и пр. При имени же Чехова никто ничего не может назвать—„Чехов“? „О, да это талантливый писатель“. Но, спросите, в чем наиболее ярко и глубоко проявился его талант, и вы сплошь и рядом поставите своего собеседника в затруднение: „В чем?—вот, например... да мало ли? Целый ряд рассказов“, Каких?

Здесь то и определяется сила и значение „большого таланта“ г. Чехова, его несомненно читают и сейчас же забывают прочитанное, не только так сказать, по существу, но и по именам. „Прочитали-позабыли“.

Несчастье г. Чехова, однако, не в этом, потому что хотя бы и маленькое дарованьице все же скорей счастье; беда в том, что г. Чехов уверовал в свой, созданный услужливой фальшью, „большой талант“, и начал пытаться произвести нечто оригинальное, необычное. Пьеса „Чайка“, прежде всего и производит впечатление какой то творческой беспомощности, литературного бесилия лягушки раздуться в вола. Вы чувствуете и сознаете, что автор что то хочет, что именно—

он сам не знает,—но решительно не может совершить. И все усилия, все это напряжение маленького-маленького творчества кажутся жалкими до болезненности; от всех нелепостей неестественности, выдуманности драмы веет чем то несомненно болезненным...

Если действительно принять чеховское произведение, как нечто положительное имеющее определенно сознанные цели и задачи, то получается невероятно мрачная и ужасная картина общественных нравов. В сущности между всеми действующими лицами драмы есть одна главная преобладающая связь—разврат...

Все живут и действуют во имя и ради разврата... Сводничество, обольщение, обман, „содержанство“, чувственность, похоть, вот элементы, которые наполняют действующих лиц, создают их взаимные отношения, завязывают и решают пьесу. Ни одного не только светлого, но сколько нибудь чистого образа!

Если бывают дикие чайки, то это просто дикая пьеса и не в идейном отношении только; в сценически-литературном смысле в ней все первобытно, примитивно, уродливо и нелепо. Мне кажется, что г. Чехов ведет свою творческую работу именно по репортерски, потому что истинный художник писатель не стал бы создавать героини из девицы „пьющей водку и нюхающей табак“¹.

(Рецензия Селиванова в «Новостях», № 289. См. перепечатку в книге Ю. Соболев. «Ант. Чехов. Неиздан. страницы», стр. 99—101).

¹ Приводим здесь рецензию Селиванова, как одну из типичнейших для петербургской прессы тех дней, как характерный образец той «отравы», о которой ниже говорит Чехов. А. О. Суворин писал («Нов. Время», 19 окт. 1896 г.)—

... Чехов писал письма ¹. Чемодан его был уже уложен.

— Вот отлично, что пришел,—сказал Антон Павлович,—по крайней мере проводишь. Тебе я могу доставить это удовольствие, так как ты не принадлежишь к очевидцам моего вчерашнего триумфа... Очевидцев я сегодня не желаю видеть... Завтра я буду в Мелихове. Вот блаженство! Ни актеров, ни режиссеров, ни публики, ни газет. А у тебя хороший нюх.

— А что?

— Я хотел сказать: чувство самосохранения. Вчера не пришел в театр. Мне тоже не следовало ходить. Если бы ты видел физиономии актеров! Они смотрели на меня так, словно я обокрал их, и обходили меня за сто саженей. Ну, идем...

Взяли извозчика и поехали на Николаевский вокзал. Тут Антон Павлович уже шутил, посмеивался над собой, смешил себя и меня.

На дебаркадере ходил газетчик, подошел к нам, предложил газет. Антон Павлович отверг,—не читаю! Потом обратился ко мне:

— Посмотри, какое у него добродушное лицо, а между тем руки его полны отравы. В каждой газете по рецензии...

«Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов. Не имела успеха комедия самого даровитого русского писателя из молодежи... Радость поднимается до восторга и лжи... О, сочинители и судьи! Кто вы! Какие ваши имена и ваши заслуги? По моему, Чехов может спать спокойно и работать. Все эти восторженные глапатаи его спенического неуспеха,—неужели это судьи? Он останется в русской литературе со своим ярким талантом, а они пожужжат и исчезнут...»

¹ Чехов накануне отъезда написал письма А. С. Суворину, сестре и брату Мих. Павл. А. С. Суворину он писал: «Никогда я не буду писать пьес, ни ставить».

— Кончено,—говорил он перед самым отъездом, уже стоя на площадке вагона.—Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело...

(И. Потапенко. «Несколько лет с А. П. Чеховым». «Нива», 1914 г., № 27, стр. 555).

Утром я так и не видела его; он уехал в деревню с первым поездом. Когда я приехала домой, первые его слова, обращенные ко мне были:

— Ни слова о пьесе!

Тогда я поклялась самой себе, что ни один театр не увидит больше ни одной его пьесы...

(М. П. Чехова. «О Чехове». «Русск. Слово», 1910 г., № 13).

Я уехал не простившись. Вы сердитесь? Дело в том, что после спектакля мои друзья были очень взволнованы; кто то во втором часу ночи искал меня на квартире Потапенки; искали на Николаевском вокзале, а на другой день стали ходить ко мне с девяти часов утра, и я каждую минуту ждал, что придет Давыдов с советами и с выражением сочувствия. Это трогательно, но нестерпимо. К тому же у меня заранее было предрешено, что я уеду на другой день независимо от успеха или неуспеха. Шум славы ошеломляет меня, я и после „Иванова“ уехал на другой день. Одним словом у меня было непреодолимое стремление к бегству, а спуститься вниз, чтобы проститься с вами было бы нельзя без того, чтобы не поддаться обаянию вашего радушия и не остаться...

(А. П. Чехов—А. И. Сувориной. Мелихово. 1896, 19 окт. «А. П. Чехов. Затерян. произвед. и проч.», стр. 196).

В вашем последнем письме (от 18 окт.) вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я трусил. Зачем такая диффамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь-честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, ни издав ни одного жалобного звука. Если бы я трусил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки, и жил бы в Петербурге недели две три, ходя на свою Чайку, волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь... Когда вы были ночью у меня после спектакля, то ведь вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от вас письмо, в котором вы простились со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось: я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал вас с полной искренностью.

Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой—и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения, и не боюсь, что ко мне приедут Давыдов и Жан¹ говорить о пьесе. С вашими поправками я согласен—благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять, сквозь

1 «Жан»—И. Л. Щеглов.

отвратительную игру совсем не видно было пьесы.

Получил телеграмму от Потапенко: успех колоссальный¹. Получил письмо от незнакомой мне Веселитской (Микулич)², которая выражает свое сочувствие таким тоном, как будто у меня в семье кто нибудь умер—это уж совсем некстати. А впрочем все это пустяки...

(А. П. Чехов—А. О. Суворину. Мелихово. 1896, 22 окт. П. Т. IV, 486—487).

21 октября „Чайка“ шла во второй раз, со сделанными А. С. Сувориным и мной небольшими купюрами и измененными ремарками. Театр переполнен. Публика (не бенефисная) с полным вниманием слушала пьесу. „Чайка“ имела выдающийся успех, но... было поздно.

Все газеты оповестили уже о провале „Чайки“ на первом представлении в Александринском театре.

Пьеса прошла пять раз при полных сборах и при неослабном успехе. Она была снята с репертуара дирекцией театров, несмотря на мой энергичный протест.

(Евтихий Карпов. «История первого представления» «Чайки». Сб. «О Чехове». стр. 67—74).

На „базаре“ в Городской Думе в пользу Высших женских курсов, я встретил В. Ф. Коммиссаржевскую... Мы разговорились о драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли замечательную артистку, и она советовала мне притти на первое представление новой пьесы Чехова „Чайка“, намечающей иные

1 На втором представлении «Чайки».

2 Л. И. Веселитская — писательница, выступавшая под псевдонимом Микулич.

пути для драмы. Я последовал ее совету и видел это тонкое произведение, рисующее новые творческие задачи для „комнаты с трех стен“, как называет в нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем осуществление мысли автора о том, что художественные произведения должны отзываться на какую-нибудь большую мысль, так как лишь то прекрасно, что серьезно... Сверх всякого ожидания, на первом представлении образ подстреленной „Чайки“ прошел мимо зрителей, оставив их равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось в течение всего представления, выражаясь в коридорах и в фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и сожалениями о потерянном времени и обманутом ожидании. Такое отношение публики, повидимому, отражалось и на артистах. Тот подъем с которым прошли на сцене два первых действия, видимо, ослабел, и „Чайка“ была доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья, совершенно заглушившего немногие знаки сочувствия и одобрения.

Я вернулся домой в негодовании на публику за ее непонимание прекрасного произведения и в грустном раздумьи о том, как это отразится на авторе. Мне ясно представлялось, какие ощущения он должен был пережить, если был в театре или, если отсутствовал, что перечувствовать, когда „друзья“ (как известно, это одна из их специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью) донесут ему о давно не-

слыханном провале его пьесы. Мне хотелось сказать ему несколько одобрительных слов и показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно ополчилась на его творение, и что в ней, вероятно, есть немало людей, оценивших его талант и в „Чайке“. Мне вспомнился при этом Глинка, которого восторженно приветствовали после первого представления „Жизни за царя“ и в театре, и в печати... А на первом представлении „Руслана и Людмилы“ не только публика демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты, исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору... Вспомнился мне и рассказ о свистках и о ропоте публики, которыми сопровождалось первое представление оперы Бизе „Кармен“, что тяжело отразилось на сердечной болезни талантливой автора и свело его через три месяца в могилу. А каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь, говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в нескольких газетах рецензии на „Чайку“, с прямым злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отправить мое письмо. Через несколько дней я получил следующий ответ: „Вы не можете себе представить, как обрадовало меня ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что „Чайка“ проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом

отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и пр., и пр. Можете себе вообразить мое положение—это был провал, какой мне даже и не снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный всяких сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я потерял всякую чуткость и что, значит, моя машинка испортилась в конец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-ое и 3-е представление имели успех; пришло несколько писем с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал их с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то значит дела мои плохи. Но ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я вас знаю уже давно, глубоко уважаю вас и верю вам больше, чем всем критикам взятым вместе—вы это чувствовали, когда писали ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения... Позвольте поблагодарить вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участия, которое вы в конце вашего письма называете „ненужным“, я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло...“¹

(А. Ф. Кони. Воспоминания о Чехове, «Атеней». 1925. Стр. 17—20).

¹ Письмо А. П. Чехова к А. Ф. Кони от 11 ноября 1896 г.

Да, моя „Чайка“ имела в Петербурге, в первом представлении, громадный неуспех. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, и я—по законам физики—вылетел из Петербурга, как бомба. Во всем виноваты ты и Сумбатов, так как подбили меня написать пьесу... Здоровье мое ничего себе, настроение тоже. Но боюсь, что настроение скоро будет опять скверное: Лавров и Гольцев настояли на том, чтобы „Чайка“ печаталась в „Русской Мысли“—и теперь начнет хлестать меня литературная критика. А это противно, точно осенью в лужу лезешь...

(А. П. Чехов—Вл. Немировичу-Данченко. Мелихово. 1896, 20 ноября. П. Т. IV, 505—506).

„Чайка“ будет напечатана в декабр. „Русской Мысли“. Так захотели редакторы. Поэтому типография может не спешить с набором ¹. Пусть сначала наберет пьесу „Дядя Ваня“. Нельзя ли ее набрать всю? Когда прочтешь ее всю, то легче исправлять и можно решить, годится ли она для того, чтобы переделать ее в повесть. Ах, зачем я писал пьесы, а не повести! Пропали сюжеты, пропали зря, со скандалом, непроизводительно.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1896, 7 дек. П. Т. IV, 517).

Душа моя точно луженая, я не чувствую к своим пьесам ничего, кроме отвращения и через силу читаю корректуру. Вы опять скажете, что это неумно, глупо, что это самолюбие, гордость и проч., и проч. Знаю, но что же делать?

¹ В это время в издательстве Суворина печатался сборник пьес Чехова.

Я рад бы избавиться от глупого чувства, но не могу и не могу. Виногато в этом не то, что моя пьеса провалилась: ведь в большинстве мои пьесы проваливались и ранее, и всякий раз с меня, как с гуся вода. 17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно:—те, с кем я до 17-го октября дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копыя (как например Я.)—все эти имели странное выражение, ужасно странное... Одним словом, произошло то, что дало повод Лейкину выразить в письме соболезнование, что у меня так мало друзей, а „Неделе“ вопрошать: „что сделал им Чехов“, а „Театралу“ поместить целую корреспонденцию (95 №), о том, будто пишущая братия устроила мне в театре скандал. Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как бы не мог забыть, если бы, например, меня ударили...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1896, 14 дек. II. Т. IV, 518—519).

... Я не забыл о том, что обещал Анне Ивановне ¹ посвятить „Чайку“, но воздержался от посвящения умышленно. С этой пьесой у меня связано одно из неприятнейших воспоминаний, она отвратительна мне, и посвящение ее не вяжется ни с чем и представляется мне просто бестактным...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1897. 4 янв. II. Т. IV, 2).

1 А. И. Суворина.

11 февраля (1897 г.) Был у Л. Н. Толстого, который не был в Петербурге 20 лет... О „Чайке“ Чехова Л. Н. сказал, что это вздор, ничего не стоящий, что она написана, как Ибсен пишет:

— „Нагорожено чего то, а для чего оно, неизвестно. А Европа кричит: „превосходно“. Чехов самый талантливый из всех, но „Чайка“ очень плоха“.

— „Чехов умер бы, еслиб ему сказать, что вы так думаете. Вы не говорите ему этого“.

— „Я ему скажу, но мягко, и удивлюсь, если он огорчится. У всякого есть слабые вещи“...

О „Чайке“ еще говорил Толстой:

— „Литераторов не следует выставлять: нас очень мало и нами не интересуются“. Лучшее в пьесе—монолог писателя,—это автобиографич. черты, но их можно было написать отдельно или в письме; в драме они ни к селу, ни к городу. В „Моей жизни“ у Чехова герой читает столяру Островского, и столяр говорит: „Все может быть, все может быть“. Если б этому столяру прочесть „Чайку“, он не сказал бы: „все может быть“.

(А. О. Суворин. Дневник, стр. 147).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ГОД В МЕЛИХОВЕ.—«МУЖИКИ».—В КЛИ-
НИКЕ ОСТРОУМОВА И ПО ВЫХОДЕ ИЗ НЕЕ.

(1897 г.)

У нас перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, отвратительные аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы—и впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра хожу по избам, с непривычки стучаюсь головой о притолки и как нарочно голова трещит адски; и мигрень и инфлуэнца...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1897, 11 янв. П. Т. V, 6—7).

Антон Павлович принял деятельное участие в народной переписи. Он по опыту знал, насколько это дело сближает человека с народом. Ему принадлежала перепись всего населения острова Сахалина, произведенная им по своему почину и своими собственными средствами в 1890 году. Теперь он участвовал в переписи вновь. Он изучил мужицкую жизнь во всех ее проявлениях, он близко сошелся со всеми своими соседями мужиками, которым он и до этого всегда готов был дать добрый совет и как

врач и как человек, и эти пять лет „Мелиховского сидения“ не прошли для Антона Павловича даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, они повлияли на его литературную деятельность и сделали его писателем еще более глубоким и серьезным. Это влияние Мелихова признавал он и сам... В то же время Антона Павловича не оставляли заботы о народном образовании. Он затеял постройку школ. Нужны были средства, их не было,—и Антону Павловичу пришлось их изыскивать. Он собирал пожертвования, устроил в Серпухове спектакль, но конечно, главным образом, производил расходы из своего кошелька... В то же время он был занят заботами о таганрогской библиотеке¹, лечил крестьян, хлопотал о проведении дорог и проч... В феврале того же года Антона Павловича захватил целиком проект устройства в Москве Народного Дома. Тогда о народных домах не было еще и помина... Все эти заботы однако же не отвлекали писателя от литературной работы. В этом же месяце он написал свою повесть „Мужики“, на которую было обращено внимание всего русского общества и которая была потом переведена на многие иностранные языки...²

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 128—132).

¹ Чехов в течение многих лет заботился о пополнении таганрогской городской библиотеки, частью приобретая для нее книги на свой счет, частью жертвуя, подаренные ему авторами и издательствами.

² О впечатлении, произведенном «Мужиками» на читателей и критику, интересно пишет В. В. Розанов: «Когда Чехов написал „Мужиков“, то произвел переполох в пе-

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

последний год в мелихове.—«мужики».—в клинике остроумова и по выходе из нее.

(1897 г.)

У нас перепись. Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, отвратительные аляповатые знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы—и впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра хожу по избам, с непривычки стучаюсь головой о притолки и как нарочно голова трещит адски; и мигрень и инфлуэнца...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1897, 11 янв. II. Т. V, 6—7).

Антон Павлович принял деятельное участие в народной переписи. Он по опыту знал, насколько это дело сближает человека с народом. Ему принадлежала перепись всего населения острова Сахалина, произведенная им по своему почину и своими собственными средствами в 1890 году. Теперь он участвовал в переписи вновь. Он изучил мужицкую жизнь во всех ее проявлениях, он близко сошелся со всеми своими соседями мужиками, которым он и до этого всегда готов был дать добрый совет и как

врач и как человек, и эти пять лет „Мелиховского сидения“ не прошли для Антона Павловича даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, они повлияли на его литературную деятельность и сделали его писателем еще более глубоким и серьезным. Это влияние Мелихова признавал он и сам... В то же время Антона Павловича не оставляли заботы о народном образовании. Он затеял постройку школ. Нужны были средства, их не было,—и Антону Павловичу пришлось их изыскивать. Он собирал пожертвования, устроил в Серпухове спектакль, но конечно, главным образом, производил расходы из своего кошелька... В то же время он был занят заботами о таганрогской библиотеке¹, лечил крестьян, хлопотал о проведении дорог и проч... В феврале того же года Антона Павловича захватил целиком проект устройства в Москве Народного Дома. Тогда о народных домах не было еще и помина... Все эти заботы однако же не отвлекали писателя от литературной работы. В этом же месяце он написал свою повесть „Мужики“, на которую было обращено внимание всего русского общества и которая была потом переведена на многие иностранные языки...²

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 128—132).

¹ Чехов в течение многих лет заботился о пополнении таганрогской городской библиотеки, частью приобретая для нее книги на свой счет, частью жертвуя, подаренные ему авторами и издательствами.

² О впечатлении, произведенном «Мужиками» на читателей и критику, интересно пишет В. В. Розанов: «Когда Чехов написал „Мужиков“, то произвел переполох в пе-

На съезде актеров вы вероятно увидите проект громадного народного дома, который мы затеваем. Мы, т. е. представители московской интеллигенции... План готов, устав пишется, и останова теперь за пустяком—нужно $\frac{1}{2}$ миллиона. Будет акционерное общество, но не благотворительное... Я так вошел во вкус проекта, что уже верю в дело...

А мне не везет. Я написал повесть из мужицкой жизни ¹, но говорят, что она нецензурна и что придется сократить ее на половину. Значит опять убытки...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1897, 1 марта. II. Т. V, 20).

С тех пор, как я стал мироедом, у меня не бывает дня свободного. Постройки, поездки и проч. и проч., и кроме того еще в марте предстоит читать корректуру новой повести (которая пойдет в апрельской Русской Мысли), добыть тысячу рублей—для чего вероятно придется зарезать человека, ибо легальные источники

чати... Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Порицать? «Мужики» были явно несимпатичны, между тем, как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиками «симпатией». Не хлебом и чаем, а «симпатией». «Мужики» впрочем повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова без «примера» сказано, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» жгло сердца и оскорбило интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут?..

— Они не любви просят, а хлеба. Работишки, хлеба и земли.

Все было поставлено жестко, экономически...» (В. Розанов. «А. П. Чехов». Юбилейн. Чеховск. Сб. Изд. «Заря», М, 1910, стр. 128—129).

¹ «Мужики».

все иссякли—и кроме всего прочего надо ехать в Петербург... ¹

(А. П. Чехов—П. А. Сергеевко. Мелихово. 1897, 20 марта. П. Т. V, 27—28).

Если шехтелевский проект у тебя, то пришли мне его на одни сутки: нужно показать одному богатому человеку. ²

Вчера со мной случился скандал: только что сел обедать, как из легкого пошла кровь, которую я унял только к утру. И ночевать пришлось не дома...

(А. П. Чехов—В. А. Гольцеву. Москва. 1897, 25 марта. П. Т. V, 29).

24 марта (1897). 20-го выехал в Москву. Остановился в „Славянск. Базаре“... Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда сели за обед в „Эрмитаже“. Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в „Б. Моск.“ гостиницу. Два дня лежал у меня. Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. „Для успокоения больных, мы говорим во время кашля, что он—желудочный, а во время кровотечения, что оно—геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата

¹ В это время Чехов хлопотал о постройке школы в дер. Новоселках, о чем просили его крестьяне. «Земство дает тысячу, мужики собрали 300 и только, а школа обойдется не менее 3 тысяч. Значит опять мне думать все лето о деньгах и урывать их то там, то сям...» Упоминаемая в письме тысяча и нужна была А. П. для этой цели. В Петербург Чехов собирался ехать, чтобы позировать художнику Бразу для портрета, заказанного ему П. М. Третьяковым, владельцем известной картинной галлерей в Москве.

² Проект Народного Дома в Москве, принадлежащий Ф. О. Шехтелю.

и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки“...

26 марта. Вчера встал в 5 часов утра, не уснул ни минуты, написал записку Чехову и сам снес ее в „Б. Моск.“ гостиницу... В 11-м часу пришел доктор Оболенский и сказал, что у Чехова в 6 ч. утра пошла опять кровь горлом, и он отвез его в клинику Остроумова, на Девичьем поле. Надо знать, что 24 утром, когда я еще спал, Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться, он ссылаясь на то, что получено много писем, что со многими ему надо видаться и т. д. Целый день он говорил, устал и припадок к утру повторился. Я дважды был вчера у Чехова, в клинике. Как там ни чисто, а все таки это больница и там больные... Чехов лежит в № 16, на 10 №№ выше, чем его „Палата № 6“, как заметил Оболенский. Больной смеется и шутит по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: „разве река тронулась?“ Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеет ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье? Несколько дней тому назад он говорил мне: „Когда мужика лечишь от чахотки, он говорит:—не поможет. С вешней водой уйду“.

(А. О. Суворин. Дневник, стр. 150—152).

Он лежал в постели на спине, на высоко поднятых подушках. Говорить ему было запрещено... Сидеть мне позволили у него не больше

трех минут. Чтобы не просрочить, я взяла со стола его серебряные часы, но Чехов молча, улыбаясь, отнял их у меня, закрыл и положил обратно.

— Принесите мне завтра из редакции Русской Мысли корректуру¹, спросите у Гольцева,— попросил Чехов.—Придите в четыре часа.

Я испугалась, что он слишком много говорит.

— И еще чтонибудь...—шепотом прибавил Антон Павлович.—Принесите еще чтонибудь...

Я зашла к знакомым и взяла все неизданные рукописные сочинения Л. Н. Толстого, которые оказались налицо. Я знала, как Антон Павлович любит Толстого...

В клинике я узнала, что ему не лучше...

— Вот Толстой... новое... неизданное. Вы сказали „чтонибудь“... Я догадывалась, мучилась...

Он проглядел принесенные рукописи и утомленно закрыл глаза.

— Все читал,—прошептал он.—Я вам очень, очень благодарен. Я вас просил еще чтонибудь... ваше.

Мне стало так больно от благодарности, от измученного выражения его лица, от этой бесконечной доброты, которую я всегда чувствовала в нем, от его желания сказать чтонибудь приятное, когда ему не могло быть дела ни до кого, кроме себя...

(Л. Авилова. «Мои воспоминания» Сб. «О Чехове», стр. 6—9).

Чехов лежал на койке в больничном халате, заложив руки за голову и о чем то думал...

¹ Корректуру «Мужиков».

С боку, вровень с кроватью, помещалась предательская жестяная посуда, прикрытая чистым полотенцем, куда А. П. изредка откашливался. С другой стороны—столик и на нем пачка писем, чья то толстая рукопись и вазочка с букетом живых цветов...

— Ну, что Антуан, как дела?

— Да, что Жан, — плохиссимо! Зачислен в инвалидную команду... Впрочем медикусы утешают, что я еще долгонько протяну, если буду блюсти инвалидный устав...

Чтобы переменить разговор, я обратил внимание на толстую тетрадь, лежавшую на столике...

— Ах, это? Это один юноша мне всучил. Начинающий писатель—усиленно просил проштудировать... Поди, думает, не весть какая сладость быть русским писателем!—Чехов вздохнул и показал глазами на пачку писем:—один ли он тут!

„Ну люди,—подумал я про себя,—даже в госпитале больному человеку не дадут покоя!“...

— А знаете ли, кто у меня здесь вчера был?—неожиданно с видимым удовольствием вставил Чехов.—Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой! ¹

Я невольно разволновался.

— Вот интересно, о чем вы с ним разговаривали?..

¹ Чехов познакомился с Л. Н. Толстым в августе 1896 г. Ездил к нему в Ясную Поляну, и провел там полтора дня.

— Говорили мы с ним немного, так как много говорить мне запрещено; да и потом... при всем моем глубоком почтении к Льву Николаевичу, я во многом с ним не схожусь... во многом!—подчеркнул он и закашлялся от видного волнения...

Я поднялся и стал прощаться. Он проводил меня в коридор...

— А ведь знаете, я почти привык здесь. Здесь так удобно думать.

(И. Щеглов. «Из воспомин. об. Ант Чехове». «Нива» (ежемес. прилож.). 1905 г., стр. 394).

Надо думать, что туберкулез у него развился на почве врожденной слабости организации, вследствие сильного переутомления и сидячего образа жизни (при этом в недостаточно благоприятном помещении), связанного с усиленным литературным трудом во время его ранней молодости, когда происходило окончательное формирование организма... Н. И. Коробов¹ категорически утверждает, что кровохарканье у Чехова наблюдалось уже вскоре по окончании университета... Особенно сильное кровохарканье было у Чехова в 1897 году, когда он печатал своих „Мужиков“ и когда его пришлось положить в клинику проф. Остроумова. Тогда он был действительно опасно болен... Тогда же, между прочим, к нему в клинику приходил Л. Н. Толстой. Об этом посещении Чехов, со свойственным ему юмором, рассказывал, что Л. Н. Толстой, наслышавшись об его опасном состоянии, ожидал

¹ Н. И. Коробов—врач, товарищ Чехова по университету.

вероятно найти его чуть ли не умирающим, и когда этого не оказалось, то даже как будто выразил на своем лице некоторое разочарование... Это легочное кровотечение угнетающе подействовало на Чехова, и Н. И. Коробов, который жил с ним после этого вместе в Мелихове, рассказывал, что Чехов был чрезвычайно подавлен и мрачен, и тогда же решил возможно скорее продать свои сочинения Марксу. Брат его И. П.¹ рассказывал мне, что до этого времени Чехов сам не догадывался о своей болезни, и лишь после этого случая у него вырвалось раз: „Как это я мог допустить до этого! Как я довел до этого!“... Все же говорить и, вероятно, думать о своей болезни он не любил. На вопросы о своем здоровье он всегда отделялся обычными фразами: „Ничего“, „недурно“ и т. д.

(М. Членов. «А. П. Чехов и медицина». «Русск. Ведом.». 1904 г. № 91).

Я теперь дома. До праздника недели две я лежал в клинике Остроумова, кровохаркал; доктор определил верхушечный процесс в легких. Самочувствие у меня великолепное, ничего не болит, ничего не беспокоит внутри, но доктора запретили мне *vinum*, движения, разговоры, приказали много есть, запретили практику — и мне как будто скучно...

Толстой пишет книжку об искусстве. Он был у меня в клинике и говорил, что повесть свою „Воскресенье“ он забросил, так как она ему не нравится, пишет же только об искусстве и прочел по искусству 60 книг. Мысль у него не

¹ Иван Павлович Чехов.

новая; ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до *pes plus ultra*, что искусство измельчало, износилось, что люди ослабели и проч. и проч. Лев Николаевич в своей книжке хочет убедить, что в настоящее время искусство вступило в свой окончательный фазис, в тупой переулочек, из которого ему нет выхода (вперед).

Я ничего не делаю, кормлю воробьев конопляным семенем и обрезаю по одной розе в день...

(А. П. Чехов—А. И. Эртелю. Лопасня. 1897, 17 апр. II. Т. V, 39—40).

Приехав в конце апреля в Мелихово, я прямо ужаснулся перемене, которая произошла в Чехове со времени нашего недавнего свидания в Остроумовской клинике. Лицо его было желтое, изможденное, он часто кашлял и зябко кутался в плед, несмотря на то, что вечер был на редкость теплый... В ожидании ужина, мы сидели на скамеечке возле его дома в уютном уголке, украшенном клумбами чудесных тюльпанов... А. П. повествовал мне о своих жизненных невзгодах и сетовал на вызванное ими крайнее переутомление.

— Знаете, Жан, что мне сейчас надо?—заклучил он, и в его голосе звучала страдальческая нота.—Год отдохнуть! Ни больше, ни меньше. Но отдохнуть в полном смысле. Пожить в полное удовольствие: когда вздумается—погулять, когда вздумается—почитать, путешествовать, бить баклуши, ухаживать... Понимаете, один только год передышки, а затем, я снова примусь работать, как каторжный!

Я исподлобья взглянул на Чехова и подумал: „боже мой, что сделала „литература“ с человеком в какие нибудь десять лет! Тогда, при первой встрече в гостинице „Москва“¹, это был цветущий юноша, а теперь — чуть только не старик“...

Когда после ужина мы перешли в кабинет — тесноватый, но уютный... разговор завязался „о писании“ вообще, и я напомнил Чехову о его рассказе „Поцелуй“, который он шутя дописал почти на моих глазах в номере петербургской гостиницы.

— Славное время было! — вздохнул я.

— Было, да сплыло!.. Теперь, если страничку в день нацарапаешь и то благодать... Да и мешают мне здесь, не дай бог!.. Можете себе представить, не далее, как на этих днях из Москвы пожаловала сюда чуть не дюжина гостей... Точно у меня, в самом деле, постоянный двор какой то...

Мы помолчали.

— Знаете, Жан, какая у меня мелькнула сейчас идея? — заговорил Чехов, и лицо его повеселело: — верст десять отсюда сдается хуторок, — снимимте его вместе на лето „для писания“... Туда к нам ни один леший не заглянет!.. Однако, идите ка спать... а я сяду писать!

— Антуан, помилосердствуйте... скоро полночь! Ведь это вредно!

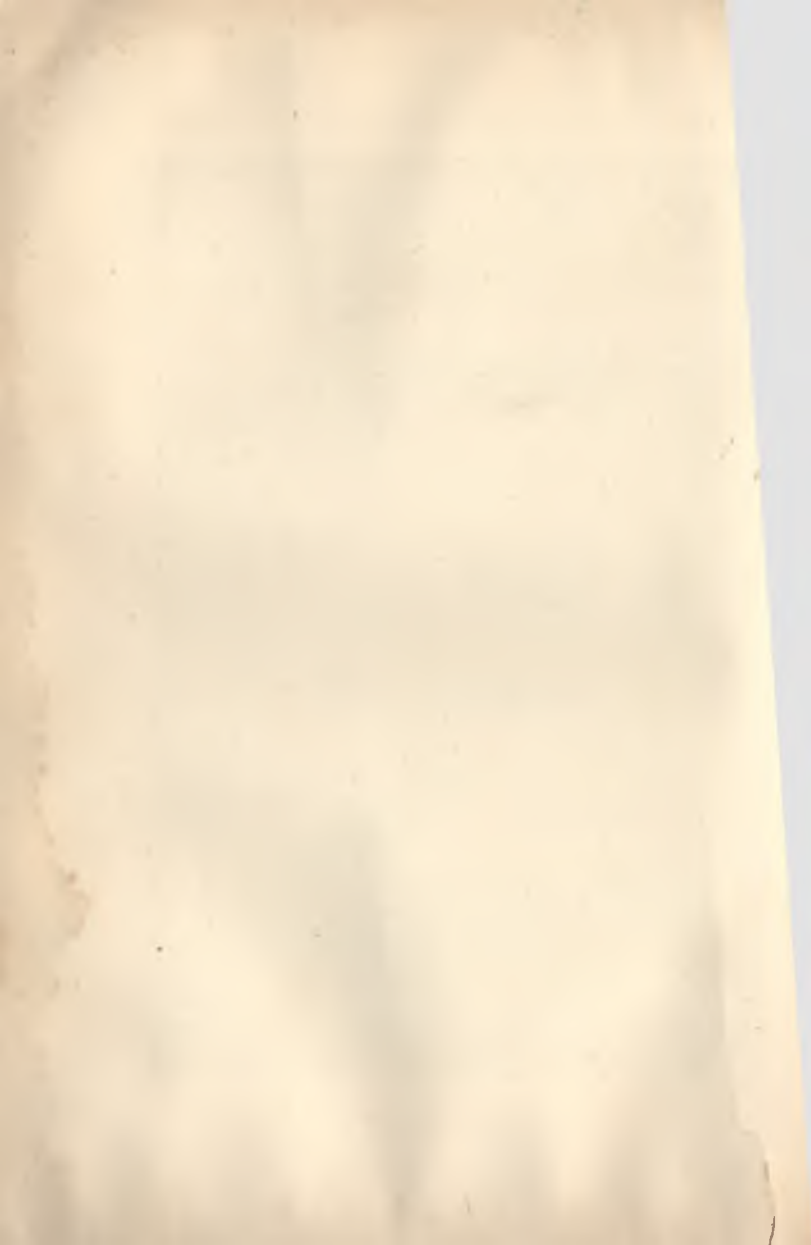
Он безнадежно махнул рукой.

— Что же делать, когда мне утром не дают ни минуты покоя!

¹ В 1887 г. в Петербурге.



А. П. Чехов в 1897 г.



В этом же смысле не раз жаловалась мне мать Чехова...

— Уж мы прячем Антошу, прячем—все то ему мешают!—говорила она мне вздыхая.

На другой день я мог в этом убедиться воочию: в буквальном смысле ему не давали ни минуты покоя... С раннего утра к нему забрался какой то помещик, который сидел очень долго, потом явился земский врач, затем сельский батюшка, затем еще кто то в военной форме —кажется мелиховский исправник... А в маленькой проходной горенке, около чеховского кабинета, почти не переводились мужики и бабы—кто за делом, кто за пустяками, кто за врачебной помощью...

(Ив. Щеглов. «Из воспоминаний об Ант. Чехове». «Нива» (Ежемесячн. прилож.) 1905 г., № 7, стр. 198—401).

23 июля (1897 г.) Чехов приехал ¹. В субботу, 26, выезжаю в Париж. Чехова не мог убедить ехать. Ссылается на то, что ему все равно придется осенью на зиму уезжать за границу; хочет на Корфу, Мальту, а если поедет теперь, то надо возвращаться. Говорил, что будет переводить Мопассана. Он ему очень нравится. Он научился по французски достаточно.

Несколько мыслей Чехова:

...Смерть—жестокая, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с вздохами и муками в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже цели этой не знаю. Смерть возбуждает нечто большее,

¹ В Петербург.

чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать.

(А. С. Суворин. Дневник, стр. 164—165).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

НИЦЦА.—ТЕМА РАССКАЗА «НА ПОДВОДЕ».—«У ЗНАКО-
МЫХ».—ПРОЦЕСС ЗОЛЯ И НАЧАЛО РАЗРЫВА С А. С.
СУВОРИНЫМ

(1897—1898 г. г.)

В Ницце я живу в русском пансионе. Комната довольно просторная, с окнами на юг, с ковром во весь пол, с ложем, как у Клеопатры... Здесь тепло. Море ласково, трогательно. Promenade des Anglais весь оброс зеленью и сияет на солнце; я по утрам сижу в тени и читаю газету. Много гуляю. Познакомился с Максимом Ковалевским, бывшим московским профессором, уволенным по 3-му пункту... С ним легко и весело... Тут же художник Якоби... Третьего дня обедали я, Ковалевский и Якоби и весь обед хохотали до боли в желудке—к великому изумлению прислуги...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ницца. 1897,
1 окт. П. Т. V, 81—82).

Вы сетуете, что герои мои мрачны. Увы, не моя в том вина! У меня выходит это невольно и, когда я пишу, то мне не кажется, что я пишу мрачно; во всяком случае, работая я всегда бываю в хорошем настроении. Замечено, что мрачные люди, меланхолики едят всегда весело, а жизнерадостные своими писаниями нагоняют тоску. А я человек жизнерадостный, по крайней

мере первые 30 лет своей жизни прожил, как говорится, в свое удовольствие...

(А. П. Чехов—Л. А. Авиловой. Ницца. 1897, 6 окт. П. Т. V, 89).

Ничего не делаю, не пишу и не хочется писать. Ужасно обленился...

Посылаю вам рассказ ¹, плод моей праздной музыки. Здешняя бумага (*papier écolier*) имеет такой аппетитный вид и так приятно покупать здесь перья, что трудно удержаться, чтобы не писать.

Если сгодится, то напечатайте его. Если он покажется длинным и не поместится в один фельетон, то отдайте его Гольцеву, а я пришлю вам другой, который начну писать завтра... Не пришлете ли корректуру? Я пошлифовал бы рассказ. Ведь время терпит, спешить некуда.

(А. П. Чехов—В. М. Соболевскому. Ницца. 1897, 17 окт. П. Т. V, 95—96).

...Вы не работаете над фразой; ее надо делать— в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от „по мере того“, „при помощи“, надо заботиться об ее музыкальности и не допускать в одной фразе почти рядом „стала“ и „перестала“. Голубушка, ведь такие словечки, как „Безупречная“, „На изломе“, „В лабиринте“— ведь это одно оскорбление. Я допускаю еще рядом „казался“ и „касался“, но „безупречная“— это шероховато, неловко и годится только для разговорного языка и шероховатость вы должны чувствовать, так как вы музыкальны и чутки...

¹ Рассказ «В родном углу»; печатался в «Русск. Ведомостях».

Я пишу, но пустячки. Уже послал в „Русские Ведомости“ два рассказа... ¹

(А. П. Чехов—Л. А. Авиловой. Ницца. 1897, 3 нояб. П. Т. V, 107).

...Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны. Но если в самом деле вам неудобно высылать корректуру, то да будь по вашему! Что делать!..

(А. П. Чехов—В. М. Соболевскому. Ницца. 1897, 20 ноября. П. Т. V, 110—111).

Когда он принимался за литературную работу он исчезал на ряд дней из нашего кругозора. Писал он далеко не ежедневно... Рассказ и повесть требовали от него усидчивой работы, нередко в продолжение недели. Тогда он не спускался даже к табльдоту. И когда появлялся снова в нашем обществе, мы не без грусти отмечали перемену в его лице. Он бледнел и казался худее прежнего. И во время совместных прогулок он часто смолкал, как бы озабоченный какими то мыслями. В это время он, по всей вероятности, обдумывал затеваемый им рассказ...

(Максим Ковалевский. «Об А. П. Чехове». Биржев. Ведом.). 1915 г., № 15, 185).

Я раз видел его за работой.

В Ницце, в русском пансионе, наши комнаты были рядом.

Вечером я вернулся и вспомнил, что он просил меня заглянуть к нему. У него все тонуло

¹ «В родном углу» и «Печенег».

во мраке. Только и было свету, что под зеленым абажуром небольшой лампы посередине. Начатый лист бумаги. Всматриваюсь: в потемках, в углу едва мерещится Антон Павлович.

— Сейчас...

Встал, подошел к столу, вычеркнул строчку и опять в свой угол.

Я хотел уйти.

— Погодите.

Две три минуты, опять Чехов у стола, наскоро набросал что то...

— Сегодня трудно пишется... Вообще писать не легко... Ужасно легко думать, что именно напишешь. Кажется, всего и остается переписать на бумагу готовое. А тут то и пойдет московская мостовая. О каждый булыжник спотыкаешься. А иногда вдруг, как по рельсам, целые страницы!.. По старому, пожалуй, во вдохновение бы поверил. Только такие страницы не очень удачно выходят... Ночь хороша?

— Да... Звезды и тепло. Море спокойно.

— Притаилось? А что, если мы пойдем на набережную? Впрочем, нет! У меня сегодня в груди „точно мышцы скребутся“. Посидим лучше... Вот, ей богу! Якоби шляется иногда некстати. Сейчас я бы ему обрадовался—живой человек, а его нет...

С Якоби Чехов в Нице встречался чуть ли не каждый день... Был он милым человеком, но... была у него страсть рассказывать тошные анекдоты. Якоби уже в это время подтачивал недуг, который вскоре и свел его в могилу. Как то он казался особенно в ударе. Сам надтреснуто не смеялся, а дребезжал на собственные неприличности.

Идет после со мною Чехов.

— А Якоби скоро умрет.

— Почему?

— Самого себя обмануть хочет. Вы всмотритесь: рассказывает анекдоты, хохочет, а в глазах у него ужас смерти... Да, впрочем, что ж... Мы все приговоренные.

— С самого рождения.

— Нет, я про себя... Мы в первую очередь... Вы еще жить будете, придете сюда, к морю. Сядете на эту скамью. Какая даль сегодня! Посмотрите, вон парус. Совсем крыло. Чье это сравнение? А вот, что море сиреневое,—это мое!

Он принудил себя засмеяться.

— Да, всем жить! И этой, вон, паршивой собаке, если ее фурманщик не зацепит... А я буду „упокояться во блаженном успении“. И ведь знаете... Так жить хочется! Чтобы написать большое большое. К чему то крупному тянет, как пьяницу на водку... А в ушах загодя— „вечная память“. Иной раз мне кажется, все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть, смерть, и ее никто не замечает или не хочет замечать...

Не знаю, как потом, а тогда он любил думать вслух;

— Я только что из Ментоны. Сидят на берегу в креслах чахоточные и плюются. А море, здоровое, сильное, смелое, спокойно катится к ним... У кресел с больными жены и мужья... Хорошо бы написать, как они ненавидят больных, как рабы, прикованные к галере. И только природе нет дела ни до тех, ни до других.

Немного спустя.

— Пришло мне, знаете... Очерк один. Сельская учительница в крестьянском возке. Сама в овчинном полушубке, в сапогах. Лицо бурое, грубое, обветренное. Грязью захлестало всю. Шелудивая лошаденка добежала до железной дороги и стоп, — проезду нет. Мимо громяхают вагоны. В окнах первого и второго класса мелькают молодые, нежные девушки, хорошо одетые... Учительница смотрит, — в каждой из них себя видит. Такою, какой была несколько лет назад. Подняли шлагбаум... Возок покатился. Мужичонка жесткий, как мозоль, сглядывается: что это-де случилось? Видит, понять не может, чего это учительша ревет... ¹

(Вас. Немирович-Данченко. «Памятка об А. П. Чехове». «Чех. Юб. Сб.», стр. 397—401).

Учительница в селе. Из хорошей семьи. Брат где то офицером. Осиротела, пошла в учительницы по нужде. Дни за днями, бесконечные вечера, без дружеского участия, без ласки, личная жизнь погибает; удовлетворения нет, так как некогда подумать о великих делах, да и не видать плодов... Увидела в вагоне мимо медленно проходившего поезда даму, похожую на покойную мать, вдруг вообразила себя девочкой, почувствовала как 15 лет тому назад и, ставши на колени на траву, нежно, ласково, с мольбой: о мама! И, очнувшись, тихо побрела домой. Раньше писала брату, но не получала ответа, должно быть, отвык, забыл. Огрубела, застыла... Вставала уже при входе инспектора или попе-

1 Сюжет рассказа «На подводе».

чителя и говорила о них: они. Поп говорил ей вашему... прощался: randevу... Доля.

(«Записные книжки А. П. Чехова», стр. 50).

Рассказ, который я послал вам третьего дня, „На подводе“ ¹, не помещайте раньше конца декабря; пока велите набрать его и прислать мне в корректуре. Так нужно. Я же напишу другой рассказ, который вы напечатаете, буде пожелаете, в первой половине декабря. Пожалуйста, исполните мою просьбу, пришлите корректуру; я возвращу ее своевременно...

(А. П. Чехов—В. М. Соболевскому. Нипца. 1897, 22 ноября. П. Т. V, 111).

Накопилось много работы, сюжеты перепутались в мозгу, но работать в хорошую погоду за чужим столом, с полным желудком — это не работа, а каторжная работа, и я всячески уклоняюсь от нее... Не пора ли мне домой? Все жду Ковалевского, поедem вместе в Африку ². Постараюсь заехать как можно дальше, и чтобы мое путешествие, хотя немного, походило на труд, а то, право, становится уже совестно. Смотрю я на русских барынь, живущих в Pension Russe — скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как лечимся мы здесь (т. е. я и эти барыни) — это препротивный эгоизм...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Нипца. 1897, 14 дек. П. Т. V, 128—129).

¹ По поводу этого рассказа Л. Толстой писал в своем дневнике: «Сейчас прочел рассказ Чехова „На подводе“. Превосходно по изобразительности, но риторика. Удивительно прояснилось у меня в голове, благодаря книге об искусстве». (Дневник Л. Н. Толстого. Т. I (изд. первое), стр. 115).

² Путешествие в Африку не состоялось из-за болезни М. М. Ковалевского.

Я пишу рассказ для „Cosmopolis'a“¹, пишу туго, урывками. Обыкновенно я пишу медленно, с напряжением, здесь же в номере, за чужим столом, в хорошую погоду, когда тянет наружу, пишется еще хуже, а потому пообещать вам рассказ раньше, чем через две недели, не могу...

Вы выразили желание в одном из ваших писем, чтобы я прислал интернациональный рассказ, взявши сюжетом чтонибудь из местной жизни. Такой рассказ я могу написать только в России, по воспоминаниям. Я умею писать только по воспоминаниям, и никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя процедила сюжет и чтобы в ней, как в фильтре, осталось только то, что важно или типично.

(А. П. Чехов—Ф. Д. Батюшкову. Ницца.
1897, 15 дек. П. Т. V, 131).

На днях я прочел на первой странице „Н. В.“ глазастое объявление о выходе в свет „Cosmopolis'a“ с моим рассказом „В гостях“. Во первых, у меня не „В гостях“, а „У знакомых“. Во вторых, от такой рекламы меня коробит; к тому же рассказ далеко не глазастый, один из таких, какие пишутся по штуке в день.

Вы пишете, что вам досадно на Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто родился новый, лучший Золя. В этом своем про-

1) Cosmopolis — журнал, руководимый Ф. Д. Батюшковым, первоначально издавался на 4-х, затем на 5-ти языках, и должен был охватить постепенно все цивилизованные страны. Но, предприятие прогорело, т. к. издатель журнала Ортманс, оказался не на высоте дела.

цессе¹ он, как в скипидаре очистился от наносных сальных пятен и теперь засиял перед французами в своем настоящем блеске. Эта чистота и нравственная высота, каких не подозревали... Первыми должны были поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации—так и случилось... Да, Золя не Вольтер и все мы не Вольтеры, но бывают в жизни такие стечения обстоятельств, когда упрек в том, что мы не Вольтеры, уместен менее всего. Вспомните Короленко, который защищал мультанских язычников и спас их от каторги.²

Пусть Дрейфус виноват, — и Золя все таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они осуждены и несут наказание. Скажут: а политика? интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много... И какой бы ни был приговор, Золя все таки будет испытывать живую радость после суда, старость его будет хорошей старостью и умрет он с покойной, или по крайней мере, облегченной совестью...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Нипца. 1898, 6 февр. П. Т. V, 156—160).

1 Эмиль Золя (1840—1902) выступил в защиту французского офицера еврей—Дрейфуса, невинно-осужденного по обвинению в государственной измене. В своем знаменитом письме («Я обвиняю»)—он разоблачил военных министров и генеральн. штаб в заведомой лжи, подлогах, клевете и пр., приведших Дрейфуса к осуждению. За это выступление Золя был привлечен к суду.

2 В. Г. Короленко в 1895—1896 гг. выступил в печати с рядом статей, обличающих неправильное судопроизводство по делу вотяков села Мультан (Вятской губ.), ложно обвиненных в человеческом жертвоприношении языческим богам.

В деле Золя „Новое Время“ вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем ¹ обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, — не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Золя задаром, а в газете выливать на этого же Золя помой—и за что? За то, что никогда не было знакомо ни единому из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы ни было, ругать Золя, когда он под судом—это не литературно...

(А. П. Чехов—Ал. П. Чехову. Нятца. 1898, 23 февр. П. Т. V, 167).

27 апреля (1899 г.) Париж. Здесь я с 20 апреля... Здесь Чехов. Все время со мной. Он мне рассказывал, что Короленко убедил его баллотироваться в члены Союза Писателей, сказав, что это — одна формальность. Оказалось, что среди этого Союза оказалось несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за „Мужиков“, где он, будто, представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу ². Поистине, ослы—эти господа, понимающие в литературе меньше даже, чем

¹ «Старец»—А. С. Суворин. По словам М. Ковалевского, Чехову удалось повлиять на Суворина, поколебав его убеждение в виновности Дрейфуса, — но это несколько не отразилось на поведении «Нов. Времени» в этом вопросе.

² Критика «народнического толка» была против Чеховских «Мужиков», обвиняя его в умышленном сгущении красок при изображении русской деревни.

свиньи в апельсинах, и эти свиньи становятся судьями замечательного писателя! Вот она, эта толпа, из которой выскакивают бездарные подлецы и руководят ею! „Меня чуть не забаллотировали“, — говорил Чехов.¹

(А. О. Суворин. Дневник, стр. 179).

¹ Об этом эпизоде Чехов писал Л. А. Авилловой (10 июля, 1898 г.): «Я человек не серьезный, как вам известно, меня едва даже не забаллотировали в «Союзе писателей...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В МЕЛИХОВЕ.—НАЧАЛО ЯЛТИНСКОГО ПЕРИОДА.—СМЕРТЬ ОТЦА.—«ЧАЙКА» В МОСКОВСКОМ ХУДОЖ. ТЕАТРЕ.

(1898—1899).

Зимой я ничего не делал, теперь приходится наверстывать, валять, как говорится, и в хвост и в гриву. Нужно много писать, между тем материал заметно истощается. Надо оставить Лопасню и пожить гденибудь в другом месте. Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два на три и занялся бы районном Таганрог-Краматоровка-Бахмут-Зверево. Это фантастический край. Донецкую степь я люблю и когда-то чувствовал себя в ней, как дома, и знал там каждую балочку...

(А. П. Чехов—П. Ф. Иорданову. Мелихово. 1898, 25 июня. П. Т. V, 202).

Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже не хватает физической гибкости. Когда я теперь пишу или думаю о том, что нужно писать, то у меня такое отвращение, как будто я ем щи, из которых вынули таракана—простите за сравнение. Противно мне не самоеписание, а этот литературный *entourage*, от которого никуда не спрячешься и который носишь с собой всюду, как земля носит свою атмосферу...

(А. П. Чехов—Л. А. Авиловой. Мелихово. 1898, 25 июля. П. Т. V, 209).

...Сытин покупал мои юмористические рассказы не за три, а за пять тысяч. Соблазн был велик, но я все таки не решился продать; душа моя не лежит к книжке с новым названием. Выпускать каждый год книжки и давать им все новые названия—это так надоело и так беспорядочно... Рано или поздно придется издавать рассказы томиками и называть их просто так: первый, второй, третий... т. е., другими словами, издавать собрание сочинений. Это вывело бы меня из затруднения, это советует мне Толстой. Юмористические рассказы, которые я теперь собрал, составили бы первый том. И вот, если вы ничего не имеете против этого, то глубокой осенью и зимой, когда мне нечего будет делать, я занялся бы редакцией своих будущих томов. В пользу моего намерения говорит и то соображение, что пусть лучше проредактирую и издам я сам, а не мои наследники...

Говорят, что я очень поправился, и в то же время опять гонят меня из дому. Придется уехать на юг... Этой поездки я боюсь, как ссылки...

Получил из Москвы от Вл. Немировича-Данченко письмо. У него кипит дело. Было уже чуть не сто репетиций и актерам читаются лекции...¹

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Мелихово. 1898, 24 авг. П. Т. V, 211—212).

Когда В. И. Немирович-Данченко, этот великий энтузиаст Чехова-драматурга, не желавший

¹ Вл. И. Немирович-Данченко и К. С. Станиславский (Алексеев) организовали Московск. Художественный театр. В это время они готовили свою первую постановку,—трагедию А. К. Толстого «Царь Федор Иванович». Открытие театра состоялось 14 октября 1898 г.

принять грибоедовскую премию за „Цену жизни“¹ потому что считал, что премия эта по праву принадлежит автору „Чайки“, завел с Чеховым речь о постановке „Чайки“, А. П. запротестовал самым энергичным образом, уверял, что он не драматург, что его играть не нужно... Его пугала мысль, что, может быть, повторится петербургская история, опять придется пить из горькой чаши... Однако, Чехов не умел долго отказывать, и дал наконец согласие на постановку...

Над „Чайкой“ работали много, в громадной тревоге...

(Н. Эфрос. «Детство Художеств. театра». «Моск. Худож. театр», том I. М. 1913 г., стр. 22—24).

А. П. Чехову, пришедшему всего второй раз на репетицию „Чайки“ (11 сентября 1898 г.) в Московском Художественном Театре, один из актеров рассказывает о том, что в „Чайке“ за сценой будут квакать лягушки, трещать стрекозы, лаять собаки.

— Зачем это?—недовольным голосом спрашивает Антон Павлович.

— Реально,—отвечает актер.

— Реально,—повторяет А. П., усмехнувшись, и после маленькой паузы говорит:—Сцена—искусство. У Крамского есть одна жанровая картина, на которой великолепно изображены лица. Что, если на одном из лиц вырезать нос и вставить живой? Нос „реальный“, а картина то испорчена.

¹ «Цена жизни» — драма Вл. И. Немировича-Данченко, написанная в 1896 г., пользовалась большим успехом на сцене.

Кто то из актеров с гордостью рассказывает, что в конце 3-го акта „Чайки“ режиссер хочет ввести на сцену всю дворню, какую то женщину с плачущим, ребенком.

Антон Павлович говорит:

— Не надо. Это равносильно тому, что вы играете на рояли *pianissimo*, а в это время упала крышка рояля.

— В жизни часто бывает, что в *pianissimo* врывается *forte* совсем для нас неожиданно,— пытается возразить кто то из группы актеров.

— Да, но сцена,—говорит А. П.,—требуется известной условности. У нас нет четвертой стены. Кроме того, сцена—искусство, сцена отражает в себе квинт-эссенцию жизни, не надо вводить на сцену ничего лишнего.

(Вс. Мейерхольд. «О театре». СПб. 1913, стр. 24).

Умер отец, после мучительной болезни и операции, которая продолжалась долго; и этого не случилось бы, если бы я был дома... ¹ Как бы ни было, настроение у меня в последние дни совсем не радостное... Должно быть, продадим Мелихово ² и устроимся в Крыму, где будем

¹ Павел Егорович Чехов умер 12 октября 1898 г. «У него сделалось ущемление кишки, захватили позадно, везли по ужасной дороге, потом в Москве делали операцию, вскрывали живот. Судя по письмам, конец жизни у него был мучительный» (из письма А. П. Чехова к Л. С. Мизиновой, 24 окт. 1898 г.). В это время А. П. жил в Ялте, куда его послали врачи.

² На другой день, после получения известия о смерти отца, А. П. писал сестре: «Мне кажется, что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение Мелиховской жизни» (14 окт. 1898 г.).— Павел Егорович изо дня в день вел дневник, со времени пребывания в Мелихове, занося в него каждую «бытовую» мелочь.

жить вместе, пока бациллы не покинут меня; так или иначе, но доктора того мнения, что в Крыму придется мне провести еще не одну зиму. Это называется выбиться из колеи.

Вы неоднократно говорили, что я могу взять из книжного магазина 5 или даже 10 тысяч на льготных условиях, т. е. с уплатой долга в несколько лет по частям. Если вы и теперь судите так же, то пришлите мне переводом по телеграфу 5 тысяч и скажите в магазине, чтобы долг вычитался из моих доходов мало по малу, по одной тысяче в год, не больше, а то мне придется круто...

В Ялте тихая жизнь, хочется писать роман, и я, войдя в свое обычное настроение, засяду и напишу листов десять...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта. 1898, 17 окт. П. Т. V, 234—235).

Я покупаю в Ялте участок и буду строиться, чтобы иметь место, где зимовать. Перспектива постоянного скитания, с номерами, швейцарами, случайной кухней и проч., и проч. пугает мое воображение. Со мной зимовала бы и мать... Строить сам я не буду, все сделает архитектор. К апрелю дом будет готов. Участок, с городской точки зрения, большой, поместится и сад, и цветник, и огород...

Мой „Дядя Ваня“ ходит по провинции, и всюду успех. Вот, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Совсем я не рассчитывал на сию пьесу...

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. Ялта. 1898, 26 окт. П. Т. V, 245—247).

По всей России идет „Дядя Ваня“. Думаю, что к лету в О-ве драм. писателей наберется

тысяча рублей. Когда я пишу сии строки, в Москве идет „Чайка“. Как она прошла? Хорошо, что ты была на первом представлении...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Ялта 1898, 17 дек. П. Т. V, 278).

Обстоятельства, при которых ставилась „Чайка“, были сложны и тяжелы. Дело в том, что Антон Павлович Чехов серьезно заболел. У него произошло осложнение туберкулезного процесса. При этом душевное состояние его было таково, что он не перенес бы вторичного провала „Чайки“, подобного тому, какой произошел при первой ее постановке в Петербурге. Неудача спектакля мог оказаться губительным для самого писателя. Об этом нас предупреждала его, до слез взволнованная, сестра Мария Павловна, умолявшая нас об отмене спектакля. Между тем, он был нам до зарезу необходим, так как материальные дела театра шли плохо, и для поднятия сборов требовалась новая постановка. Предоставляю читателю судить о том состоянии, с которым мы, артисты, выходили играть пьесу на премьере, собравшей далеко неполный зал... Стоя на сцене, мы прислушивались к внутреннему голосу, который шептал нам:

„Играйте хорошо, великолепно, добейтесь успеха, триумфа. А если вы его не добьетесь, то знайте, что по получении телеграммы любимый вами писатель умрет, казненный вашими руками. Вы станете его палачами“.

Как мы играли—не помню. Первый акт кончился при гробовом молчании зрительного зала. Одна из артисток упала в обморок, я сам едва держался на ногах от отчаяния. Но вдруг, после

долгой паузы, в публике поднялся рев, треск, бешеные аплодисменты. Занавес пошел... раздвинулся... опять задвинулся, а мы стояли, как обалделые. Потом снова рев... и снова занавес... Мы все стояли неподвижно, не соображая, что нам надо раскланиваться. Наконец, мы почувствовали успех и, неимоверно взволнованные, стали обнимать друг друга, как обнимаются в пасхальную ночь...

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве». М. 1926, стр. 297—298).

16 декабря 1898 г. мы играли „Чайку“ в первый раз. Наш маленький театр был не совсем полон... Настроение было серьезное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали все, насыщенные любовью к Чехову и к нашему молодому театру...

Первые два акта прошли... Мы ничего не понимали... Во время первого акта чувствовалось недоумение в зале, беспокойство, даже слышались протесты—все казалось новым, неприемлемым—и темнота на сцене, и то, что актеры сидели спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта... И вот по окончании его—тишина, какие то несколько секунд, и затем что то случилось, точно плотину прорвало, мы сразу не поняли даже, что это было—и тут то началось какое то безумие, когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя ноги, голова, тело... Все слилось в одно сумасшедшее ликование, зрительная зала и сцена были что то одно, занавес не опускался, мы все стояли, как пьяные, слезы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели взволнованные голоса, говорившие что то, требовавшие

послать телеграмму Чехову в Ялту... И „Чайка“, и Чехов-драматург были реабилитированы!..

Следующие спектакли „Чайки“ пришлось отменить из-за моей болезни—я первое представление играла с температурой 39 и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем...

А бедный Чехов в Ялте, получивший поздравительные телеграммы и затем известие об отмене „Чайки“, решил, что опять полный неуспех, и что болезнь Книппер только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке Чайки.

После рождества я поправилась, и мы с непрерывающимся успехом играли весь сезон нашу „Чайку“

(О. Книппер-Чехова. «Из моих воспоминаний о Худож. театре и об А. П. Чехове». Сб. «Артисты М. Х. Т. за рубежом». Прага. 1922, стр. 25—26).

Шлю вам большое, громадное, шестиэтажное спасибо за вашу милую телеграмму. Я сохраняю ее на память и когданибудь, этак лет через 20, покажу ее вам. Из газет я почти ничего не понял, но приехал в Ялту брат Иван, пришло письмо от Владимира Ивановича, и я уразумел, как, в самом деле, вы хорошо играли, как было вообще хорошо, и какая в сущности нелепость, что меня нет в Москве. Когда и где я увижу „Чайку“? Крепко жму вашу руку. Думал ли Крамсаков, что я буду писать пьесы, что вы будете артистом?! ¹.

(А. П. Чехов—А. Л. Вишневскому. Ялта. 1898, 26 дек. П. Т. V, 283).

¹ Крамсаков — гимназический учитель Чехова и артиста Вишневского, в Таганроге.

28 декабря „Художественно-общедоступный“ театр, как и в первое представление „Чайки“, был совершенно полон. В зрительном зале чувствовалось то особенное, нервное напряжение, которое так редко приходится наблюдать: необыкновенная чуткость публики, страстно сосредоточенное внимание к каждому слову на сцене. Тишина удивительная! Пьесу не только смотрели: ее слушали и воспринимали. Минутами казалось, что с подмостков говорит сама жизнь— а большего театр дать не может!..

Всем известно, что „Чайка“, разделяя судьбу многих шедевров драматической литературы, на первом представлении в Петербурге „провалилась“. Пьеса сложная, и причины неуспеха были тоже сложные.

1) Пьеса раздражала старых литераторов своими новшествами. Оригинально оборванные окончания актов, поэтический, но беспощадный пессимизм автора, некоторые персонажи, напр. Маша Шамраева („зачем она нюхает табак?“), подозрение, что автор сочувствует „декаденту“ Треплеву и его символической пьесе—все это вызвало ужасный гнев „наших маститых беллетристов“. Один „маститый“ в своем реферате о „Чайке“ просто рвал и метал, а когда его спросили: „Да вы видели пьесу на сцене?“—ответил с негодованием: Не видел и смотреть не хочу: я ее знаю по рукописи! Вообще старички-шестидесятники усмотрели в пьесе „господина Чехова“ дерзость невероятную: он осмелился быть самим собою на освященных традициями подмостках!..

2) Пьеса раздражала молодых писателей.. „Какой это символист!—горячился один из них,—

Чехов не знает символистов! — „Позвольте, — возражали другие, — Чехов написал Треплева неудачником, пьеса Треплева — неудачное произведение. Чехов знает, пишет живых людей, а не воплощение идей и направлений...“ Но молодые писатели пожимали плечами. Однако, один из крупнейших поэтов восьмидесятых годов, отличающийся притом философским складом ума, после 3 акта восторженно воскликнул: „Это гениально!“ Я совершенно сочувственно встретил такой отзыв; когда в поэтическом произведении местами чувствуется глубина, недостижимая для анализа — оно гениально, несмотря на недостатки.

3) Некоторые журналисты почему то отождествляли Чехова с „Новым Временем“ и не прочь были провалить пьесу „из того лагеря“, хотя, кажется, не трудно было из произведений Чехова убедиться, что он не принадлежит ни к какому лагерю и всего менее может считаться партийным писателем... Да, наконец, хвалить всех опасно: можно опростоволоситься, а брань, по меньшей мере, доказывает превосходство бранителя.

4) К главным причинам неуспеха присоединились другие — частью внутренние: сложная психология действующих лиц, смелость, с которою автор раскрывает постыдные тайны жизни, как клоаки, на которых построены дворцы... частью внешние, закулисные причины... Актеры, смущенные явно враждебным отношением партера, потеряли почву под ногами, сбивались...

(А. И. Урусов. Второе представление «Чайки». «Кн. А. И. Урусов. Статьи его, письма и пр.». Т. II, стр 34—36.—Перепечатка из газеты «Курьер» 3 янв. 1899 г.).

Москва положительно влюбилась в „Чайку“. Я уже не говорю о полных сборах—это что! а вот „рецидивисты“ - зрители, которые ходят на „Чайку“ запоем, каждый раз—вот это удивительно. Я видел ее здесь два раза—и пойду еще. В моей заметке в „Курьере“ от 3-го января „Маститый“—это Вейнберг, «молодой литератор»—Мережковский, а „поэт 80-х годов“—Минский. Здесь очаровательное зрелище представляют умники и драмоделы. Они сбиты с толку. Один говорил мне: „Всю пьесу я одобряю, но с 4-м актом я не согласен“. Я не стал любопытствовать, и заметил кротко, что и без его согласия 4-й акт превосходен... Ходячая фраза теперь: „Неужели вы не видели Чайки?“.

Хотя может вам и скучно читать все это, но признаюсь вам, что каждый раз я выношу из представления новую радость... О „Чайке“ будут писать, когда нас уже не будет... Вы видите, что и я влюблен в вашу пьесу...

(Кн. А. И. Урусов—А. П. Чехову. Москва. 1899, 5 янв. «Слово». Сб. второй. М. 1914 г. стр. 286—287).

Частые неумеренные ласки лишают нас в конце концов способности отвечать должным образом на эти ласки; ваша рецензия в „Курьере“, адрес, письма из Москвы, гул славы, который изредка доносится сюда северным ветром, истомили меня, я словно изнемог и все никак не соберусь написать вам... Если бы я не жил в Ялте, то эта зима была бы для меня счастливейшей в жизни.

Итак, я все еще в Ялте. Теперь вечер. Ветер дует, как в четвертом акте „Чайки“, но ко мне никто не приходит, а напротив я сам должен

буду уйти после десяти, надевши шубу. В общем живется скучно. Приходится делать над собой усилие, чтобы жить здесь изо дня в день и не роптать на судьбу...

(А. П. Чехов—Кн. А. И. Урусову. Ялта. 1899, 1 февр. П. Т. V, 323).

Я приехал на несколько дней в Ялту и однажды вечером встретил Чехова на набережной... Мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море?—сказал я.

— Да,—ответил он.—Только уж очень оно пустынно.

— Это то и хорошо,—сказал я.

— Не знаю,—ответил он, глядя куда то вдаль сквозь стекла пенсне и, очевидно, думая о чем то своем.—По моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И по своей манере помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? „Море было большое“. И только. По моему, чудесно...

Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это „чудесным“. А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность.

Неожиданный переход от моря к офицеру был, несомненно, вызван затаенной грустью о молодости, о здоровья. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы это жажда

радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре...

(И. Бунин. «Чехов». Полн. собр. соч. Изд. Маркса. 1915, т. V, стр. 293—294).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ПРОДАЖА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ МАРКСУ. — «ДУШЕЧКА»
И Л. Н. ТОЛСТОЙ. — ОТНОШЕНИЕ ЧЕХОВА К СВОИМ
РАННИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
(1899 г. — зима и весна)

В начале 1899 г. дела Чехова были в таком положении: болезнь приковывала его к Ялте, где он жил квартирантом, испытывая все неудобства квартирантского положения. И он мечтал о своем собственном уголке, где мог бы устроиться, согласно своим потребностям. Но на пути к этому стояли независимые обстоятельства. Денежные дела Чехова не то, чтобы были запутаны, а не выяснены и не урегулированы. Он никогда не знал, сколько у него будет в следующем году и не мог реализовать своего дохода... Чехов не раз делал попытки привести в ясность свои материальные дела, т. е. он ли в долгу у издателей, или издатели ему должны. Но его попытки остались вотще перед твердынями русской халатности...

И вот однажды, в январе 1899 г., я получил от Чехова письмо, в котором он писал о своих осложнившихся материальных делах и выражал, между прочим, желание продать свои сочинения А. Ф. Марксу, с которым у меня были тогда довольно частые сношения.

„Теперь насчет Маркса,—писал Антон Павлович;—я был бы очень не прочь продать ему

мои сочинения, даже очень очень не прочь. Но как это сделать? Беспокоить тебя мне известно, ибо ты занятой человек... Кроме того, что издано, у меня есть в столе материал еще для четырех книг, объема „Пестрых рассказов“; я продам все, что есть и, кроме того, все, что отыщу когда либо в старых журналах и газетах и найду достойным. Продам все, кроме дохода с пьес... Книги мои приносят мне ежегодно более 3½ тысяч. До сих пор это дело я вел неряшливо, книжки издавались и продавались небрежно, при хорошем же ведении дела одна „Каштанка“ дала бы мне не менее тысячи в год. Три с половиною тысячи—это цифра, взятая по совести за все прошлые годы, начиная с 1887 года; на самом же деле он гораздо больше, ибо доход все растет и растет. И прошлый год, например, принес мне около 8 тысяч. Это небывало урожайный для меня год. Если тебе охота, то потолкуй с Марксом. Мне и продать хочется, и упорядочить дело давно уже пора. А то становится нестерпимо...“¹

В первый же мой приезд в Петербурге я начал зондировать издательскую почву, в конце концов остановившись на А. Ф. Марксе, как того желал и Чехов...

„Пославши деньги (писал мне Чехов в февралю 1899 г., когда договор с А. Ф. Марксом был подписан и у меня было на руках 20,000 р. чеховских денег), тоже телеграфируй, а затем можешь почтить на лаврах вечной моей благо-

¹ Начатое Сувориным печатание полн. собр. сочинений Чехова велось крайне беспорядочно и медленно. А. П. писал по этому поводу сестре М. П. (января 1899 г.): «Читаю первую корректуру и ругаюсь, предчувствуя, что это полное собрание выйдет не раньше 1948 года».

дарности. Искренно скажу тебе, в этой продаже не столь важны для меня 75.000 р., как то, что мои произведения будут издаваться порядочно, что я буду избавлен от обязанности выдумывать для каждой новой книжки название, выбирать формат книги, мириться с плохой бумагой, мириться с дурными слухами насчет „типографских“ экземпляров, продаваемых на толкучках в провинции. У меня теперь такое чувство, как будто святейший синод прислал мне наконец развод, после долгого томительного ожидания“...

Помню, когда я накануне подписания контракта, боясь, как бы нам не продешевить Чехова, сообщил одному журналисту-издателю, принимавшему повидимому горячее участие в судьбе Чехова, о выработанных мною условиях, то он горячим тоном объявил, что надо спятить с ума, чтобы согласиться на предлагаемые мною условия...

Когда находился еще в зачаточном положении вопрос об издании А. Ф. Марксом полного собрания сочинений Чехова, то Л. Н. Толстой говорил об этом с таким увлечением, с каким никогда не говорил о собственных делах.

— Передайте, пожалуйста, Марксу, — сказал он, прощаясь с одним из своих гостей:— что я настоятельно советую ему издать Чехова. После Тургенева и Гончарова, ему ведь ничего не остается, как издать Чехова и меня. Но Чехов гораздо интереснее нас, стариков. Я сам сейчас же с удовольствием приобрету полное собрание сочинений Чехова, как только оно появится в продаже...

(П. А. Сергеевко. «О Чехове». Воспоминания. «Нива» (ежемесячн. прилож.), 1904, июль, стр. 236—250).

Антон Павлович, как писатель старшего восьмидесятного поколения, не имел ни привычки, ни импульса „набивать себе цену“... Пишущий эти строки, предвидя скорое повышение цен на книжном рынке, при встрече с Чеховым именно в этот период продажи им „прав“, очень уговаривал Антона Павловича не торопиться; но он твердо указывал на необходимость обеспечить свои последние, большие годы каким либо твердым фондом и, со свойственным ему скептицизмом в самооценке, уверял, что я преувеличиваю его значение и хочу внушить ему манию величия:

— Послушайте же, кто же из русских писателей продавал свои сочинения за 75,000 рублей?!...

(А. В. Амфитеатров. «Ант. Павл. Чехов». «Славные мертвецы», стр. 31—32).

Сергеенко телеграфирует, что договор уже нотариально подписан. Что то еще насчет неустойки, но я не понял из телеграммы. Авось все сойдет благополучно. Я получаю 75.000 в три срока; будущие произведения, предварительно напечатанные, пойдут за 250 лист, с надбавкой по 200 р. через каждые 5 лет. Доход с пьес принадлежит мне, потом моим наследникам. Последний пункт я отвоевал, приступом взял. Итак, значит начинается, новая эра... Я могу теперь проиграть 2—3 тысячи в рулетку. Но все таки мне не весело, точно женился на богатой... Я должен вам много и Сергеенку просил побывать в магазине и погасить мой долг; вероятно, он уже исполнил это и мне теперь остается, по русскому обычаю, поблагодарить вас. У деловых людей есть поговорка: живи—

дерись, расходись—мирись. Мы расходимся мирно, но жили тоже мирно и, кажется, за все время, пока печатались у вас мои книжки, у нас не было ни одного недоразумения. А ведь большие дела делали. И по настоящему то, что вы меня издавали, и то, что я издавался у вас нам следовало бы ознаменовать чемнибудь с обеих сторон...

Я недавно написал юмористический рассказ¹ в 11½ листа и теперь мне пишут, что Л. Н. Толстой читает этот рассказ вслух, читает необыкновенно хорошо...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта. 1899, 27 янв. II. Т. V, 314—316).

Никого из русских писателей так часто не читали вслух у Толстых, как Чехова. Случалось даже так, что в короткое время по несколько раз читали один и тот же его рассказ... Я как то пришел в Москве к Толстым с номером „Семьи“, в котором была напечатана „Душечка“. За вечерним чаем заговорили о литературе. Я сказал о новом рассказе Чехова. Лев Николаевич живо заинтересовался и спросил меня, читал ли я новый рассказ и как нахожу его. Я сказал, что рассказ ничего себе и что если Л. Н. интересуется им, то у меня рассказ этот с собою.

— Новый рассказ Чехова! Хотите слушать?— как бы анонсировал Лев Николаевич.

Все изъявили согласие.

С первых же строк чтения Л. Н. начал произносить отрывочные междометия одобрительного свойства. А затем не выдержал и во время чтения обратился ко мне с оттенком укоризны:

¹ «Душечка».

— Как же это вы сказали: „ничего себе“? Это перл, настоящий перл искусства, а не „ничего себе“.

И после чтения Л. Н. с одушевлением заговорил о „Душечке“ и цитировал на память целые фразы.

— Как метко и хорошо,—говорил он,—схвачен Чеховым язык телеграфиста! И эти „хохороны“! И это истинное женское чувство, так сжато и так мастерски выраженное в „Душечке“! Превосходный рассказ! И как истинное художественное произведение, оно, оставаясь прекрасным, может производить различные эффекты.

Через некоторое время к Толстым пришли свежие гости. Л. Н. поздоровался и спросил:

— Читали новый рассказ Чехова—Душечку? Нет? Хотите послушать?

И Л. Н. опять начал читать „Душечку“.

Как то во время прогулки в яснополянском парке один из гостей Л. Н. заговорил о новом произведении писателя, которого сравнивали с Чеховым. Лев Николаевич остановился и, заложив руку за пояс блузы, сказал в раздумьи:

— Не понимаю, почему его сравнивают с Чеховым. Чехов, по моему, несравнимый художник. И если уж кого напоминает, то Мопассана. Я недавно перечитал почти всего Чехова. И все у него чудесно. Есть места неглубокие, нет, неглубокие, но все прелестно. И Чехова как художника, нельзя даже сравнивать с прежними русскими писателями—с Тургеневым, с Достоевским или со мною. У Чехова своя особенная форма, как у импрессионистов. Смотришь, человек будто

без всякого разбора мажет красками, какие попадают ему под руку, и никакого как будто отношения эти мазки между собою не имеют. Но отойдешь, посмотришь— и в общем получается удивительное впечатление. Перед вами яркая неотразимая картина. И вот наивернейший признак, что Чехов истинный художник: его можно перечитывать несколько раз, кроме пьес, конечно, которые совсем не его дело... ¹

(П. А. Сергееenko. О Чехове. Воспоминания. «Нива» (ежемесячн. прилож.), 1904 г. июль, стр. 250—252).

Сегодня получил письмо от Суворина и Тычинкина. Суворин говорит об учиненной мною продаже; то, что он не купил, объясняет он тем, что Сергееenko о продаже сказал ему, когда уже было кончено с Марксом и проч. и проч.—и объясняется в дружбе и хороших чувствах. Письмо его очень тепло написано...

Как ни как, а в общем „Новое Время“ производит отвратительное впечатление. Телеграммы из Парижа ² нельзя читать без омерзения, это не телеграммы, а чистейший подлог и мошенничество. А статьи себя восхваляющего Иванова! А доносы гнусного Петербуржца!.. Это не газета. а зверинец, это стая голодных, кусающих друг

¹ По словам Б. А. Лазаревского («О Толстом», сб., сост. П. Сергееenko, стр. 92)—Л. Толстой позднее так характеризовал творчество Чехова: «Чехов—это Пушкин в прозе. Вот как в стихах Пушкина каждый может найти чтонибудь такое, что пережил и сам, так и в рассказах Чехова, хоть в какомнибудь из них, читатель непременно увидит себя и свои мысли... Некоторые вещи Чехова положительно замечательны. Вы знаете, я выбрал все понравившиеся мне его рассказы и перечитываю их всегда с огромным удовольствием».

² По поводу дела Дрейфуса и Золя.

друга за хвост шакалов, это чорт знает что, Оле, пастыри Израилевы!

(А. П. Чехов—Ал. П. Чехову. Ялта. 1899,
5 февр. II. Т. V, 333—334).

Вы пишете, что у меня необыкновенное умение жить. Может быть, но бодливой корове бог рог не дает. Какая польза из того, что я умею жить, если я все время в отъезде, точно в ссылке. Я тот, что по Гороховой шел и гороху не нашел, я был свободен и не знал свободы, был литератором и проводил жизнь поневоле не с литераторами; я продал свои сочинения за 75 тыс., и уже получил часть денег, но какая мне от них польза, если вот уже две недели, как я сижу безвыходно дома и не смею носа показать на улицу. Кстати о продаже. Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее; совершил я сие, матушка, для того, чтобы привести свои дела в порядок. Осталось у меня 50 тыс., которые (я получу их окончательно лишь через два года) будут давать мне ежегодно 2 тыс., до сделки же с Марксом книжки давали мне около 3½ тыс. ежегодно, а за последний год я, благодаря вероятно „Мужикам“, получил 8 тысяч! Вот вам мои коммерческие тайны. Делайте из них какое угодно применение, только не очень завидуйте моему необыкновенному умению жить... Беллетрист Иван Щеглов называет меня Потемкиным и тоже восхваляет меня за умение жить. Если я Потемкин, то зачем же я в Ялте, зачем здесь так ужасно скучно? Идет снег, метель, в окна дует, от печки идет жар, писать не хочется вовсе, и я ничего не пишу...

(А. П. Чехов—Л. А. Авилловой. Ялта. 1899,
18 февр. II. Т. V, 349—350).

5-го февраля 1899 г. я получила от Антона Павловича такое письмо:

„Я к вам с просьбой, чрезвычайно скучной— не сердитесь, пожалуйста. Будьте добры, наймите какогонибудь человека или благонравную девицу и поручите переписать мои рассказы, напечатанные когда то в „Петербургской Газете“... Рассказы мне нужны: я должен вручить их Марксу на основании заключенного между нами договора, и что хуже всего—я должен опять читать их, редактировать и, как говорит Пушкин, „с отвращением читать жизнь мою...“

Благонравной девицы у меня под рукой не оказалось, но мне порекомендовали человека, и мы с ним приступили к работе...

Через несколько дней ¹, Чехов писал мне: „Позвольте, матушка, воздать должную хвалу вашей доброте и распорядительности. Все прекрасно, лучше и быть не может. Переписчик пишет „скажит“, но это не беда...“

„...Присланные вами рукописи читаю,—писал мне Чехов,—о, ужас, что это за дребедень! Читаю и припоминаю ту скуку, с какой писалось все это во время оно, когда мы с вами были моложе... Остальные рукописи направляйте в Москву; я буду переделывать, а то, что переделывать нельзя,—бросать в реку забвения.“ ²

У меня к тому времени уже старалось два переписчика, а сама я зорко следила за списками, сборниками, измененными заглавиями, правописанием, каллиграфией, но почему то нам всем трем прямо не везло, и хотя дело и подвигалось,

¹ 23 марта 1899 г.

² Дата письма: 6 апр. 1899 г.

но шло далеко не так гладко, как бы мы этого желали.

„Ваши писатели переписали половину рассказов, уже помещенных в сборниках, но это, конечно, не беда,—писал Чехов уже из Москвы.—Кланяюсь вам в ножки и с покорностью жду счета. Сколько получил рассказов—не знаю, лень сосчитать. Знаю, что вчера притащил почталион целую кипу...“¹

И к моему ужасу, в этой кипе оказались два совершенно неожиданных и очень скверных рассказа, принадлежащих перу неизвестного ни мне, ни Антону Павловичу автора. Каким образом они переписались и отправились к Чехову—осталось для меня невыясненным. Но когда они вернулись от него обратно с большими красными вопросительными знаками на оборточном листе, я долго глядела на них с испугом и негодованием.

Они то чего выскочили! Точно без них я мало сознавала всю возмутительную бестолковость нашей работы.

Пыли было много, а толку мало, но Антон Павлович продолжал хвалить меня...

Последнюю рукописную тетрадку я передала Чехову собственноручно на Рязанском вокзале, куда он выехал, чтобы повидаться со мной, когда я была проездом в Москве. Он привез мне „писательских“ карамелек...

— А нас с вами здесь нет,—смеясь сказал он,—когданибудь будем? Как вы думаете?

На каждой карамели был портрет какого-нибудь писателя.

¹ Дата письма: 16 апр. 1899 г.

Это было 1 мая... В этот день в Художественном театре должна была итти „Чайка“, которая уже много раз шла, но которой он еще не видел, так как жил в Ялте.

— Оставляйтесь?—уговаривал он меня.—Я приглашаю вас к себе в ложу. Ведь сегодня спектакль не для публики, а для меня. Только для меня...

(Л. Авилова. «На основании договора». Чех. Юб. сб., стр. 374—378).

Издатель „Нивы“ А. Ф. Маркс, как известно, приобрел сочинения Чехова и, следовательно, надо было их собрать и издать. Чехов их сам редактировал, при чем выкидывал много, очень много. Между прочим и такие вещи, которые Марксу нравились. Я тогда состоял редактором „Нивы“, и по этому поводу у меня с Чеховым произошел разговор. Как писатель, я понятно был на его стороне.

Улыбаясь своей кроткой улыбкой, Чехов мне говорил, что писатель не рождается готовым, как Минерва из головы Юпитера, что он постепенно развивается и вырабатывается, так что ему иногда может быть стыдно за прежние его произведения. Только сам писатель может быть судьей в вопросе, что должно и не должно войти в собрание его сочинений. Нельзя от него требовать, чтобы он включал то, что уже не может признать ни художественным, ни даже просто грамотным. „Чехонте“ мог многое написать чего „Чехов“ никогда не напишет. Конечно, напечатанное нельзя уничтожить, но если бы произведения его сохранились только в виде рукописей, то он немедленно сжег бы то, что теперь вымарывает красным карандашом. Пусть библиографы и кри-

тики соберут вычеркнутое, чтобы уяснить себе ход его творчества (они ведь любят заниматься пустяками, рассмеялся Чехов); но публике это никогда не должно быть предложено. Писатель должен давать читателю только то, что он в своих произведениях признает лучшим.—Прав ли я?—спросил меня в заключение Чехов, мягким движением положив свою руку на мою.

Я ничего не ответил, но благодарно взглянул на него за то, что он так честно и высоко держит знамя писателя.

(Р. Сементковский. «Встречи и столкновения». «Русск. Старина». 1911 г., кн. XII, стр. 521—522).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В МОСКВЕ. — ПОКАЗНОЙ СПЕКТАКЛЬ МОСК. ХУД.
ТЕАТРА.—ИСТОРИЯ ПОСТАНОВКИ «ДЯДИ ВАНИ».

(1899 г.)

Наступила весна... Перебрался на север и Антон Павлович. Он поместился в маленькой квартире своей сестры на Малой Дмитровке...

Самый простой стол посреди комнаты, такая же чернильница, перо, карандаш, мягкий диван, несколько стульев, чемодан с книгами и записками, словом, только необходимое и ничего лишнего—это была обычная обстановка его импровизированного кабинета во время путешествия...

Скоро на письменном столе появились тоненькие тетрадошки. Их было очень много. Антон Павлович был занят в то время корректурой своих мелких, забытых им рассказов самой ранней эпохи. Он готовил своему издателю Марксу новый выпуск мелких рассказов. Знакомясь с ними вновь, он добродушно хохотал...

Рядом с его комнатой часто шумел самовар, а вокруг чайного стола, точно калейдоскоп, сменялись посетители. Одни приходили, другие уходили. Здесь часто и долго сживал покойный художник Левитан, поэт Бунин, Владимир Иванович Немирович - Данченко, артист нашего

театра Вишневский, Сулержицкий и многие другие...

(К. О. Станиславский. «Из воспомин. об А. П. Чехове в Худож. театре», собрал Л. А. Сулержицкий. Альманах «Шиповник». 1914 г., кн. 23, стр. 156—157).

Беликим постом приезжает Чехов в Москву. Конечно, мы хотим непременно показать „Чайку“ автору, но... у нас не было своего театра. Сезон кончался с началом поста, и кончалась аренда нашего театра... Решили на один вечер снять театр Парадиза, где всегда играли в Москве приезжие иностранные гастролеры. Театр нетопленный, декорации не наши, обстановка угнетающая после всего „нашего“, нового, связанного с нами.

По окончании четвертого акта, ожидая после зимнего успеха похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но „пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть“... Он был со многим не согласен, главное, с темпом, очень волновался и уверял что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что то не ладилось в этот раз. Владимир Иванович и Константин Сергеевич¹ долго успокаивали его, доказывали, что причина неудачной нашей игры та, что давно не играли (весь пост) и все актеры, настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неудобной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это неприятное впечатление, все

¹ Бл. Ив. Немирович-Данченко; Конст. Серг. Станиславский.

поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда Чехов так решительно и необычайно для него протестовал, когда ему что то было действительно не по душе...

(О. Книппер-Чехова. «Из моих воспомин. о Худож. театре и об А. П. Чехове». Сб. «Артисты М. Х. Т. за рубежом», стр. 26—27).

На показном спектакле Антон Павлович, по-видимому, избегал меня. Я ждал его в уборной, но он не пришел. Дурной знак! Нечего делать, я сам пошел к нему.

„Поругайте меня, Антон Павлович“,—просил я его.

„Чудесно же, послушайте, чудесно! Только надо дырявые башмаки и брюки в клетку“.

Больше я не мог ничего от него добиться. Что это? Нежелание высказать свое мнение, шутка, чтобы отвязаться, насмешка?.. Как же так: Тригорин, модный писатель, любимец женщин,—и вдруг брюки в клетку и рваные башмаки. Я же как раз наоборот, надевал для роли самый элегантный костюм: белые брюки, туфли, белый жилет, белую шляпу и делал красивый грим.

Прошел год или больше. Я снова играл роль Тригорина в „Чайке“—и вдруг, во время одного из спектаклей, меня осенило:

„Конечно, именно дырявые башмаки и клетчатые брюки, и вовсе не красавчик! В этом то и драма, что для молоденьких девушек важно, чтоб человек был писателем, печатал трогательные повести,—тогда Нины Заречные, одна за другой, будут бросаться ему на шею, не замечая того, что он и незначителен, как человек, и некра-

сив, и в клетчатых брюках, и в дырявых башмаках. Только после, когда любовные романы этих „чаек“ кончаются, они начинают понимать, что девичья фантазия создала то, чего на самом деле никогда не было“.

Глубина и содержательность замечаний Чехова поразила меня. Она была весьма типична для него.

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 299—301).

Я не знаю, что с собой делать. Строю дачу в Ялте, но приехал в Москву, тут мне вдруг понравилось, несмотря на вонь, и я нанял квартиру на целый год, теперь я в деревне, квартира заперта, дачу строят без меня—и выходит какая то белиберда...

В Москве для меня играли „Чайку“ в художественном театре. Постановка изумительная...

(А. П. Чехов—П. Ф. Иорданову. Мелихово. 1899, 15 мая. П. Т. V, 390).

После успеха „Чайки“ многие театры стали гоняться за Чеховым и вели с ним переговоры о постановке его другой пьесы „Дядя Ваня“. Представители разных театров навещали Антона Павловича на дому, и он вел с ними беседы при закрытых дверях. Это смущало нас, так как и мы были претендентами на его пьесу. Но вот однажды Чехов возвратился домой взволнованный и рассерженный. Оказалось, что один из начальствующих лиц театра,¹ которому он давно, раньше нас, обещал свою пьесу, нехотя обидел Антона Павловича. Вероятно, не зная, что ска-

¹ Московского Малого театра.

зять и как начать разговор, директор спросил Чехова:

„Чем вы теперь занимаетесь?“

„Пишу повести, рассказы, а иногда и пьесы“.

Что было дальше, я не знаю. В конце свидания Чехову преподнесли протокол репертуарной комиссии театра, в котором было сказано много лестных слов об его пьесе, принятой для постановки, однако при одном условии, чтоб автор переделал конец третьего акта, в котором возмущенный дядя Ваня стреляет в профессора Серебрякова.

Чехов краснел от возмущения, говоря о глупом разговоре, и тотчас же, цитируя нелепые мотивы переделки пьесы, как они были изложены в протоколе, раздражался продолжительным смехом... Мы внутренне торжествовали, так как предчувствовали, что на нашей улице праздник, т.е. что судьба „Дяди Вани“ решена в нашу пользу. Так, конечно, и случилось...

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 301—302).

Московские критики в это время писали о нем ученые статьи, пережевывая старую мочалу, утверждая, что Тургенев писал лучше... Он видел насквозь всю ветошь и раздутость московских ученых и, наконец, не выдержал и разрешился очаровательной фигурой Серебрякова, „отставного“ профессора в „Дяде Ване“.

В Чехове давно „накипал“ этот тип. Помню, как, читая „критику“, он возмущался не тем, что писали, но каким путем можно было додуматься до таких сентенций.

— Ведь за эту чепуху им деньги платят!— говорил он.— Вы прочтите нынешнюю книжку „Артиста“, что пишет Н. Н. Нет, что он пишет! А у нас почитывают и ушами похлопывают!

И вот, наконец, дядя Ваня дал аттестат „старому сухарю“, ученой вобле—„Сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатора... Человек ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых не интересно,—значит двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение! Какие претензии!..“¹

Вообразите положение трех профессоров, судящих „Дядю Ваню“ в литературном комитете. Вообразите, как они между строк чувствуют, что стрелы направлены именно в них, а не в кого другого.

Что же им оставалось?

Они предложили автору переделку некоторых сцен, найдя их неестественными. Вобла судила Чехова! Чехов отказался следовать указаниям воблы. Друзья Антона Павловича схватились за последнее—повезли его к управляющему московскими театрами. Несмотря на страстную седмицу, он их великодушно принял и изрек:

— Хотите, мы поставим какуюнибудь другую вашу пьесу. Ведь у вас, кажется, есть еще пьесы?

¹ Цитата из «Дяди Вани». Ом. полн. собр. соч., т. XIV, стр. 8.

Увы! после этой фразы сцена Малого театра не увидела ни одной пьесы Чехова, и он для казенных московских театров был потерян навсегда...

Пьеса не переделана и осталась „неестественной“, тем не менее составляя один из крупнейших вкладов в драматическую сокровищницу конца XIX века...

(П. П. Гнедич. «Последние орлы». «Историч. Вестн.», 1911 г., кн. I, стр. 64—65).

Пьеса была забракована московским литературно-театральным комитетом. Официальной причиной тому послужила, по объяснению самого комитета, недостаточная мотивировка покушения Ивана Петровича на убийство Серебрякова. „Разочарование в таланте профессора, раздражение на его бесцеремонность, не может служить, по мнению комитетских экспертов, достаточным поводом для преследования его pistolетными выстрелами. У зрителя может даже явиться подозрение, что поступок дяди Вани находится в связи с состоянием похмелья, в котором автор почему-то слишком часто показывает и Дядю Ваню и Астрова“.

(Д. Философов. «Быт, события и небытие». «Юбилейный Чех. Сборник». М. 1910, стр. 137).

В ответ на ваше письмо от 26 сент. я придумал вот что: у Чехова есть прекрасная комедия „Леший“, которая никогда не была напечатана, а только налитографирована и игралась. Он ее переделал под заглавием „Дядя Ваня“, по моему, испортил, хотя и в испорченном виде она все таки замечательна. „Дядя Ваня“ вошел

в состав томика „Пьесы“, а „Леший“ так и пропал... Почему, скажете вы, не напечатан „Леший“? Это сложная история. Пьеса вызвала озлобление в профессорских кружках, потому что выставлен комический и жалкий профессор, либерал и эстетик. Чехов раскапризничал и не дал пьесу в печать. Даст ли он ее теперь—не знаю. Я могу его спросить. Нет сомнения, что именно, как вариант „Дяди Вани“, она в „Пантеоне“ была бы крупным литературным шедевром...¹

(А. И. Урусов—Д. В. Filosoфову. Москва. 1899, 3 окт. «Князь Алекс. Ив. Урусов. Статьи его, письма и пр.», стр. 309).

Умоляю вас, не сердитесь: я не могу печатать „Лешего“. Эту пьесу я ненавижу и стараюсь забыть о ней. Сама ли она виновата или те обстоятельства, при которых она писалась и шла на сцене,—не знаю, но только для меня было бы истинным ударом, если бы какие нибудь силы извлекли ее из под спуда и заставили жить. Вот вам яркий случай извращения родительского чувства!

Ваше желание вы выражаете в письме в виде милой, дружеской просьбы, и мне теперь бесконечно стыдно, что я посылаю вам не тот ответ, какой бы следовало, и я не знаю, что мне делать. Дать вам обещание? Извольте, обещаю, что

¹ «Д. Ф. Filosoфов состоял тогда членом Петербургского Театрального Литературного Комитета. Только что происшедший в Москве инцидент с забраковкой «Дяди Вани» очень огорчил его и он через кн. А. И. Урусова старался как нибудь замаять это дело, т. к. тогдашний директор театров кн. Волконский желал поставить «Дядю Ваню» на Александринской сцене». (Там же, примеч. редакции).

напишу новую пьесу и пошлю ее Дягилеву¹.
Напишу и пришлю вам в рукописи.

(А. П. Чехов—А. И. Урусову. Ялта. 1900,
16 окт. 2 П. Т. IV, 79).

После категорического отказа Чехова, возобновлять просьбу о „Лешем“ не считаю возможным. Но если писать статью о Чехове, как драматурге, так можно привести в дозволенных размерах цитаты.

Еще неудобнее мне представляется писать Чехову о каких то поправках в „Дяде Ване“, ради постановки его в Петербурге. Рана, нанесенная его самолюбию ослиным копытом, еще не зажила, и вдруг я стал бы ему советовать поправки! Нет, инициатива постановки его пьесы должна исходить от дирекции, и в интересах литературы следует сделать для Чехова исключение.

(А. И. Урусов—Д. В. Философову. 1899,
20 ноября. «Кн. А. И. Урусов, статьи его и пр.», стр. 311—312).

Пьеса² была отдана нам, чему Антон Павлович был чрезвычайно рад. Мы тотчас же принялись за дело. Надо было прежде всего воспользоваться присутствием Антона Павловича, чтобы договориться с ним об авторских желаниях. Как это ни странно, но он не умел говорить о своих пьесах. Он смущался, конфузился и, чтоб выйти из неловкого положения и избавиться от нас, прибегал к своей обычной присказке:

„Послушайте, я же написал, там же все сказано“.

¹ С. П. Дягилев — редактор журн. «Мир Искусства» и «Ежегодника Имп. театров».

² В собрании писем А. П. Чехова — дата настоящего письма «18 апреля», исправляем ее, как явно ошибочную.

³ «Дядя Ваня».

Но, выждав, мы возобновляли допрос, пока, наконец, Чехов не намекнет нам случайно брошенным словом на интересную мысль пьесы или на оригинальную характеристику своих героев. Так, например, мы говорили о роли самого дяди Вани. Принято считать, что он, в качестве управляющего имением профессора Серебрякова, должен носить традиционный театральный костюм помещика: высокие сапоги, картуз, иногда плетку в руках, так как предполагается, что помещик обьезжает имение верхом. Но Чехов возмутился.

„Послушайте,—горячился он,—ведь там же все сказано. Вы же не читали пьесы“.

Мы заглянули в подлинник: но никаких указаний не нашли, если не считать нескольких слов о шелковом галстуке, который носил дядя Ваня.

„Вот, вот же! Все же написано“,—убеждал нас Чехов.

„Что написано?—недоумевали мы.—Шелковый галстук?“

„Конечно же, послушайте, у него же чудесный галстук, он же изящный, культурный человек. Это же неправда, что наши помещики ходят в смазных сапогах. Они же воспитанные люди, прекрасно одеваются, в Париже. Я же все написал“...

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 301—303).

...В третьем акте Соня, на словах: „папа, надо быть милосердным“—становилась на колени и целовала у отца руку.

— Этого же не надо делать, это ведь не драма,—сказал Антон Павлович.—Весь смысл и

вся драма человека внутри, а не во внешних проявлениях. Драма была в жизни Сони до этого момента, драма будет после этого, а это—просто случай, продолжение выстрела. А выстрел—ведь не драма, а случай.

(Н. С. Бутова. «Из воспом. об А. П. Чехове в Худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповник». Кн. 23, стр. 194).

...Вы спрашиваете, буду ли я волноваться. Но ведь о том, что „Дядя В.“ идет 26-го, я узнал как следует только из вашего письма, которое получил 27-го. Телеграммы стали приходить 27-го вечером, когда я был уже в постели. Их мне передают по телефону. Я просыпался всякий раз и бегал к телефону в потемках, босиком, озяб очень; потом едва засыпал, как опять и опять звонок. Первый случай, когда мне не давала спать моя собственная слава. На другой день, ложась, я положил около постели и туфли и халат, но телеграмм уже не было.

В телеграммах только и было, что о вызовах и блестящем успехе, но чувствовалось в них что-то тонкое, едва уловимое, из чего я мог заключить, что настроение у вас всех не так, чтобы уж очень хорошее. Газеты, полученные сегодня, подтвердили эту мою догадку. Да, актриса, вам всем художественным актерам уже мало обыкновенного, среднего успеха, вам подавай треск, пальбу, динамит. Вы в конец избалованы, оглушены постоянными разговорами об успехах, полных и неполных сборах, вы уже отравлены этим дурманом, и через 2—3 года вы все уже никуда не будете годиться! Вот вам!

Как живете, как себя чувствуете? Я все там же, и все тот же: работаю, сажаю деревья.

Но пришли гости, нельзя писать. Гости просидели уже больше часа, попросили чаю. Пошли ставить самовар. Ой, как скучно!.. Я как в тюрьме и злюсь, злюсь.

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер. Ялта, 1899, 30 окт. II. Т. V, 439—442).

Я благодарю небо, что, плывя по житейскому морю, я, наконец, попал на такой чудесный остров, как Художественный театр...

У меня к вам просьба: приезжайте весной на юг играть, умоляйте об этом Влад. Ивановича и Константина Сергеевича. Будете играть и кстати отдохнете. В Ялте вы возьмете пять полных сборов, в Севастополе столько же, а в Одессе вас примут, как королей, ибо ваш театр любят уже заглазно...

(А. П. Чехов—А. Л. Вишневскому. Ялта, 1899, 3 ноября. Т. V, 443).

До Художественного театра ¹ он не считал себя драматургом, может быть совершенно искренно, а может быть, щадя свое самолюбие; хотел писать для театра, где то в тайниках души верил в себя, как в драматурга, но так как успеха еще не имел, а рядом с ним имели успех сценических дел мастера, то он и маскировался в равнодушие.

¹ «Художественный театр — это лучшие страницы той книги, какая будет когда либо написана о современном русском театре... Это единственный театр, который я люблю...» — писал Чехов Вл. И. Немировичу-Данченко 24 ноября 1899 г.

— Пишу для сцены, чтобы увеличить гонорар из Общества Драматических писателей. Это же выгодно. В особенности надо писать побольше водевилей.

(Вл. И. Немирович-Данченко. «Гостеприимство Чехова». «Солнце России», 1914 г., № 223—25).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

«В ОВРАГЕ».—ИЗБРАНИЕ В АКАДЕМИКИ.—ОТНОШЕНИЕ
ЧЕХОВА К Л. Н. ТОЛСТОМУ.—МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕ-
СТВЕННЫЙ ТЕАТР В КРЫМУ.

(1899—1900 г.г.)

Я пишу повесть для „Жизни“¹, и готова она будет скоро, должно быть, ко 2-й половине декабря. В ней всего листа три, но тьма действующих лиц, толкотня, тесно очень—и приходится много возиться, чтобы эта толкотня не чувствовалась резко. Как бы ни было, около 10 дек. она уже сформируется совсем, можно будет набирать. Но вот беда: разбирает страх, что ее пощиплет цензура. Цензурных помарок я не перенесу, или кажется, что не перенесу. И вот потому, что повесть местами выходила не совсем цензурной, я не решался писать вам определенно и отвечать на верное. Теперь, конечно, отвечаю наверно, но с условием, что вы возвратите мне мою повесть, если она и вам покажется местами нецензурной, т. е. если вы также будете предвидеть опасность, что ее почиркает цензор.

Теперь просьба: пожалуйста не печатайте в об'явлениях меня так длинно. Право, это не принято. Печатайте в одну строку со всеми, по алфавиту...

(А. П. Чехов—В. А. Поссе. Ялта. 1899,
19 ноября. П. Т. V, 450).

¹ «В овраге».

Пожалуйста, не обижайся на меня за молчание. В переписке у меня вообще застой. Это оттого, что я пишу свою беллетристику—во первых, во вторых, читаю корректуру Марксу, в третьих, возня большая с приезжими больными, которые почему то обращаются ко мне. А корректура для Маркса—это каторга; я едва кончил второй том, и если бы знал раньше, что это так нелегко, то взял бы с Маркса не 75, а 175 тысяч...

Пьесы я не пишу. У меня есть сюжет „Три сестры“, но прежде чем не кончу тех повестей, которые давно уже у меня на совести, за пьесу не засяду. Будущий сезон пройдет без моей пьесы, и это уже решено...

(А. П. Чехов—Вл. И. Немировичу-Данченко. Ялта. 1899, 24 ноября. П. Т. V, 454—456).

Живем мы в Ялте. Построили дом. Дом небольшой, но удобный... Целый день звонит телефон, надоедают посетители... В финансовом отношении дело обстоит неважно, ибо приходится жаться. Дохода с книг я уже не получаю, Маркс по договору выплатит мне еще не скоро, а того, что получено, давно уже нет. Но оттого, что я жмусь, дела мои не лучше, и похоже, будто над моей головой высокая фабричная труба, в которую вылетает все мое благосостояние. На себя я трачу немного, дом берет пустяки, но мое литературное представительство, мои литераторские (или не знаю как их назвать) привычки¹

¹ «Литераторские привычки» Чехова заключались в денежной помощи различным общественным начинаниям: в Мелихове он участвовал в постройке школ и пр., в Ялте—в постройке санатории для чахоточных; в борьбе с голодом в Поволжье (1898—1899 г.г.) и т. д. Помимо этого, он постоянно помогал нуждавшимся писателям и каждому просившему у него.

отхватывают себе $\frac{3}{4}$ всего, что попадает мне в руки. Теперь работаю. Если рабочее настроение будет продолжаться до марта, то заработаю тысячи две—три, иначе придется проедать марксовские... Что касается Мелихова, то оно продано так же, как проданы мои сочинения, т. е. с рассрочкой платежа. Мне кажется, что мы, в конце концов, ничего не получим или получим очень, очень мало...

Меня здесь одолевают больные, которых присылают сюда со всех сторон—с бациллами, с кавернами, с зелеными лицами, но без гроша в кармане. Приходится бороться с этим кошмаром, пускаться на разные фокусы. Зри прилагаемый листок—и, пожалуйста, если можно, напечатай все или в выдержках в „Северн. Крае“. Окажи содействие... ¹.

С Питером я не переписываюсь, к Марксу не обращаюсь, с Сувориным давно прекратил переписку ² (дело Дрейфуса)...

(А. П. Чехов—М. П. Чехову. Ялта. 1899, 3 дек. II. Т. V, 460—462).

¹ Чехов, вместе с Елпатьевским (писателем и врачом) и д-ром Альтшуллером, собирали пожертвования на постройку санатория «Яузлар». Положение чахоточных в Ялте часто приводило А. П. в отчаяние: «Если бы вы знали, как живут здесь эти чахоточные бедняки, которых выбрасывает сюда Россия, чтобы отделаться от них, если бы вы знали—это один ужас! Самое ужасное—это одиночество и... плохие одеяла, которые не греют, а только возмущают безразличное чувство»,—пишет он А. Б. Тараховскому, (26 ноября 1899 г.). «Тяжелых больных не принимают здесь ни в гостиницы, ни в квартиры, можете же себе представить, какие истории приходится наблюдать здесь. Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заброса—и это в благодатной Тавриде. Потеряешь всякий аппетит и к солнцу и к морю...» (А. С. Суворину. 10 марта 1900 г.).

² Переписка Чехова с Сувориным стала в это время значительно реже и потеряла свою интимность, но прекратилась совсем лишь за год до смерти Ант. Павл. В апреле

Посылаю рукопись в безобразном виде. Я не стал переписывать из боязни, как бы не опоздать еще больше и не начать опять переделывать при переписывании. Пожалуйста, отдайте в набор и пришлите мне корректуру, я в корректуре сделаю то, что обыкновенно делаю переписывая, т. е. безобразное сделаю благообразным... Вот если бы вы отложили до февральской книжки, то было бы хорошо... Заглавие „В овраге“, быть может, изменю, если придумаю чтонибудь более выразительное и глазастое.

(А. П. Чехов—В. А. Поссе. Ялта. 1899, 20 дек. II. Т. V, 471).

Я облокотился на его письменный стол, на котором лежала какая то рукопись.

— Меня интересует, много ли вы перечеркиваете, когда пишете. Можно посмотреть?—спросил я.

— Можно.

Я подошел к столу с другого конца. Обыкновенный лист писчей бумаги был унизан ровными, мелкими, широко стоящими одна от другой строчками. Слов десять было зачеркнуто очень твердыми, правильными линиями, так что под ними уже ничего нельзя было прочесть. Мне бросилась в глаза фраза: „Херес был кислотавый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке“...

Чехов сказал, что готовит этот рассказ для журнала „Жизнь“, а потом улыбнулся и добавил:

1899 г. Чехов писал М. Горькому: «Из Петербурга получаю тяжелые, вроде как бы покаянные письма (от А. С. Суворина), и мне тяжело, так как я не знаю, что отвечать мне, как держать себя. Да жизнь, когда она не психологическая выдумка, мудреная штука».

— А рассказ то совсем не в духе марксистов. Пожалуй, и не напечатают.

(Борис Лазаревский. «А. П. Чехов». «Повести и рассказы». Т. II, стр. 6—7).

...В последнее время я много писал. Послал повесть в „Жизнь“. В этой повести я живописую фабричную жизнь и трактую о том, какая она печальная,—и только вчера случайно узнал, что „Жизнь“—орган марксистский, фабричный. Как же теперь быть?

(А. П. Чехов—М. О. Меньшикову. Ялта. 1899, 26 дек. «А. П. Чехов. Затеряя провин.», стр. 123—124).

В февр. книжке „Жизни“ будет моя повесть—очень странная¹. Много действующих лиц, есть и пейзаж. Есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где то далеко далеко: бу-у! бу-у!—как корова, запертая в сарае. Все есть..

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер. Ялта. 1900, 2 янв. II. Т. IV, 3).

Вместе с книгой журнала, в которой была напечатана повесть „В овраге“, А. П.—ч дал мне номер газеты.

— Прочитайте повесть и прочитайте в этой газете отзыв о ней.

Газета была, кажется, нижегородская: в ней была помещена статья о Чехове Горького, по поводу новой повести.

— Скажите, А. П.—ч,—спросил я, прочитав повесть,—это село, о котором вы говорите, семья,

¹ В сборнике «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой» (стр. 48) имеется это же самое письмо, но повесть в ней названа не странной, а страшной.

которую вы описываете, знали ли вы чтонибудь подобное? Ужели жизнь крестьян так дурна?

— Я описываю тут жизнь, какая встречается в средних губерниях, я ее больше знаю. И купцы Хрымины есть в действительности. Только на самом деле они еще хуже. Их дети с восьми лет начинают пить водку и с детских же лет развратничают; они заразили сифилисом всю округу. Я не говорю об этом в повести,—прибавил он,—потому что говорить об этом считаю нехудожественным.

Последние слова А. П.—ч подчеркнул: это был как бы ответ на увлечение описывать отвратительные стороны жизни, увлечение, которое тогда понемногу начинало проникать в литературу и о котором шел перед тем разговор. Я сказал, что больше всего мне нравилась глубоко-трогательная история о том, как ночью Липа несла гробик со своим мертвым ребенком...

— А знаете,—сказал А. П.—ч,—вот то, что мальчика Липы обварили кипятком, это—не исключительный случай: земские врачи нередко встречают такие случаи. Впрочем, я решил больше ничего не писать из жизни крестьян...

(С. П. «Из воспомин. об А. П. Чехове». «Русск. Мысль». 1911, кн. 10, стр. 46—47).

Вчера было 17-е янв.—мои именины и избрание в академики. Сколько телеграмм! А сколько еще будет писем! И на все надо отвечать, а то потомство обвинит в незнании светских приличий...

(А. П. Чехов—П. И. Куркину. Ялта. 1900, 18 янв. П. Т. VI, 10).

17 января—день именин и избрания в академии—прошло тускло и хмуро, так как я был нездоров. Теперь я выздоровел, но прихворнула мать. И эти маленькие беды совсем отбили всякий вкус и к именинам и к академическому званию, и они же помешали написать вам и ответить на телеграммы в свое время...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер. Ялта. 1900, 22 янв. П. Т. VI, 18).

Насчет академии вы недостаточно осведомлены. Действ. академиков не будет. Писателей-художников будут делать почетными академиками, обер-академиками, архи-академиками, но просто академиками—никогда или не скоро. Они никогда не введут в свой ковчег людей, которых они не знают и которым не верят. Скажите: для чего нужно было придумывать звание почетного академика?

Как бы то ни было, я рад, что меня избрали. Теперь в заграничном паспорте будут писать, что я академик. И доктора московские обрадовались. Это мне с неба упало.

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта. 1900, 23 янв. П. Т. VI, 20).

Что за болезнь у Толстого¹, понять не могу... Болезнь его испугала меня и держала в напряжении. Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во первых, я ни одного человека не любил так, как его; я человек не верующий, но из всех вер считаю наиболее близкой

¹ У Л. Н. Толстого предполагался рак, или язва желудка. Чехов не доверял этому диагнозу.

и подходящей для себя именно его веру. Во вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь,—не так страшно, так как Толстой делает за всех. Его деятельность служит оправданием тех упований и чаяний, какие на литературу возлагаются. В третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения. Без него бы это было беспастушье стадо или каша, в которой трудно было бы разобраться...

Толстого выбрали ¹ скрепя сердце. Он по тамошнему нигилист. Так, по крайней мере, назвала его одна дама, действительная тайная советница, с чем от души его поздравляю...

(А. П. Чехов—М. С. Менъшикову. Ялта. 1900, 28 янв. П. Т. VI, 23—25).

Антон Павлович ходил по кабинету взад и вперед и, увидев меня, сказал взволнованным голосом:

— Знаете, скверная новость...

— Что такое?

— Последние известия, что Толстому хуже. Умрет, должно быть. Ведь этакий он колосс в искусстве! Знаете, есть люди, которые боятся

¹ В почетные академики.

делать гадости, только потому, что жив еще Толстой. Да, да, да...

(Б. Лазаревский. «А. П. Чехов». Повести и рассказы, т. II, стр. 6).

Часто говорил он в суровом и грустном раздумьи:

— Вот умрет Толстой, все к чорту пойдет!

— Литература?

— И литература...

(И. Бунин. «Из записн. книжки». Полн. собр. соч., т. V, стр. 307).

Он ждал меня в своем кабинете с рассыпанными по полу газетами,—перечитывал он их великое множество,—с камином, набитым конвертами и письмами, которых он получал тоже великое множество... Говорили мы о новых талантливых писателях, появление которых он встречал с таким радостным чувством, о литературных веяниях, о всем том новом, хорошем и дурном, что входило в литературу и искусство. И лицо его оживлялось, и искорки юмора вспыхивали в глазах. Приходилось говорить и о тех конфликтах, которыми полна русская жизнь, и о тех острых и больных вопросах, которые давно стоят перед русскою жизнью в их строгой повелительности. Лицо его делалось усталым и скучным... Я вспоминаю полученное письмо и передаю ему „поклоны“,—настоящие московские поклоны,—от знакомых писателей, которые любили его, и Антон Павлович улыбается ласковой улыбкой... И снова говорим мы о литературе... И забывал он тогда Москву, и свою пове-

шенную температуру, и свое ялтинское одиночество.

(С. Елпатьяевский. «Ант. Павл. Чехов». «Близкие тени». М. 1909 г., стр. 71—74).

Ни одна зима не тянулась для меня так долго, как эта, и только тянется время, а не движется, и теперь я понимаю, как я глупо сделал, оставив Москву...

На Фоминой в Ялте будет играть Моск. Художеств. Театр, привезет свои декорации и обстановку. Билеты на все объявленные 4 спектакля были проданы в один день, несмотря на сильно повышенные цены. Пойдут, между прочим, „Одинокие“ Гауптмана—пьеса, по моему, великолепная. Я читал ее с большим удовольствием, хотя не люблю пьес...

(А. П. Чехов—А. С. Суворину. Ялта. 1900, 10 марта. П. Т. VI, 65).

...Артисты, их жены, дети, няни, рабочие, бутафоры, костюмеры, парикмахеры, несколько вагонов имущества в самую распутицу двинулись из холодной Москвы под южное солнце...

А вот и белый Севастополь!.. Белый песок, белые дома, меловые горы, голубое небо, синее море с белой пеной волн... Однако, через несколько часов небо покрылось тучами, море почернело, поднялся ветер, пошел дождь с хлопьями снега, загудела без перерыва зловещая сирена. Снова зима! Бедный Антон Павлович, который должен был плыть к нам из Ялты в такую бурю! Но мы напрасно его прождали... От него пришла лишь телеграмма, извещавшая о его новом заболевании. Он едва ли придет в Севастополь...

Настала Пасха, вернулось тепло. Неожиданно приехал Чехов...

Наступил первый спектакль. Мы показали Чехову, а кстати и Севастополю, „Дядю Ваню“. Успех был чрезвычайный. Автора вызывали без конца и меры. На этот раз Чехов был доволен исполнением. Он впервые видел наш театр в полной обстановке публичного спектакля. Во время антрактов Антон Павлович заходил ко мне, хвалил, а по окончании сделал одно лишь замечание по поводу отъезда Астрова:

„Он же свистит, послушайте... Свистит! Дядя Ваня плачет, а Астров свистит!“ И на этот раз большего я добиться от него не мог.

„Как же так,—говорил я себе,—грусть, безнадежность и—веселый свист?“

Но и это замечание Чехова само собой ожило на одном из позднейших спектаклей. Я как то взял да и засвистел: на авось, по доверию. И тут же почувствовал правду. Верно! Дядя Ваня падает духом и предается унынию, а Астров свистит. Почему? Да потому, что он настолько изверился в людях и жизни, что в недоверии к ним дошел до цинизма. Люди его уже не могут ничем огорчить... ¹

Из Севастополя мы переехали в Ялту, где нас ждал почти весь русский литературный мир, который, точно сговорившись, съехался в Крым к нашим гастролям. Там были в то время: Бунин, Куприн, Мамин-Сибиряк, Чириков, Станюкович, Елпатьевский и, наконец, только что про-

¹ Ср. со словами Чехова о свисте, в письме к О. Л. Книппер, от 2 янв. 1901 г., гл. 29-я, стр. 307.

славившийся тогда Максим Горький, живший в Крыму из-за болезни легких... Кроме писателей в Крыму было много артистов, музыкантов...

Ежедневно, в известный час, все актеры и писатели сходились на даче Чехова, который угощал гостей завтраком... На главном месте хозяйки восседала мать Антона Павловича, прелестная старушка, всеми нами любимая. Слушая рассказы об успехах пьес Антона Павловича, она, несмотря на свои преклонные лета, непременно захотела поехать в театр, чтобы посмотреть не нас, конечно, а Антошину пьесу. В день ее выезда, придя до завтрака, я застал Чехова чрезвычайно взволнованным. Оказывается, что мамаша вынула из сундука свое старинное шелковое платье, чтобы надеть его вечером в театр. Антон Павлович пришел в ужас:

„Мамаша в шелковом платье смотрит пьесу Антоши! Послушайте, нельзя же так“.

И тут же, после горячего восклицания, он закатывался веселым, очаровательным смехом, потому что бытовая картина мамы, сидящей в шелковом платье и аплодирующей сыну, который написал пьесу и теперь ездит в театр, чтобы раскланиваться публике,—казалась ему очень смешной и мещански-сентиментальной...

(К.С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 304—307).

У кассы театра толпилась разношерстная публика из расфранченных дам и кавалеров обеих столиц, учителей и служащих из разных провинциальных городов России, местных писателей и больных чихоткой...

Успех был большой...

То, что отравляло Антону Павловичу спектакли,—это необходимость выходить на вызовы публики и принимать чуть ли не ежедневно овации.

Нередко поэтому он вдруг неожиданно исчезал из театра, и тогда приходилось выходить и объявлять, что автора в театре нет. В большинстве случаев он приходил просто за кулисы и, переходя из уборной в уборную, жуировал закулисной жизнью, ее волнениями и возбуждениями, удачами и неудачами и нервностью, которая заставляла острее ощущать жизнь...

(К. С. Станиславский. «Из воспомин. об А. П. Чехове в Худож. театре», собр. Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповн.», кн. 23, стр. 169—170).

...Долго не писал тебе: причины тому—болезнь и актеры. На святой приезжал Художественный театр, играл „Чайку“ и „Дядю Ваню“, и две недели прошли, как в тумане...

(А. П. Чехов—В. А. Гольцеву. Ялта. 1900. 29 апр. П. Т. VI, 81).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

ЯЛТИНСКАЯ ДАЧА. — ПОЧИТАТЕЛИ. — ОБСТАНОВКА РАБОТЫ В ЯЛТЕ. — «ТРИ СЕСТРЫ».

(1900 г. — осень).

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто строил ее, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с расбросанными—то широкими, то узкими окнами... Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны противоположной шоссе, примыкало, отделенное низкой стенкой, старое заброшенное татарское кладбище...

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой... Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялту, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз, или выдергивал сорные травы из клумб...

Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

— Послушайте, при мне же здесь посажено каждое дерево и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место... Знаете ли, через триста четырехста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна...

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то, и другое осталось от „Дяди Вани“, с которым Художественный театр приезжал в Ялту... Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью, вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра.

Кабинет в Ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов 12 в длину и 6 в ширину... Прямо против входной двери—большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему—письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из под потолка, крошечным оконцем; в нише—турецкий диван. С правой стороны, посредине стены—коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами—это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу—дверь, сквозь



Дача А. П. Чехова в Ялте.



которую видна холостая спальня Антона Павловича,—светлая веселая комната... Стены кабинета—в темных с золотом обоях, около письменного стола висит печатный плакат „просят не курить“. Сейчас же возле входной двери, направо—шкаф с книгами. На камине несколько безделушек... Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе... На стенах портреты—Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые, темные занавеси, на полу большой, восточного рисунка ковер; эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы...

Вставал А. П., по крайней мере, летом довольно рано... В восемь—девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету, или за письменным столом, как всегда безукоризненно, изящно и скромно одетого.

Повидимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда... Нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами. Там сидел он иногда по часу и более,

один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висели целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры—и бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие... Приходила просящая беднота—и настоящая, и мнимая. Эти никогда не встречали отказа.

Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России...

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П.—ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотический по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического, как будто, звания.

Было хорошее, нежаркое, безветренное утро, А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказав-

шийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат „просят не курить“, не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную немецкую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному его делу. Дело же заключается в том, что сынок архитектора, гимназист III класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов, он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь.—„Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П.,—заклучил свой рассказ архитектор,—я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это—случай! Он мог бы задеть какуюнибудь важную артерию—и что бы тогда вышло?“—„Да, все это очень прискорбно, — ответил Чехов, — но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденций. Я пишу только рассказы“. — „Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ,—обрадовался архитектор.—Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя—

вы и г. П.“ (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика)...

Едва он наконец удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидящему с ней знакомому. — Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куданибудь. Он меня измучил!...

Однажды он с самым серьезным лицом сказал:

— Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: „А-а! Чехов? Это, который читатель? Знаю“. Почему то называют меня читателем. Может быть они думают, что я по покойникам читаю. Вот вы бы, батенька, спросили когданибудь извозчика, чем я занимаюсь...

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сб. «О Чехове», стр. 95—109).

Будучи в Ялте, я зашла к Антону Павловичу. Он сидел на балконе, а возле него на лерилах лежал большой морской бинокль.

— Это мой спаситель,—посмеялся он, указывая на бинокль.

— То есть как спаситель?

— А так. Когда ко мне приходят и начинают умные разговоры, я беру бинокль и начинаю смотреть в него. Если это днем—то на море, а ночью—в небо. Тогда гостям кажется, что я думаю о чем то важном, глубоком, они боятся помешать мне и тоже умолкают.

Через некоторое время мы сошли в сад и сидели там на скамье... Пришла одна дама и стала говорить о его произведениях. Долго он смотрел то в одну сторону, то в другую, а потом встал и просительно проговорил:

— Маша! Принеси мне бинокль!..

(Н. С. Бутова. «Из восп. об А. П. Чехове в Худож. театре», собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповник», кн. 23, стр. 193).

Стояла хорошая, жаркая и сухая погода. Чехов чувствовал себя очень хорошо и вечером предложил мне пойти гулять с тем, чтобы поужинать в городском саду... Прогулка шла очень недурно, но только до набережной. На набережной Чехов привлек к себе внимание публики. На него оглядывались, а следом за ним, как дельфины за пароходом, показались „антоновки“. Чехов смущался все больше и больше.

— Пойдем скорее. А то неловко. Видишь, здесь много людей.

Мы ускорили шаги, добрались до городского сада и заняли столик. Здесь присоединился к нам еще один из наших общих друзей, и мы занялись гастрономическими соображениями. Но недолго пришлось нам на этот раз благодушествовать. Толпа, неумолимая толпа, росла кругом столика, а аллеи сада наполнялись мужественными и неотвратимыми „антоновками“.

— Нет, так невозможно. Неловко очень. Чего ж это они на нас все так глядят! Пойдемте в ресторан, тут кабинет есть один,—смущенно говорил Чехов, забывая, повидимому, что глядели не на нас, а на него. И вслед за ним мы вынуждены были спрятаться в кабинете. Чехов боялся

толпы, как боялся позы, которой в нем никогда не было...

(Вл. Ладыженский. «Памяти А. П. Чехова». «Современ. Мир», 1914 г., № 6, стр. 118).

Однажды он в небольшой компании близких людей поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой то господин с бокалом в руках.

— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича Чехова, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, Чехов встал и вышел. И много раз с негодованием рассказывал об этой истории...

(И. А. Бунин. «Из записн. книжки». Полн. собр. соч., т. V, стр. 308).

Приезжаю к знакомому, застаю ужин, много гостей. Очень весело. Мне весело болтать с соседками и пить вино. Настроение чудесное. Вдруг поднимается Н с важным лицом, точно прокурор и произносит в честь мою тост. Чародей слова, идеалы, в наше время, когда идеалы потускнели и сейте разумное, вечное. У меня такое чувство, точно я был покрыт раньше колпачком, а теперь колпачок сняли, точно в меня прицелились. После тоста чокались, молчание. Пропало веселье.— Вы теперь должны сказать, говорит соседка.— Но что я скажу? Я охотно бы пустил в него бутылкой. И спать ложусь с осадком в душе. „Смотрите, смотрите, господа, какой дурак сидит среди вас!“

(«Записные книжки А. П. Чехова», стр. 57).

(Из писем А. П. Чехова—
О. Л. Книппер-Чеховой, Ялта.
1900 г. авг.—сент.).

(17 авг.).

Пишу пьесу,¹ но гости мешают дьявольски. Вчера с 9 часов утра до вечера, а сегодня с обеда. Все путается в голове, настроение становится мелким, злюсь, и каждый день приходится начинать сначала...

Из кабинета я ушел к себе в спальню и тут пишу у окна. Если гости не будут срывать настроения и если не буду злиться, то к 1—5 сентября уже окончу пьесу, т. е. напишу и перепишу начисто. А потом поеду в Москву, вероятно...

(18 авг.).

Мне жестоко мешают, скверно и подло мешают. Пьеса сидит в голове, уже вылилась, выравнилась и просится на бумагу, но едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое нибудь рыло. Не знаю, что будет, а начало вышло ничего себе, гладенькое, кажется...

(20 авг.).

Вчера пошел в сад, чтобы отдохнуть немножко, и вдруг—о ужас!—подходит ко мне дама в сером, NN. Она наговорила мне разной чепухи и между прочим дала понять, что ее можно заставить только от часа до трех. Только! Простилась со мной, потом немного погода, опять подо-

¹ «Три сестры».

шла и сказала, что ее можно застать только от часа до трех. Бедняга, боится, чтобы я не надоед ей.

Пьеса начата, кажется, хорошо, но я охладел к этому началу, оно для меня опошлилось—и я теперь не знаю, что делать. Пьесу ведь надо писать не останавливаясь, без передышки, а сегодняшнее утро—это первое утро, когда я один, когда мне не мешают. Ну да все равно, впрочем...

(30 авг.).

Не пишу тебе, потому что погоди, пишу пьесу. Хотя и скучновато выходит, но, кажется, ничего себе, умственно. Пишу медленно—это сверх ожидания. Если пьеса не вытанцуетя как следует, то отложу ее до будущего года. Но все таки, так или иначе, кончу ее теперь.

Ах, как мне мешают, если бы ты только знала!! Не принимать людей я не могу, это не в моих силах... ¹

(5 сент.).

Все время я сидел над пьесой, больше думал, чем писал, но все же мне казалось, что занят делом и что мне теперь не до писем. Пьесу пишу, но не спешу, и очень возможно, что так

¹ Последняя фраза—ответ на письмо О. Л. Книппер, (от 24 авг.), тогда невесты Ант. Павл. Она пишет ему: «...как ты меня огорчаешь, когда пишешь, что посетители все еще мешают тебе работать. Ты подумай—день за днем проходят в пустой болтовне, а сам говоришь, что пьеса просит вылиться, сам негодуешь на то, что мешают... Ну, устрани, ну, сделай как нибудь, чтобы ты мог спокойно, не раздражаясь, работать». («Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 61—62).

и в Москву поеду, не кончив; очень много действующих лиц, тесно, боюсь, что выйдет неясно, или бледно, и потому, лучше бы отложить ее до будущего сезона. Кстати сказать, я только „Иванова“ ставил у Корша тотчас же по написании, остальные же пьесы долго еще лежали у меня, дожидаясь Влад. Ивановича, и таким образом у меня было время вносить поправки всякие...

(6 сент.).

Сижу дома и мне кажется, что я пишу...

Говорю „кажется“, потому что в иной день сидишь-сидишь за столом, ходишь—ходишь, думаешь-думаешь, а потом сядешь в кресло и возьмешься за газету, или же начнешь думать о том, о сем...

(6 сент.).

Что то у меня захромала одна из героинь, ничего с ней не поделаю и злюсь... Откуда это известие в Новостях Дня, будто название „Три сестры“ не годится? Что за чушь! Может быть и не годится, только я и не думал менять...

(4 окт.).

С пьесой вышла маленькая заминка, не писал ее дней десять или больше, так как хворал, и немножко надоела она мне, так что уж и не знаю, что написать тебе о ней... Как бы ни было, пьеса будет, но играть ее в этом сезоне не придется...

(14 окт.).

Я приеду в Москву 23 октября... Насчет пьесы не спрашивай, все равно в этом году играть ее не будут...

(«Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой». Изд-во «Слово», Берлин. 1924, стр. 57—72).

Мы все время подзуживали его на то, чтобы он писал пьесу. Из его писем мы знали, что он пишет из военного быта, знали, что какой то полк откуда то куда то уходит. Но догадаться по коротким отрывочным фразам, в чем заключается сюжет пьесы, мы не могли. В письмах, как и в своих писаниях, он был скуп на слова. Эти отрывочные фразы, эти клочки его творческих мыслей мы оценили только впоследствии, когда узнали самую пьесу.

Ему или не писалось, или, напротив, пьеса была давно уже написана и он не решался расстаться с ней и заставлял ее вылеживаться в своем столе, но он всячески оттягивал с присылкой этой пьесы. В виде отговорки он уверял нас, что на свете столько прекрасных пьес, что:

„Надо же ставить Гауптмана, — надо, чтобы Гауптман написал еще“, — а что он не драматург и т. д.

Все эти отговорки приводили нас в отчаянье, и мы писали умоляющие письма, чтобы он поскорее присылал пьесу, что надо спасти театр и т. п. Мы сами не понимали тогда, что насилуем творчество большого художника.

Наконец, пришли один или два акта пьесы, написанные знакомым мелким почерком... С двумя

актами в руках невозможно было приступить ни к выработке макетов, ни к распределению ролей... И с тем большей энергией мы стали добиваться остальных актов пьесы. Получили мы их не без борьбы. Наконец, Антон Павлович не только согласился прислать пьесу, но привез ее сам.

Сам он своих пьес никогда не читал. И не без конфуза и волнения присутствовал при чтении пьесы труппе...

Что его больше всего поражало и с чем он до самой смерти примириться не мог, это с тем, что его „Три сестры“,—а впоследствии „Вишневый сад“,—это тяжелая драма русской жизни. Он был искренно убежден, что это была веселая комедия, почти водевиль. Я не помню, чтобы он с таким жаром отстаивал какое нибудь другое свое мнение, как это, в том заседании, где он впервые услышал такой отзыв о своей пьесе...

(К. С. Станиславский. «Из воспом. об А. П. Чехове в Худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Пиповник», кн. 23, стр. 171—173).

Когда кончилось чтение, воцарилось какое то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что то высказывать, слышалось: „Это же не пьеса, это только схема“... „Этого нельзя играть, нет ролей, какие то намеки только“... Работа была трудная, много надо было распахивать в душах...

(О. Книппер-Чехова. «Из моих воспоминаний о Художеств. театре и об А. П. Чехове». Сб. «Артисты М. Х. Т. за рубежом». Прага, 1922, стр. 29).

Когда начались подготовительные работы, Антон Павлович стал настаивать, чтобы мы непременно пригласили одного его знакомого генерала. Ему хотелось, чтобы военно-бытовая сторона была до мельчайших подробностей правдива. Сам же Антон Павлович, точно посторонний человек, совершенно непричастный к делу, со стороны наблюдал за нашей работой.

Он не мог нам помочь в нашей работе, в наших поисках внутренности Прозоровского дома. Чувствовалось, что он этот дом знает подробно, видел его,—но совершенно не заметил, какие там комнаты, мебель, предметы, его наполняющие, словом он чувствовал только атмосферу каждой комнаты в отдельности, но не ее стены. Так воспринимает литератор окружающую жизнь...

(К. С. Станиславский. «Из воспомин. об А. П. Чехове в Худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповник», кн. 23, стр. 173).

В конце 1900 года был я в Москве. Возвращаюсь вечером в гостиницу, ждет меня Чехов. Начинаются бесконечные разговоры—сперва в общей зале „Базара“, потом наверху, в номере...

— Вы где были сегодня?

— У Льва Николаевича,¹—отвечаю.

Вдруг лицо Антона Павловича распускается в светлую, добродушную улыбку.

— Вы знаете, он не любит моих пьес, — уверяет, что я не драматург. Только одно утешение у меня и есть... прибавляет он.

— Какое?

¹ У Л. Н. Толстого.

— Он мне раз сказал: „Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира,—но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все таки хватает читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяя свернуть в сторону. А куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат,—до чулана и обратно?“

И сдержанный, спокойный Антон Павлович откидывает назад голову и смеется так, что пенсне падает с его носа...

— И ведь это искренно у Льва Николаевича,—продолжает он.—Был он болен—я сидел рядом с его постелью. Потом стал прощаться: он взял меня за руку, посмотрел мне в глаза и говорит:— „Вы хороший, Антон Павлович!“ А потом улыбнулся, выпустил руку и прибавил: „а пьесы ваши все таки плохие“...

(П. Гнедич. «Из записной книжки». «О Толстом». Международн. Толстовск. Альманах, сост. П. Сергеенко. М. 1909, стр. 32).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

НИЦЦА.—ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЯЛТУ.—«ТРИ СЕСТРЫ» НА СЦЕНЕ.

(1901 г.—зима и весна)

Антону Павловичу не удалось дожидаться генеральной репетиции „Трех сестер“, так как ухудшившееся здоровье погнало его на юг, и он уехал в Ниццу.

Оттуда мы получали записочки: — в сцене такой то, после слов таких то, добавить такую то фразу. Например:

— „Бальзак венчался в Бердичеве“ — было прислано оттуда.

Другой раз вдруг придет маленькую сценку. И эти бриллиантики, которые он присылал, рассмотренные на репетициях, необыкновенно оживляли действие и подталкивали актеров к искренности переживания. Было и такое его распоряжение из за границы. В четвертом акте „Трех сестер“, опустившийся Андрей, разговаривая с Фералонтом, так как никто с ним больше не желает разговаривать, описывает ему, что такое жена с точки зрения провинциального, опустившегося человека. Это был великолепный монолог страницы в две. Вдруг мы получаем записочку, в которой говорится, что весь монолог надо вычеркнуть и заменить его лишь тремя словами:

— Жена есть жена!

В этой короткой фразе, если вдуматься в нее глубже, заключается все, что было сказано в длинном, в две страницы, монологе.

(К. О. Станиславский. «Из воспомин. об А. П. Чехове в Худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альм. «Шиповник», кн. 23, стр. 175).

[Из писем А. П. Чехова.—
О. Л. Книппер - Чеховой.
Ницца. 1901 г. Январь].

(2 янв.).

Опиши мне хоть одну репетицию „Трех сестер“. Не нужно ли что прибавить или что убавить? Хорошо ли ты играешь?.. Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. Так и ты частенько задумывайся на сцене, во время разговоров. Понимаешь?.. ¹

(14 янв.).

Я подозреваю, что пьеса моя проваливается. И когда я виделся здесь с Немировичем-Данченко и говорил с ним, то мне было очень скучно и казалось, что пьеса непременно провалится и что для Художественного Театра больше писать не буду...

(20 янв.).

Ну как „Три сестры“? Судя по письмам, все вы несете чепуху несусветимую. В III акте шум. Почему шум? Шум только вдали, за сценой, глухой шум, смутный, а здесь, на сцене, все утомлены, почти спят. Если испортите III акт, то

¹ О. Л. Книппер играла в «Трех сестрах» роль Машки Прозоровой.

вся пьеса пропала и меня на старости летошикают... Я же говорил тогда, что труп Тузенбаха пронести неудобно по вашей сцене, а Алексеев стоял на том, что без трупа никак нельзя. Я писал ему, чтобы труп не проносили... Если пьеса провалится, то поеду в Монте-Карло и проиграюсь там до положения риз...

(28 янв.).

Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется утомили „Три сестры“, или попросту надоело писать, устарел. Не знаю. Мне бы не писать лет пять, лет пять путешествовать, а потом вернуться бы и засесть. Итак — „Три сестры“ не пойдут в Москве в этом сезоне? Вы ставите их в первый раз в Петербурге. Кстати, имей в виду, что в Петербурге вы не будете иметь никакого успеха... В Петербурге сборы будут, но успеха—ни капельки, извини меня, пожалуйста...

(«Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 86—95).

Однажды я имел возможность убедиться в том, как Чехов избегает всяких ненужных подробностей. Было это в Риме¹, в первый день великого поста. Мы вышли вместе из собора св. Петра, где при нас происходила довольно пестрая процессия „выкуривания следов карнавала“. — „Для беллетриста,—заметил я ему,—виденное не лишено некоторой прелести: хорошая тема для описания“. — „Нимало,—ответил он мне.—Современный рассказчик принужден был бы удовольство-

¹ Из Ниццы Чехов собирался ехать в Алжир, но поездка эта не состоялась. Вместо Алжира, Чехов с М. Ковалевским и проф. Коротневым отправились в Италию и побывали в Пизе, Флоренции и Риме.

ваться одной фразой: „тянулась глупая процессия“...

Мы разговорились о своих планах и надеждах... „Мне трудно,—сказал он,—задаться мыслью о какойнибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка“... Он без страха смотрел на будущее и не жаловался на свою судьбу, считая ее неотвратимой...

К самому себе Чехов умел относиться с строгой критикой. Я видел его после ряда часов, проведенных за корректурой „Трех сестер“. Он был не в духе, находя пропасть недостатков в своей пьесе, и клялся, что больше для театра писать не будет. К счастью, такое настроение скоро проходило у него, и когда ктонибудь из приятелей позволял себе критическое отношение к тем или другим сторонам его комедии, он искусно и победоносно отстаивал написанное, прибавляя: „Нельзя судить о пьесе, не видя ее на сцене“.

(Максим Ковалевский. «Об А. П. Чехове». «Биржев. Ведом.», 1915 г., № 15, 185).

В феврале 1901 года Антон Павлович был в Одессе на возвратном пути из Флоренции в Ялту. Мы сидели в Лондонской гостинице и он, волнуясь и покашливая, рассказывал возмутительную историю с ним в Одесской таможне.

Таможенный чиновник забрал его портфель с письмами. Некоторые полученные им письма Антон Павлович, всегда любивший порядок, запаковывал в конверты. Чиновник стал разрывать конверты, чтобы убедиться в легальности содержимого. Чехов возмутился. Еще больше возмутился его спутник.

— Ведь вы грамотный человек!—пробовал тот урезонить чиновника.— Это Чехов, Антон Павлович Чехов, писатель. Кажется, можете поверить ему.

— Не знаю, грамотны ли вы, но я кончил университет!—с апломбом заявил чиновник.— Для меня служба выше всяких Чеховых!

Но, очевидно, чиновник этот понимал службу по своему, потому что начальство, бывшее чином повыше этого господина, заявило, что эти пакеты останутся неприкосновенны.

— Непременно надо будет рассказ написать,—сказал в заключение Антон Павлович.—Очень уж это характерна у нас склонность всякого ничтожества поизмываться над беспомощным человеком и показать свою власть...

Я собрался уходить.

— Куда вы? Постойте... Или вот что, пойдемте вместе, пройдемся по городу. Я, кстати, куплю матушке подарок. Пойдем,—обратился он к своему спутнику.

— Погода скверная. Я и вам, Антон Павлович, не советую,

— Нет, я пойду. Что там на погоду еще обращать внимание! К тому же я боюсь дома сидеть.

— Чего?

— Да вот, в газетах уже напечатали, что я здесь. Интервьюеры уже навевывались. Не люблю я этого. А потом, пожалуй, барышня придет спрашивать, как жить надо, а я и сам не знаю. А то гимназисты любят к писателям ходить советоваться — насчет самоубийства. Ужасно приятно в 16—17 лет думать о самоубийстве.

— А дамы с драмой? ¹,—напомнил я ему.— У нас их в Одессе миллион.

И я рассказал ему, как ко мне пришла одна такая дама и на вопрос: какая у нее пьеса, оригинальная или переводная, ответила: „Нет, совсем обыкновенная“. Я рассказал ему все это в лицах.

Он засмеялся своим трогательным, заразительным смехом... Все так любили этот смех, что пользовались всем, чтобы вызвать его у Антона Павловича.

Особенным мастером на это был И. А. Бунин. Когда истощался запас личного юмора, Бунин читал Чехову его собственные юмористические рассказы, и Антон Павлович смеялся так, как будто это были чужие произведения. Между прочим, он говорил, что только по прошествии двух лет может сказать, хорошо или дурно то, что он написал. Этим объяснялось и то, что он просил меня достать рецензии о „Трех сестрах“, хотя не весьма доверял критике.

— Не знаешь, за что и откуда ударят,—объяснял он.—В особенности за пьесы. Это ведь ужасно как страшно,—пьесу ставить. Тут и публика, и актеры, и погода, и именинники,—все путается.

Он никогда не мог забыть провала первого представления „Чайки“ и, вообще, первых неудач с пьесами. Впрочем, говорил он теперь об этом без горечи, еще менее было злобы в его воспоминаниях...

— А вы теперь пишете чтонибудь, Антон Павлович?

¹ Намек на рассказ Чехова «Драма», написан. в 1887 г.

Чехов не любил таких вопросов... Он ответил уклончиво:

— Да, пишу кое что. Я всегда пишу...

Мы часа полтора бродили по городу, заходили в магазины, покупали что то... Проходя мимо писчебумажных магазинов, Антон Павлович оставался у окон.

— Ужасно как люблю писчебумажные магазины,—говорил он.—Зайдем.

Заходили и он покупал бумагу.

— Это моя страсть,—посмеивался Антон Павлович.—Люблю бумагу и жаден на нее. Лучше целковый дам, чем листок бумаги. А когда письма я получаю, всегда чистый листок отрываю и складываю. Хорошо писать на них...

Я проводил Чехова до гостиницы. Тут мы узнали, что у него за время его отсутствия успели уже побывать одесские поклонники. Между прочим, хотели устроить ему обед. Чехов даже испугался последней затеи.

— Нет, не люблю я этого, не надо... А вы вот что,—обратился он ко мне,—приходите вечером, непременно же приходите. Да нет ли здесь еще когонибудь из молодых писателей?

Я назвал Куприна.

— Ну вот, и его приведите с собою.

Вечером мы с Куприным были у Чехова... Целый вечер прошел в самой живой беседе. Антон Павлович все время ходил взад—вперед по диагонали маленького номера, смеялся, показывал, и слушал, и рассказывал сам. Он говорил коротко, иногда просто намеком, в несколько слов, сравнением двумя тремя чертами...

На другой день Чехов уезжал из Одессы в Ялту. Мы приехали на пароход проводить его. Был серый февральский день...

— Антон Павлович, шли бы вниз, погода отвратительная.

— Не пойду.

— Не бережете вы себя.

— Если бы я не берегся, давно бы меня на свете не было, а я еще лет десять проживу,— спокойно ответил Антон Павлович.

— Я знаю, на то я и доктор...

(А. Федоров. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 283—291).

Я уехал из Италии по той причине, что там теперь снег, холодно и потому, что стало вдруг скучно без твоих писем, от неизвестности. Ведь насчет „Трех сестер“ я узнал только здесь в Ялте, в Италию же дошло до меня только чуть чуть, еле еле. Похоже на неуспех, потому что все, кто читал газеты, помалкивают и потому что Маша¹ в своих письмах очень хвалит. Ну да все равно...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер. Ялта. 1901, 20 февр. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 100).

Успех пьесы был довольно неопределенный.

После первого акта были трескучие вызовы актеры выходили к публике что то около двенадцати раз. После второго акта вышли один раз. После третьего—трусливо аплодировало несколько человек и актеры выйти не могли, а после четвертого — жидко вызывали один раз.

¹ Марья Павловна Чехова.

Пришлось допустить большую натяжку, чтобы телеграфировать Антону Павловичу, что пьеса имела „большой успех“.

И только через три года после первой постановки публика постепенно оценила все красоты этого изумительного произведения и стала смеяться и затихать там, где этого хотел автор. Каждый акт сопровождался триумфом. Пресса также долго не понимала этой пьесы. И как это ни странно, но одну из лучших рецензий мы прочли в Берлине, когда ездили туда давать там свои спектакли¹.

В Москве, в год ее постановки, пьеса прошла всего несколько раз, и затем была перевезена в Петербург. Туда же ожидали и Антона Павловича, но плохая погода и его здоровье помешали этому...

(К. С. Станиславский. «Из воспомин. об А. П. Чехове в Худож. театре». Собрал Л. А. Сулержицкий. Альб. «Шиповник», кн. 23, стр. 176).

Вы спрашиваете: читаю ли я, что пишут обо мне повсюду? Нет, за границей я редко читал русские газеты; но брань Бур-на читал. Я отродясь никого не просил ни разу сказать обо мне в газетах хоть одно слово, и Бур-ну это известно очень хорошо, и зачем это ему понадобилось обвинять меня в саморекламирвании и окаты-вать меня помоями—одному богу известно²...

(А. П. Чехов—Н. П. Кондакову. Ялта. 1901. 20 февр. П. Т. VI, 130).

¹ Заграничная поездка Московск. Художеств. Театра (Берлин, Вена, Прага) состоялась в 1906 г.

² Буренин писал, что успех «Трех сестер» был построен исключительно на «ловкой рекламе». «...Потом телеграммы: написал 1-е действие», «набросал половину второго», «три четверти 3-го действия окончены», «еще не дано заглавие

Милая моя, не читай газет, не читай вовсе, а то ты у меня совсем зачахнешь. Вперед тебе наука; слушайся старца иеромонаха. Я ведь говорил, уверял, что в Петербурге будет неладно,— надо было слушать... Я лично совсем бросаю театр, никогда больше для театра писать не буду. Для театра можно писать в Германии, в Швеции, даже в Испании, но не в России, где театральных авторов не уважают, лягают, как копытами, и не прощают им успеха и неуспеха. Тебя бранят теперь первый раз в жизни, оттого ты так и чувствительна, со временем же обойдешься, привыкнешь..

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта. 1901, 1 марта. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 103—104).

пьесе», «заглавие пьесы «Три синицы», «нет, заглавие пьесы не «Три синицы», а «Три тетки...» «Нет, не «Три тетки», а «Пять сестер», «просто «Сестры», «Две сестры», наконец,— «Три сестры». Но вот что, однако,—«Три сестры» ведь только в театре Станиславского и имели шумный и, коли хочешь, глупый успех... Успех этот—знамение рекламы и только... Чехов в некоторой части теперешней журнальной критики втаскивается довольно усиленно на пьедесталы такой непомерной высоты, на которых его, во всяком случае, средней величины литературный образ может предстать, пожалуй, и совсем маленьким... Он является драматургом не только слабым, но почти курьезным... Его драмы—упражнения в книжно-выдуманных, иногда прямо глупых и почти всегда бессодержательных разговорах».—После появления «Трех сестер» в печати, Буренин («это злое, желтое от зависти животное», как называл его однажды Чехов)—снова принимается за издевательство над пьесой и Чеховым. Он пишет пародию: «Девять сестер и ни одного жениха, или вот так Бедлам», в которой изображает «сестер» (Дура, Ахиня, Кретина и т. п.) от скуки, «сосущих тряпку», а автора, выходящим на вызовы публики, в сопровождении «дрессированных комаров, тараканов» и т. д. (В. П. Буренин. Сочинения, т. V. Пг 1917 г.).

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

ОТНОШЕНИЕ К КРИТИКЕ. — СЮЖЕТЫ. — ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ. — ВНУТРЕННЯЯ СУЩНОСТЬ И ТЕХНИКА РАБОТЫ.

(Конец 90-х г.г. и начало 900-х г.г.)

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю,—говорил он усмехаясь своей умной усмешкой.—Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это, просто—характер у него беспокойный и заявить о себе хочется,—мол, тоже на земле живу! Вот видите,—могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором.¹

(М. Горький. «А. П. Чехов». Собр. соч. т. XVI, (Мои университеты), изд. «Книга». Берлин. 1923 г., стр. 264).

— Читали, Антон Павлович?—скажешь ему, увидав гденибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенснэ:

— Покорно вас благодарю! Напишут о комнибудь тысячу строк, а внизу прибавят, „а вот

¹ Отзыв А. М. Скабичевского. См. гл. V, стр. 63.

еще есть писатель Чехов: нытик...“ А какой я нытик? Какой я „хмурый человек“, какая я „холодная кровь“, как называют меня критики? Какой я „пессимист“? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ—„Студент“... И слово то противное: „пессимист“... Нет, критики еще хуже, чем актеры, на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, гденибудь бранят, то почаще вспоминайте нас грешных; нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство...

(И. А. Бунин. «Чехов». Полн. собр. соч., т. V, стр. 298—299).

Раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Помню, например, как он однажды был взволнован характеристикой его таланта в одной книге, где говорилось о „равнодушии“ Чехова к вопросам нравственности и общественности и о его мнимом пессимизме. И однако его волнение сказалось только в двух, сурово и задумчиво сказанных, словах:

— Форменный идиот!

(И. Бунин. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове». стр. 19.)

А. П. Чехова усиленно читали и печатали. Художественный театр Москвы отдал все свои силы и любовь пьесам А. П. Чехова. Имя Че-

хова было уже занесено в отдельную главу истории русской литературы. И все же А. П. не был доволен ни собою ни своим местом в рядах русских писателей...

В одной из бесед с А. П. Чеховым я лично от него слышал чисто тригоринскую горечь на эту тему и почти в тригоринских словах. Говоря о критических отзывах о нем, А. П. Чехов мимоходом заметил:

— Странно пишут обо мне, никогда просто о Чехове. Всегда о Чехове в сравнении с кемнибудь. Прежде писали: „Чехов и Тургенев“, „Чехов и Короленко“, даже „Чехов и Мопассан“. Теперь стали писать: „Чехов и Горький“, „Чехов и Андреев“...

Поэтому, в скольких бы изданиях ни расходились его рассказы, каким бы шумным и общим успехом не пользовались его пьесы, А. П. Чехов лично был недоволен собою и своими произведениями. Ему хотелось чего то больше, шире, гуще...

(Григорий Петров. «Светлая Чайка». Чех. Юб. Сб., стр. 278—279).

Я подолгу жила в Ялте и почти все дни проводил у него... Случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал великое множество. Изредка в них попадалось кое что и обо мне, чаще всего чтонибудь неумное, и меня очень трогало, как спешил он смягчить это:

— Обо мне же еще глупей писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали по целому году...

Случалось, что во мне находили „чеховское настроение“. Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали „тургеневскими нотами“. Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Я не мог бы ни одного слова украсть у вас. Вы резче меня. Вы вон пишете: „море пахнет арбузом“. Это чудесно, а я бы ни за что так не сказал. Вы же дворянин, последний из „ста русских литераторов“, а я мещанин—„и горжусь этим“—говорил он, смеясь, цитируя самого себя.— Вот про курсистку—другое дело...

— Про какую курсистку?

— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длинейший почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстого господина, высунувшегося из другого окна...

Вот такие выдумывания художественных подробностей и сближали нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, он мог два три дня под ряд повторять с восхищением удачную художественную черту...

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в той художественной атмосфере, которая так раскрывает глаза художника, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал он из стола свою записную книжку и, подняв лицо, блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе и говорил:

— Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым! Работник!

Хотите парочку продам?..

(И. А. Бунин. «А. П. Чехов». Полн. собр. соч., т. V, стр. 308—309).

Иногда среди оживленной беседы, лицо Чехова как-то вдруг становилось сосредоточенным, даже несколько рассеянным. Казалось, что в это время внутри его затворялись двери и там, за этими дверями шла своя работа. Так проходила минута, другая. Собеседники поневоле замолкали, боясь нарушить его настроение. Но, он вдруг это замечал, останавливался среди комнаты, и медленно надевая пенснэ, всматривался в сидящих, а потом, совершенно неожиданно говорил, обращаясь к комунибудь из нас:

— Купите у меня сюжет рассказа. Дешево уступлю. Особенно же, если оптом. У меня несколько книжек записных с сюжетами.

Говорилось это с такой шутливой серьезностью, что мы при этой неожиданной выходке раздражались смехом, и сам он, сбрасывая пенснэ, смеялся вместе с нами

(А. Федоров. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 290).

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища, и вообще был охотник посмеяться. Помню, как хохотал он у себя в ялтинском кабинете над одним из своих же давнишних рассказов. И. А. Бунин как то спросил его:—А помните вы, Антон Павлович, рассказ Чехонте (такой то)? Наверно, забыли. Давайте, я прочитаю вам вслух.

Бунин, надо сказать, мастерски читает чеховские рассказы. И он начал читать...

Антон Павлович сначала хмурился (неловко ему казалось слушать свое же сочинение), потом стал улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально тряся от хохота в своем мягком кресле, но молча стараясь сдержаться.

— Вам хорошо, теперешним писателям,—нередко говорил он, полушутя, полусерьезно:—Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь быть писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут, и в хороший журнал не пустят. Это я всем вам стену лбом прошибал для маленьких рассказов...

(Н. Телепов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит». М. 1927, стр. 9—10).

Бывали у А. П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и всоображение. „Крупное само останется,—доказывал он,—а мелочи вы всегда изобретете, или отыщете“. Но вот, спустя час, кто то из присутствующих, прослуживший как то год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, рассказывает по сцене, рисуясь перед случайной

публикой, забредшей в зрительный зал. Энженю-комик, его „театральная жена“, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему: „Саша, как это ты вчера напевал из „Паяцев“? Насвищи пожалуйста“. Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взглядом и говорит жирным актерским голосом: „Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена—тот же храм!“

После этого рассказа, А. П. сбросил *pinсenez*, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. „Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена это храм?..“ И записал весь анекдот.

В сущности, даже противоречия во всем этом не было, и сам А. П. потом объяснил это. „Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы—это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку—иначе забудется, рассеется“.

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сб. «О Чехове», стр. 122—123).

Репетиция. Жена:

— Как это в „Паяцах“? Посвиисти, Миша.

— На сцене свистеть нельзя. Сцена—это храм.

(«Записные книжки А. П. Чехова», стр. 72).

Нередко в разговоре он вынимал маленькую записную книжку и что то . отмечал — „это нужно запомнить“. Работал он с тщательностью ювелира. Его черновик я принял однажды

за нотный лист,—до такой степени часты были зачеркнутые жирно места. Он кропотливо отделявал свой чудный слог и любил, чтобы было „густо“ написано: немного, но многое. У него было множество набросков и черновиков; выпросить у него чтонибудь для журнала было не так легко. „Будь я миллионер,—говорил он—я бы писал вещи с ладонь величиной“...

(М. О. Меньшиков. «Памяти А. П. Чехова». (Письма к близким), «Нов. Время». 1904 г., № 10186).

В последний период он тщательно отделявал свои рассказы,—не писал, а как сам шутя говорил про себя: „рисовал“. Одно время, уже в Крыму, Чехов поправлял написанный новый рассказ черными чернилами в первый раз, потом по поправленному какими-нибудь цветными чернилами второй раз, другими цветными чернилами—третий раз,—это он называл: „рисую“. Затем уже рассказ переписывался на белую опять черными чернилами всегда на четвертушке писчей бумаги мелким, угловатым почерком всегда самим автором и, если не подвергался еще раз обработке, то в таком виде „без пометки“ поступал обыкновенно в редакцию какого-нибудь журнала... Знаки препинания и красные строки у Чехова играли всегда важную роль. Об этом знали все редактора и особенно секретари журналов, где печатался Чехов.

(М. Л. «А. П. Чехов». «Туркестанские Ведомости», 1910 г., № 47).

Помню, как то мимоходом, он сказал значительную фразу:

— Только спаси вас бог читать кому нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте...

В последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее; держал рассказы по несколько лет, не переставая их исправлять и переписывать, и, все таки, несмотря на такую кропотливую работу, корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того, чтобы окончить произведение, он должен был написать его не отрываясь. „Если я надого оставлю рассказ,—говорил он как то, то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова“...

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сб. «О Чехове», стр. 113—114).

Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед,—сказал он однажды...

(И. Бунин. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 20).

Взыскательность его к себе в литературной работе и требовательность в том отношении, что надо писать только дело, дошла в последний болезненный год его жизни, до беспощадного чирканья страницы за страницей, слова за словом.

— Помилуйте—возмущались друзья,—у него надо отнимать рукописи. Иначе он оставит в своем рассказе только, что—они были молоды, влюбились, а потом женились и были несчастны.

Упрек этот был поставлен прямо самому Чехову. Он отвечал:

— Послушайте же, но ведь так же оно в существе и есть.

(А. В. Амфитеатров. «А. П. Чехов». «Славные мертвецы», стр. 21).

Не считая судебных отчетов, рецензий, фельетонов, заметок, всего, что писалось изо дня в день для газет и что теперь трудно отыскать и собрать, мною за 20 лет литературной деятельности было написано и напечатано более 300 листов повестей и рассказов. Писал я и театральные пьесы. Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность: они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и вероятно,—благодаря близости к медицине, мне удалось избежать многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня на стороже и я старался, где было возможно, соотноситься с научными данными, а где невозможно, предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными, нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с науч-

ными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и, что он имеет дело со сведущим писателем... К беллетристам, относящимся к науке отрицательно я не принадлежу, и к тем, которые до всего доходят своим умом, не хотел бы принадлежать.

(А. П. Чехов. Автобиография. Прилож.
к письму д-ру Г. И. Россалимо, 11 окт. 1899 г.,
П. Т. V, стр. 438—439).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕХОВ И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ. — СОВЕТЫ М. ГОРЬКОМУ. — НАЧИНАЮЩИЕ ДРАМАТУРГИ.

(конец 90-х, начало 900-х г.г.)

Один писатель жаловался, что ему до слез стыдно, как слабо, плохо он начал писать.

— Ах, что вы, что вы!—воскликнул Чехов.— Это же чудесно—плохо начать! Поймите же, если у начинающего писателя сразу выходит честь-честью,—ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только гении, или же люди способные, то есть неоригинальные, таланта в сущности лишённые, потому что способность чаще всего равняется умению приспособляться, и живет она легко, а талант растёт, как все живое, постепенно ищет проявить себя, сбивается с пути...

— Ах, с какой чепухи я начал, боже мой, с какой чепухи!—говорил он.

(И. Бунин. «Из записной книжки». Полн. собр. соч., т. V, стр. 308—311).

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания,—говорил он нередко.—А главное, никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибься, соврал—пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мо-

пассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять—и лаять тем голосом, какой господь бог дал...

(И. А. Бунин. «А. П. Чехов». Полн. собр. соч. т. V, стр. 297—298).

Если ктонибудь в отчаянии жаловался ему: „разве стоит писать, если на всю жизнь останешься „нашим молодым“ и „подающим надежды“,—он отвечал спокойно и серьезно:

— Не всем же, батенька, писать, как Толстой...

— Пишите, пишите как можно больше,—говорил он начинающим беллетристам.—Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное, не тратьте понапрасну молодости и упругости; теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день.

И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

— Слушайте: ездите почаще в III классе,—советовал он.—Я жалею что болезнь мешает мне теперь ездить в III классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме сосед-

него брандмауера из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

— Не понимаю, отчего вы—молодой, здоровый и свободный,—не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему то его излюбленной частью света), или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна...

— Отчего вы не напишете пьесу?—спрашивал он иногда.—Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать, по крайней мере, четыре пьесы.

И тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. „Драма должна или выродиться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы“,—говорил он.

Он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленец. „Зачем это писать,—недоумевал он,—что кто то сел на подводную лодку и поехал к северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? ¹ Все это неправда и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, но-

¹ Ср. стр. 451—452 (гл. 34-я, воспом. К. С. Отангелавского и О. Л. Книппер-Чеховой).

велла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще,—все равно, какое придет в голову—и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире—это манерно“.

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. „В одной хорошей повести—рассказывал он,—я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так—нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно“.

(А. Куприн. «Памяти Чехова». Сб. «О Чехове», стр. 113—124).

Мне пришлось раза два докучать Антону Павловичу своими произведениями. Вот что высказал он в разное время по поводу писательства.

Я просил прочитать рассказ.

— Знаете,—начал он говорить, когда прочел,—прежде всего о начинающем писателе можно судить по языку. Если у автора нет „слога“, он никогда не будет писателем. Если же есть слог, свой язык, он, как писатель, не безнадешен. Тогда можно рассуждать о других сторонах его писаний.

Он встал с моей тетрадью в руках и перегнул ее пополам.

— Начинающие писатели часто должны делать так: перегните пополам и разорвите первую половину.

Я посмотрел на него с недоумением.

— Я говорю серьезно,—сказал Чехов.—Обыкновенно начинающие стараются, как говорят, „вводить в рассказ“, и половину напишут лишнего. А надо писать, чтобы читатель без пояснений автора, из хода рассказа, из разговоров действующих лиц, из их поступков, понял, в чем дело. Попробуйте оторвать первую половину вашего рассказа: вам придется только немного изменить начало второй и рассказ будет совершенно понятен. И вообще, не надо ничего лишнего. Все, что не имеет прямого отношения к рассказу, все надо беспощадно выбрасывать. Если вы говорите в первой главе, что на стене висит ружье, во второй или третьей главе оно должно непременно выстрелить. А если не будет стрелять, не должно и висеть. Потом,—говорил он,—надо делать рассказ живее, разговоры прерывать действиями. У вас Иван Иванович любит говорить. Это ничего, но он не должен говорить сплошь по целой странице. Немного поговорил, а потом пишите: Иван Иванович встал, прошелся по комнате, закурил, постоял у окна...

Некоторое время спустя, посылая А. П.—чу книжку журнала, я вложил в нее другой небольшой рассказец, не предупредив его. Вечером звонит телефон.

— Чей рассказ вложен в книгу „Русского Богатства“?—спрашивает А. П.—ч.

— Мой.

— Приходите ко мне.

Когда я пришел А. П.—ч объявил мне:

„Рассказ хороший. Давайте пошлем его—только куда? Я предлагаю“ и он назвал два журнала и одну газету...

— Да поместят ли?

— Думаю, что поместят,—сказал А. П—ч,—если бы я был редактором непременно бы поместил.

Вообще он оживился и принял большое участие.

— Мне не нравится ваше заглавие. Надо другое. Я назвал бы рассказ так: „Глупости Ивана Ивановича“¹.

Признаюсь я не ждал такого заглавия. Похождения моего героя не казались мне глупостями. Неожиданное название осветило их с новой стороны и, посмеявшись над собой, я должен был признать его более подходящим, чем то, которое написал сам.

Затем А. П—ч стал говорить.

— В двух местах я немного вычеркнул. Я уже говорил: не делайте авторских пояснений. Пусть обо всем, о чем надо, говорят те лица, которых вы описываете... В рассказе не должно быть публицистики...

— Чтобы стать настоящим писателем,—учил он,—надо посвятить себя исключительно этому делу. Дилетантство здесь, как и везде, не даст уйти далеко. В этом искусстве, как во всяком, нужен талант и труд. Надо трудиться самым настоящим образом. И прежде всего над языком.

¹ «Разные начинающие и продолжающие писатели ходят ко мне и приносят свои рукописи для прочтения. Один рассказ мне понравился, показался хорошим, и я посоветовал автору послать его в «Неделю», что он и сделал. Все ограничилось этим советом, больше я ничего не прибавлю—стало быть не подумайте, что это рекомендация. Если рассказ окажется непригодным, то будьте добры возвратить его... Называется рассказ «Глупости Ивана Ивановича...» (М. О. Меньшикову, Ялта, 1890, 5 окт.) Рассказ М. О. Меньшиковым принят не был.

Надо вдумываться в речь, в слова. Вы обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды, предложения нагромождены одно на другое. Не думайте, что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и оно дается после труда. Эти периоды производят впечатление силы...

— Вот,—сказал он,—читаю Гоголя. Интересный язык, какая богатая мозаика!—Впрочем, больше всего А. П.—ч хвалил язык Лермонтова.—Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова,—говорил он не раз.—Я бы так сделал: взял его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах,—по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать...

(С. Щ. «Из воспомин. об А. П. Чехове». «Русск. Мысль». 1911 г., кн. 10, стр. 43—49).

К „высоким“ словам он чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. „Однажды,—рассказывает автор этих воспоминаний,—я пожаловался Антону Павловичу: „Антон Павлович! Что мне делать! Меня рефлексия заела!“ И Антон Павлович ответил мне: „А вы поменьше водки пейте“.

Может быть, в силу этой ненависти к „высоким“ словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственном многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил он о лермонтовском „Парусе“!

— Это стоит всего Б. и Урениуса со всеми их потрохами,—сказал он однажды.

— Какого Урениуса?—спросил я.

— А разве нет такого поэта?

— Нет.

— Ну, Упрудиуса,—сказал он серьезно.—Вот им бы в Одессе жить. Там же думают, что самое поэтическое место в мире—Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства,—каждую минуту сапоги можно почистить...

(И. А. Бунин. «Из записн. книжки». Полн. собр. соч., т. V, стр. 306).

В 1899 году вышла первая книжка моих рассказов. Местная газета их беспощадно высмеяла. Я решил спросить мнения Чехова, написал ему письмо и послал мою книжку, а через несколько дней отправился к нему сам.

Я ждал сухого приема и наставительного тона, и поэтому волновался. Но услышал я от человека, который видел меня в первый раз, совсем другое.

— Послушайте, ну как можно так убиваться из за того, что в газете кто то там написал эту статейку? Мало ли какой чепухи о нас не пишут... Нет, это пустяки,—продолжал А. П.,—и обращать на них внимания не стоит. Худо если о книге совсем не пишут... Ваши рассказы, как рассказы... Вы сделали громадную ошибку, что издались в провинции. Этак нельзя. Останетесь незамеченным. Издавать нужно непременно в столице...

Во второй раз я был у Чехова в ноябре... Чехов спросил о том, что я теперь пишу, и внимательно выслушав, заговорил:

— Так. Только вот что... Избегайте вы всяких терминов, особенно скоропроходящих. Некоторые слова через пять шесть лет совсем уничтожаются и потом звучат в рассказе или в пьесе ужасно

дико. Вы знаете, не так давно, в Воронеже, я смотрел свой водевиль „Медведь“ и от слова „турнюр“ пришел в ужас. Теперь это слово уже не существует, и в новом издании я его вычеркнул...

Чехов всегда настаивал на необходимости для молодого писателя работать как можно больше...

— Печатать можно и немного, но писать следует как можно больше... К тридцати годам обязательно нужно определиться; все определялись к этому времени... Знаете, как нужно писать, чтобы вышла хорошая повесть?—В ней не должно быть ничего лишнего. Вот как на военном корабле на палубе: там нет ничего лишнего, — так следует делать и в рассказе...

(Б. Лазаревский. «А. П. Чехов». «Повести и рассказы», т II, стр. 3—7).

...Вы спрашиваете, какого я мнения о ваших рассказах. Какого мнения? Талант несомненный и при том настоящий, большой талант. Например в рассказе „В степи“ он выразился с необыкновенной силой, и меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек, вы чувствуете превосходно, вы пластичны, т. е. когда изображаете вещь то видите ее и ощупываете руками. Это настоящее искусство. Вот вам мое мнение, и я очень рад, что могу высказать вам его. Я повторяю, очень рад, и если бы мы познакомились и поговорили час, другой, то вы убедились бы, как я высоко вас ценю и какие надежды возлагаю на ваше дарование.

✓ Говорить о недостатках? Но это не так легко. Говорить о недостатках таланта, это все равно,

что говорить о недостатках большого дерева, которое растет в саду; тут ведь главным образом дело не в самом дереве, а во вкусах того, кто смотрит на дерево. Не так ли?

Начну с того, что у вас, по моему мнению, нет сдержанности. Вы как зритель в театре, который выражает свои восторги так несдержанно, что мешает слушать себе и другим. Особенно эта несдержанность чувствуется в описаниях природы, которыми вы прерываете диалоги; когда читаешь их, эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, этак в 2—3 строки. Частые упоминания о неге, шепоте, бархотности и проч. придают этим описаниям некоторую риторичность, однообразие—и расхолаживают. Несдержанность чувствуется и в изображениях женщин (Мальва, На плотях) и любовных сцен. Это не размах, не широта кисти, а именно несдержанность. Затем, частое употребление слов, совсем неудобных в рассказах вашего типа. Акомпанимент, диск, гармония—такие слова мешают. Часто говорите о волнах. В изображении интеллигентных людей чувствуется напряжение, как будто осторожность; это не потому, что вы мало наблюдали интеллигентных людей, вы знаете их, но точно не знаете, с какой стороны подойти к ним.

Сколько вам лет? Я вас не знаю, не знаю откуда вы, но мне кажется, что вам, пока вы еще молоды, следовало бы покинуть Нижний и года два-три пожить, так сказать, потеряться около литературы и литературных людей; это не для того, чтобы у нашего петуха поучиться и еще более наостриться, а чтобы окончательно,

с головой влезть в литературу и полюбить ее; к тому же провинция рано старит. Короленко, Потапенко, Мамин, Эртель—это превосходные люди; в первое время, быть может, вам покажется скучновато с ними, но потом через год, два привыкнете и оцените их по достоинству, и общество их будет для вас с лихвой окупать неприятность и неудобство столичной жизни...

(А. П. Чехов—М. Горькому. Ялта. 1898, 3 дек. II. Т. V, 477—478).

Повидимому вы меня немножко не поняли. Я писал вам не о грубости, а только о неудобстве иностранных, не коренных русских, или редко употребительных слов. У других авторов такие слова, как например „фаталистически“ проходят незаметно, но ваши вещи музыкальны, стройны, в них каждая шероховатая черточка кричит благим матом. Конечно, тут дело вкуса и, быть может, во мне говорит лишь излишняя раздражительность, или консерватизм человека, давно усвоившего себе определенные привычки. Я мирюсь в описаниях с „коллежским ассесором“ и с „капитаном второго ранга“, но „флирт“ и „чемпион“ возбуждают (когда они в описаниях) во мне отвращение.

Вы самоучка? В своих рассказах вы вполне художник, при том интеллигентный по настоящему. Вам менее всего присуща именно грубость, вы умны и чувствуете тонко и изящно. Ваши лучшие вещи „В степи“ и „На плотях“... Единственный недостаток—нет сдержанности, нет грации. Когда на какое нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее количе-

ство движений, то это грация. В ваших же затратах чувствуется излишество.

Описания природы художественны; вы настоящий пейзажист. Только частое уподобление человеку (антропоморфизм), когда море дышит, небо глядит, степь нежится, природа шепчет, говорит, грустит и т. п.—такие уподобления делают описания несколько однотонными, иногда слащавыми, иногда неясными; красочность и выразительность в описаниях природы достигается только простотой, такими простыми фразами, как „зашло солнце“, „стало темно“, „пошел дождь“ и т. д.—и эта простота свойственна вам в сильной степени, как редко кому из беллетристов...

В вашем „Кириллке“ все портит фигура земского начальника, общий тон выдержан хорошо. Не изображайте никогда земских начальников. Нет ничего легче, как изображать несимпатичное начальство, читатель любит это, но это самый неприятный, самый бездарный читатель. К фигурам новейшей формации, как земский начальник, я питаю такое же отвращение, как к „флирту“—и потому быть может я не прав. Но я живу в деревне, я знаком со всеми земскими начальниками своего и соседних уездов, знаком давно и нахожу, что их фигуры, и их деятельность совсем не типичны, вовсе неинтересны—и в этом, мне кажется, я прав..

(А. П. Чехов—М. Горькому. Ялта. 1899, 3 янв. II. Т. V, 479—480).

Еще совет: читая корректуру, вычеркивайте, где можно, определения существительных и глаголов. У вас так много определений, что внима-

нию читателя трудно разобраться, и он утомляется. Понятно, когда я пишу „человек сел на траву“; это понятно, потому что ясно и не задерживает внимания. Наоборот неудобопонятно и тяжело для мозгов, если я пишу: „высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел на зеленую, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь“... Это не сразу укладывается в мозг, а беллетристика должна укладываться сразу, в секунду...

(А. П. Чехов—М. Горькому. Ялта. 1899, 3 сент. П. Т. V, 488—489).

— Верно вам еще очень тяжело?..

И, зная, какой будет ответ на эти слова, продолжал, садясь рядом со мной:

— Это же ужасная вещь... Ставить пьесу. Никогда нельзя знать, что тебя ждет... У-у-жасная вещь!—протянул он с чувством жуткости перед стихийностью такого факта.—Я это хорошо по себе знаю. Мне шикали так, как ни одному автору не шикали.—И за „Лешего“ и за „Чайку“. Я клялся и себе и другим, что не буду больше пьесы писать. А потом убедился, что все это не так важно. Надо только делать то, что хочется, к чему тянет. Время потом разберет лучше всякого критика, что хорошо и что дурно.

Я только тяжело вздохнул на эти слова. Еще слишком остра и жгуча была в душе моей боль от этой неудачи... ¹

¹ Речь идет о пьесе А. Федорова «Старый дом», не имевшей успеха на сцене Александрийского театра.

— Это ничего. Это даже хорошо иногда, в молодости. А ведь вы молоды?! Это отрезвляет и заставляет глубже и строже глядеть на себя. Верьте, незаслуженная обида часто возвышает и обязывает больше, чем похвала и успех, которые легко достаются.

Я рассказал ему, что, когда, меня так шумно вызывали за „Бурелом“, мне было несколько не по себе и я думал, что если бы этот успех выпал мне за „Старый дом“, пьесу, которая тогда только что мной была окончена, я бы с более спокойной совестью принимал эти оvationи. А вот, прошел год, и эта новая пьеса, которая была мне бесконечно дороже первой—ошикана!

— Почему вы не отдали ее в „Художественный театр“?—обратился ко мне Чехов.—Ведь Вл. Ив. Немирович писал вам, что они согласны взять эту пьесу для своего театра.

— Да, но они хотели поставить ее только в следующем сезоне...

— Все равно, не надо было торопиться. Пьеса через год только выиграла бы. Надо всегда дать полежать некоторое время большой вещи, в это время даже чтонибудь другое писать, а потом снова приняться за нее. Работать надо! Много работать! И чем дороже вещь, тем строже надо к ней относиться. И потом, вот еще что! Зачем вы печатаете пьесы раньше постановки? Не надо! Во время постановки многое видишь... Даже на первых репетициях... Как заговорят актеры, так сразу чувствуешь—вот здесь—фальш, а здесь—не своим языком говорит какойнибудь Иван Иванович и даже не свое говорит. Вы думаете, поздно сейчас об этом говорить. Нет, именно

настоящее время. Работать надо! Работать! А это право же хорошо... Пострадать! Конечно, когда молод,—добавил Антон Павлович и стал подробно расспрашивать меня о постановке моей злополучной пьесы...

(А. Федоров. «А. П. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 298—299).

..Написал „Ивана Мироньча“. Раньше пьеса называлась „Новой жизнью“. Боялся послать ее в Художественный Театр. Написал Антону Павловичу. Он попросил немедленно выслать рукопись. Послал и скоро получил ответ: „Пьеса хорошая и очень смешная. Читал и смеялся. Надо ее поставить. Пишу Немировичу“. Только заглавие Антону Павловичу не понравилось. „Публика всегда придирается к автору. Посмотрят вашу пьесу и скажут: а где же новая жизнь? Надо давать такие заглавия, чтобы они ничего не обещали“.

Я изменил заглавие: назвал „Иваном Мироньчем“, по имени главного действующего лица. Антон Павлович одобрил.

Так я с ласковой помощью Чехова все таки попал на сцену Художественного Театра.

(Евгений Чириков. «Как я сделался драматургом». Сб. «Артисты М. Х. Т. за рубежом», стр. 46).

В Ницце какой то русский принес Антону Павловичу огромную пятиактную историческую драму в стихах.

Чехов вообще был очень кроткий, мягкий человек, боялся обидеть... И поэтому я был страшно удивлен, когда утром перед завтраком, войдя к нему, услышал, как он, не стесняясь моим

присутствием, прямо „на все корки“ разносил и автора и пьесу.

Пьеса была из византийской жизни и написана была знатоком, и, кажется даже специалистом по византийской истории.

Когда автор ушел я обратился к нему и сказал.

— Зачем ты его так сильно пришиб?

А. П. наморщил лоб и с самым непримиримым видом заявил мне:

— Ведь этот господин для этой пьесы из своей души ничего не вынул... И все из книг, из летописей. Попробуй ка ты или я написать историческую пьесу,—он подчеркнет тебе каждую неверную дату, и, благодаря тому что он авторитет, пьеса провалится... Как же мне его щадить?...

(А. И. Южин (Сумбатов). «Из воспомин. о Чехове». Чех. Юб. Сб., стр. 440).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РАССКАЗА «АРХИЕРЕЙ». — ОБОСТРЕ-
НИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И МЫСЛИ О СМЕРТИ. — ЖЕНИТЬБА. —
ЗАДУМЫВАНИЕ «ВИШНЕВОГО САДА». — АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ИНЦИДЕНТ. — ТЯГА В МОСКВУ

(1901—1902 г.г.)

... Хотел бросить литературу, но все же изредка, по старой привычке пописываю кое что. Пишу теперь рассказ под названием „Архиерей“ — на сюжет, который сидит у меня в голове уже лет пятнадцать...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер. Ялта. 1901, 16 марта. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 108).

Чеховы жили в доме Корнеева на Кудринской-Садовой¹. Большой дом, в котором жил сам хозяин... был старинный, дряхлый, деревянный, весь переполненный жильцами, исключительно студентами... Среди студентов был некто Степан Алексеевич П—филолог, очень религиозный и искренний молодой человек. Мы, студенты, обитавшие в одном и том же дворе, были все знакомы между собой и потому неудивительно, что у нас, Чеховых, бывал и богомольный Степан Алексеевич.

Время шло. Я, автор этих записок, кончил курс... Кончил курс и Степан Алексеевич,—и

¹ В 1887—1889 гг.

вдруг мы услышали, что он постригся в монахи. Затем до нас дошли вести, что он уже архимандрит, а потом—что он уже и архиерей. Эту духовную карьеру Степан Алексеевич сделал годам к тридцати своей жизни... В иночестве он принял имя Сергей и был епископом сначала в Сибири, а потом на юге России. Как человек светский, молодой, он сразу же натолкнулся на темные стороны архиерейской жизни, встал в оппозицию, скоро попал в немилость и был лишен своего викариата и сослан на покой в один из глухих монастырей на Кавказе. Уже будучи архиереем, преосвященный Сергей приезжал в Ялту лечиться от нервов... Во время этих пребываний в Ялте, он навещал жившего тогда там Антона Павловича на его даче в Аутке... Эти свидания архиерея Сергея с Антоном Павловичем в Ялте и были той ассоциацией, благодаря которой и появился на свет рассказ „Архиерей“.

В этом же рассказе есть другое действующее лицо—иеромонах Сисой. Вот его происхождение. Когда мы жили в Мелихове, то нашим родителям не доставало там церкви. Правда в Мелихове была церковь, но духовенства при ней не состояло, и для того, чтобы отслужить в ней какую-нибудь службу, местные крестьяне приглашали иеромонаха из Давидовой пустыни—большого мужского монастыря, находившегося в пяти верстах от Мелихова. Наш отец Павел Егорович любил духовенство и всегда в такие дни приглашал иеромонаха, после церковной службы в мелиховской церкви, к нам в дом и усаживал его за обед... Одним из таких иеромонахов был отец Анания, особенно привлекав-

ший к себе внимание Антона Павловича, как тип. Вот он именно и сказал фразу о том, что „Японцы — все одно что черногорцы“ и он то и выведен писателем в его рассказе „Архиерей“ под именем отца Сисоя.

(Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 45—48).

В кабинете А. П-ча среди карточек писателей, артистов и может быть просто знакомых ему людей, есть одна довольно необычайная. На ней изображен человек в одежде духовного лица и вместе с ним старушка в темном простом платье.

История этой карточки такова.

Как то, еще когда жил на даче Иловойской ¹, А. П-ч вернулся из города очень оживленный. Случайно он увидел у фотографа карточку таврического епископа Михаила. Карточка произвела на него впечатление, он купил ее и теперь дома опять рассматривал и показывал ее.

Епископ этот (Михаил Грибанский) незадолго до того умер. Это был один из умнейших архиереев наших, с большим характером. Считается он в духовной среде как бы основателем нового, так называемого, ученого монашества... Антон Павлович его не знал.

Преосвященный Михаил был еще нестарый, но жестоко страдавший от чахотки человек. На карточке он был снят вместе со старушкой матерью, верно какой нибудь сельской матушкой, вдовой дьякона или дьячка, приехавшей к сыну-

¹ На даче Иловойской в Ялте А. П. жил в 1898 г., до постройки своей дачи в Аутке.

архиерею из тамбовской глуши. Лицо его очень умное, одухотворенное, изможденное и с печальным, страдальческим выражением. Он приник головой к старушке; ее лицо было тоже чрезвычайно своей тяжелой скорбью.

Помню, когда Чехов показывал карточку Горькому, последний тоже заинтересовался и воскликнул, рассматривая лицо епископа:

— Какой мужчина! какой мужчина!..

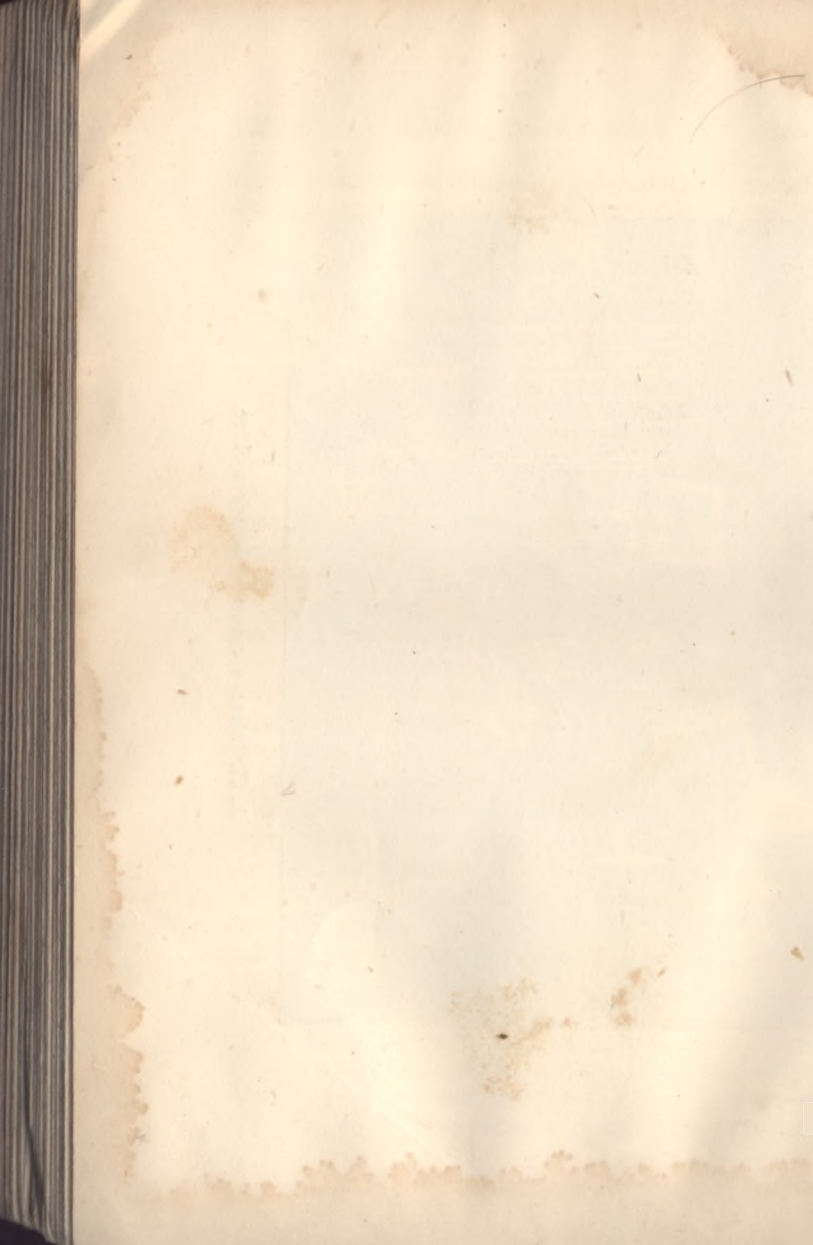
А. П-ч расспрашивал о преосвященном Михаиле; потом я ему посылал книжку преосвященного „Над Евангелием“—думы покойного епископа, по поводу некоторых евангельских речей и событий. Мысль об архиерее, очевидно, стала занимать А. П-ча.

— Вот,—сказал он как то,—прекрасная тема для рассказа. Архиерей служит утреню в великий четверг. Он болен. Церковь полна народом. Певчие поют. Архиерей читает. Евангелие страстей. Он проникается тем, что читает; душу его охватывает жалость к Христу, к людям, к самому себе. Он чувствует вдруг, что ему тяжело, что он может скоро умереть, что может умереть сейчас. И это чувство—звуками ли голоса, общей ли напряженностью чувства, другими ли, невидными и непонятными, путями — передается тем кто с ним служит, потом молящимся, одному, другому, всем. Чувствуя приближение смерти, плачет архиерей, плачет вся церковь...

Преосвященный Петр (архиерей чеховского рассказа) тоже служил прежде за границей, к нему приезжает мать, вдова сельского дьякона; он читает евангелие страстей... Если припомним все это, то связь рассказа с карточкой преосвя-



А. П. Чехов в своем кабинете в Ялте.



щенного Михаила и с планом рассказа, о котором говорит Антон Павлович, будет очевидна...

(С. П. «Из воспомин. об А. П. Чехове», «Русск. Мысль», 1911, кн. 10, 47—48).

Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут по телефону. Подхожу и слышу:

— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься...

Через десять минут я был в Аутке. В доме, где зимою Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота, тускло горели две свечи в кабинете, теряясь в полумраке. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров, полных, может быть, горьких дум о своей судьбе.

— Какая ночь!.. А дома—такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна¹ спросит, что я делаю, а я отвечаю: мышей ловлю. Поедемте в Орианду. Простужусь—наплевать.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем... Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес, с легкими узорами теней, похожими на паутину...

Потом зачернели толпы кипарисов... И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:

¹ С. П. Бонье, ялтинская знакомая семьи Чеховых

— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

— Почему семь?—спросил я.

— Ну, семь с половиной.

— Нет,—сказал я.—Поэзия живет долго, и, чем дольше, тем сильнее. Он ничего не ответил, но, когда мы сели где то на скамью, с которой снова открылся вид на блестящее в месячном свете море, он скинул пенснэ и, поглядев на меня добрыми и усталыми глазами, сказал:

— Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как „серебристая даль“, „аккорд“, или „на бой, на бой в борьбу со тьмой!“

— Вы грустны сегодня, Антон Павлович,—сказал я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

— Это вы грустны,—ответил он.—И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

— Читать же меня будут все таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

На этот раз он ошибся: он прожил меньше...

(И. Бунин. «Чехов». Полн. собр. соч., т. V, стр. 301—302).

Мы снова свиделись в апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности не любил за ее, как он писал, „коробообразные гостиницы с чахоточными“, за „наглые хари татарских проводни-

ков“ и за нестерпимый „парфюмерный запах“, распространяемый приезжими гуляющими дамами. Принадлежащий ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой то неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой „не курить“ указывали, что с хозяином что то неладно. И действительно, застегнутое на все пуговицы осеннее пальто Антона Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание, или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровья, показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде, тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он держал себя бодро и отзывчиво по отношению к всему окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо близкий конец, как врач... Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски, куда он не раз заходил ко мне и где мы сидели, он—греясь на солнце, а я поджариваясь,—я, смотря на него, невольно вспоминал слова Накрасова: „Завтра встану и выбегу жадно—встречу первому солнца лучу,—снова все улыбнется отрадно и мучительно жить захочу,—а недуг, подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о близости темной могилы так же внятно душе говорить“...

Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое пальто, несмотря на над-

пись: „7-го мая, в ясный теплый день в Ялте“, я получил от него письмо, в котором он говорил: „... Я нездоров и решил, что выздоровлю не скоро“...

(А. Ф. Кони. «Воспомин. о Чехове», стр. 20—22).

... Ну-с, была у доктора Щуровского. Он нашел притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губ... На кумысе, скучнейшем и неудобном, придется пробыть два месяца. Уж я не знаю, что мне делать, как быть. Ехать одному скучно, жить на кумысе скучно, а везти с собой когонибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документов, все в Ялте, в столе... ¹

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Москва. 1901, май. П. Т. VI, 141).

В половине мая Антон Павлович приехал в Москву, 25 мая мы венчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов 6 по жел. дороге в Андреевскую санаторию около ст. Аксеново. По дороге навестили в Нижнем Новгороде А. М. Горького, отбывавшего домаш-

¹ «25 мая 1901 г. он неожиданно женился на О. Л. Книппер. Свадьба его произошла так таинственно, что о ней не знали ни его мать, ни сестра, ни даже брат Иван Павлович, который виделся с ним в то же утро в Москве. Прямо из-под венца молодые супруги отправились на кумыс в Уфимскую губ.» (Мих. Павл. Чехов. «Ант. Чехов и его сюжеты», стр. 148).

Эта «таинственность» объясняется самим Чеховым в письме к О. Л. Книппер (18 апр. 1901 г.): «Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится,—то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему то боюсь венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться...»

ний арест. По совету доктора Долгополова, мы решили пересесть на другой пароход у пристани „Пьяный бор“ (Кама)—это была ошибка, мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе в нескольких верстах от пристани, и спать нельзя было, так как неизвестно, когда мог притти пароход на Уфу... На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величавая, молчаливая, красивая какой то покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил свои мысли и впечатления, отмечен „Пьяный бор“...

(О. Книппер-Чехова. «Несколько слов об А. П. Чехове». «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 27—28).

Сидит человек... в какомнибудь Пьяном Бору и изучает и воспекает этот Пьяный Бор. И река Хопр, и гора Лютая, и Пятигорская редька... Изучает и изредка печатает в губернских ведомостях с опечатками. Но вот построился в Пьяном Бору завод—и все пошло к чорту, вся поэзия.

(«Записные книжки А. П. Чехова», стр. 73—74).

В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа... Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроено было примитивно, и жить было ему неудобно... Не выдержав 6 недель, мы отправились домой в Ялту...

С этой поры жизнь его делится между Москвой и Ялтой... В Ялте „надо“ было жить, в Москву „тянуло“ все время. Хотелось быть ближе к жизни, наблюдать ее, чувствовать, участвовать

в ней, хотелось видеть людей, которые иногда утомляли его разговорами, но без которых он жить не мог... Стремился быть ближе к театру, быть среди актеров, ходить на репетиции, болтать, шутить, смотреть спектакли, пройтись по Петровке, по Кузнецкому, посмотреть на магазины, на толпу ¹...

(О. Книппер-Чехова. «Несколько слов об А. П. Чехове». «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 27—29).

Из намеков Маши я поняла, что ты ей рассказывал о пьесе, которую ты задумал ²). Мне ты даже вскользь не намекнул, хотя должен знать, как мне это близко. Ну, бог с тобой, у тебя нет веры в меня. Я никогда не буду спрашивать тебя, вмешиваться не буду...

(О. Л. Книппер-Чехова — А. П. Чехову. Москва. 1902, 15 янв. «Письма А. П. Чехова к Книппер-Чеховой», стр. 188).

Я не писал тебе о будущей пьесе не потому, что у меня нет веры в тебя, как ты пишешь, а потому что нет еще веры в пьесу. Она чуть забрезжила в мозгу, как самый ранний рассвет, и я еще сам не понимаю, какая она, что из нее выйдет и меняется она каждый день. Если бы увиделись, то я рассказал бы тебе, а писать нельзя, потому что ничего не напишешь, а только наболтаешь разного вздора и потом охладеешь

¹ Ольга Леонардовна Книппер, — артистка Московск. Художеств. театра, — ставши женою Чехова, продолжала по-прежнему работать на сцене. Раздельная жизнь с нею заставляла страдать А. П., но все же он не хотел, чтобы ради него она оставила театр. Тем не менее, «тяга» в Москву из Ялтинской «ссылки», именно из за желания видиться с женою приняла обостренный болезненный характер.

² Марья Павловна, сестра А. П.; задуманная пьеса: «Вишневы сад».

к сюжету. Ты грозишь в своем письме, что никогда не будешь спрашивать меня ни о чем, не будешь ни во что вмешиваться: но за что это, дуся моя?.. Брось хандрить, брось! Засмейся! Мне дозволяется хандрить, ибо я живу в пустыне, я без дела, не вижу людей, бываю болен почти каждую неделю, а ты? Твоя жизнь как никак все таки полна...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта. 1902, 20 янв. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 188—189).

В последний раз я видел его в 1902 г. ¹, в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении ². Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей

¹ В тексте воспоминаний Короленко поставлена ошибочная дата: 1903 г., исправляем ее здесь, в согласии с документальными данными.

² Общее заявление, о котор. упоминает Короленко, касалось, так назыв. «академического инцидента». Дело заключалось в следующем: 21 февр. 1902 г., был избран в почетные академики Максим Горький. В то же самое время он привлекался к дознанию по ст. 1035, как заподозренный в политическ. преступлении. Это «несоответствие» подняло на ноги департамент полиции и министерство народн. просвещ., выразил свое неодобрение и сам царь. Был поднят вопрос об отмене выборов и 10-го марта 1902 г. в «Справит. Вестнике» появилось объявление от имени Академии Наук о «недействительности» избрания Горького. Первыми возмущившимися против полицейского произвола в делах Академии Наук были Чехов и Короленко. Особенно энергично действовал Короленко, требовавший обсуждения этого инцидента в заседании академиков, писавший письма на имя президента Акад. Наук и проч. Но, так как «протестантами» оказалось только двое, т. е. Чехов и Короленко, то они и полагали подать общее заявление о своем отказе от звания почетн. академиков, если вопрос о Горьком не будет пересмотрен. — Подача общего заявления не состоялась. Были поданы персональные заявления. Ниже см. письмо Чехова к Короленко. Подробности этого любопытного дела читатель найдет в книге: А. Дерман. «Академический инцидент». Крымиздат. Симферополь. 1923 и в журн. «Былое». 1917 г., № 1 (23), ст. «Более, чем оригинально».

даче, которую построил (по художнически непрактично) под Ялтой; с ним жили сестра и жена. Как и в первую встречу¹, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании. Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти... Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку...

Во время разговора, он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстым.

— Поленца „Крестьянин“. Читали? Хорошая книга,—сказал он.—Вот если бы мне еще написать одну такую книгу... я считал бы, что этого довольно. Можно умереть...

(В. Г. Короленко. «Ант. Павл. Чехов», Собр. соч., т. I, стр. 399).

Ваше письмо получил я в Москве, где живу уже 6-ой день... Накануне моего отъезда из Ялты был у меня Короленко. Мы совещались и вероятно на сих днях будем писать в Петербург, подаем в отставку...²

(А. П. Чехов—М. Горькому. Москва. 1902 г., 2 июня. П. Т. VI, 226—227).

Проездом через Москву, я был у Чехова как раз в то время, когда этот вопрос стоял на оче-

¹ В 1887 г., в Москве.

² Речь идет об отказе от звания почетн. академиков.

реди¹. Он живо расспрашивал о впечатлении которое произвел инцидент с Горьким в Петербурге, о том, что говорят и что предполагают предпринять академики, чтобы соблюсти правду и справедливость. При этом в Чехове промелькнула черта гордого самосознания человека, который не допускал мысли, чтобы его могли заподозрить в искании популярности.—„Уйти сразу самому—это дешево,—сказал Антон Павлович.—Я не хочу заискивать расположения кого бы то ни было. Но как быть?..“

(Ф. Батюшков. «А. И. Чехов по воспоминаниям о нем и письмам». Сб. «На памятник Чехову» СПб. 1906 г., стр. 36—37).

Дорогой Владимир Галактионович, где вы? Дома ли? Как бы ни было, адресую это письмо в Полтаву. Вот что я написал в Академию.

В. И. В.² В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики; и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем немного погодя, в газетах было напечатано, что в виду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными; при чем было точно указано, что извещение исходит от академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило от меня. Я поздравлял сердечно и я же признал

¹ Вопрос об отказе Чехова и Короленко от звания почетн. академиков.

² В. И. В.—«Ваше императорское высочество», президент Академии, К. К. Романов.

выборы недействительными—такое противоречие не укладывалось в моем самосознании, примирить с ним мою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, покорнейше просить В. И. В. о сложении с меня звания почетного академика.

Вот вам. Сочинял долго, в очень жаркую погоду и лучше сочинить не мог и, вероятно, не могу...

(А. П. Чехов—В. Г. Короленко. Ялта. 1902, 25 авг. «А. П. Чехов и В. Г. Короленко. Переписка», стр. 68).

Живя в Москве, в июне 1902 года, я как то зашел к В. Ф. Коммиссаржевской, которая в это лето играла с своей труппой в театре „Аквариум“. Поговорив о театральных делах, я уже собирался уходить, как пришел Антон Павлович...

Он вошел, тяжело дыша, сиплым, прерывающимся голосом сказал: „здравствуйте!“ Пожав нам руки, он тяжело опустился на диван...

На худом, серовато-бледном лице—болезненная усталость... Губы бескровные, синие. Глаза уныло смотрят в одну точку. В бородке—серебристые нити седины...

— Что это вы, Антон Павлович, торчите в такое время в Москве? Жара, духота, пылица...—невольнo вырвался у меня вопрос.

— Да вот никак не могу уехать из Москвы... То жена была больна... то все какие то дела... Каждый день собираюсь уезжать, да все чтонибудь задерживает..

— Написали чтонибудь для театра?—спросила Вера Федоровна.

— Да, пишу...—нехотя, конфузливо улыбаясь, ответил Антон Павлович.—Пишу не то, что надо... Не то, что хотелось бы писать... Нудно выходит... Совсем не то теперь надо...

— А что же?

— Совсем другое надо... Бодрое... Сильное... Пережили мы серую канитель... Поворот идет... Круто повернули...

— Разве пережили? Что то непохоже...—усомнился я.

— Пережили... уверяю вас...—убежденно сказал Антон Павлович.—Здесь в Москве, да и вообще в столицах, это не так заметно. У нас на юге волна сильно бьет... В народе сильное брожение... Я недавно беседовал с Львом Николаевичем... И он тоже видит... А он старец прозорливый... Гудит, как улей, Россия... Вот вы посмотрите, что будет года через два, три... Не узнаете России...

Антон Павлович оживился, встал с дивана и, заложив одну руку в карман, стал ходить по комнате.

— Вот мне хотелось бы поймать это бодрое настроение... Написать пьесу... Бодрую пьесу... Может быть, и напишу... Очень интересно... Сколько силы, энергии, веры в народе... Прямо удивительно!

Антон Павлович передал свои наблюдения из жизни крестьян и рабочих. Голос его зазвучал громче, увереннее. Глаза загорелись нервным огнем. Вся фигура помолодела...

Никогда не видел я таким Антона Павловича, никогда не слышал от него таких горячих речей...

(Евт. Карпов. «Две последние встречи с Ант. Павл. Чеховым». «Ежегодник Имп. театров». 1909 г. Вып. V, стр. 1—3).

15 октября буду в Москве и объясню вам, почему до сих пор не готова моя пьеса. Сюжет есть, но пока еще не хватает пороху.

В Любимовке ¹ мне жилось очень хорошо, лучше нельзя жить. Приехав в Ялту я заболел, стал неистово кашлять, ничего не ел — этак с месяц, теперь же чувствую себя очень хорошо. Доктор выслушивал меня и сказал, что произошла значительная перемена к лучшему. Значит климат Любимовки и рыбная ловля (с утра до вечера) оказались целебными для меня, несмотря на дожди, какие были все лето.

(А. П. Чехов—К. С. Алексею. Ялта. 1902, 1 окт. II. Т. VI, 253).

...И он, умный человек, мог говорить удивительные несообразные слова, когда разговор шел о Москве. Раз, когда я отговаривал его ехать в Москву в октябре, он стал уверять совершенно серьезно, без иронии в голосе,—что именно московский воздух в особенности хорош и живителен для его туберкулезных легких, и, притягивая науку, как доказательство, говорил, что нам врачам, не следует быть рутинерами и упираться в стену и что октябрьская московская непогода может быть даже полезна для некоторых легочных больных...

¹ Любимовка, возле ст. Тарасовка, — подмосковное имение К. С. Алексева (Станиславского). В нем Чехов прожил июль 1902 г.

И все было мило для него в Москве—и люди, и улицы, и звон разных Никол Мокрых и Никол на Щепках, и классический московский извозчик, и вся московская бестолочь. Отдышется он от Москвы и от московского плеврита, проживет в Ялте два, три месяца,—и снова разговоры все о Москве. И все три сестры, повторяющие на разные лады: „В Москву, в Москву“, это—все он же, один Антон Павлович, думавший вечно о Москве и постоянно стремившийся в Москву, где постоянно получал он плевриты и обострение процесса и которая, имею основание думать, укоротила ему жизнь.

(О. Елпатьевский. «Ант. Павл. Чехов». Сб. «О Чехове», стр. 47).

Ант. П. приехал в Москву осенью, но медлил уезжать, несмотря на ужасную погоду. Он оставался в небольшой квартирке, которую его жена делила с Марьей Павловной. Я изумилась происшедшей в нем перемене: бледный, землистый, с ввалившимися щеками, он совсем не похож был на прежнего А. П... Он горбился, зябко кутался в какой то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты.

Его жена, прекрасная артистка О. Л. Книппер, не мыслила себя без Художественного театра, как и театр не мыслил себя без нее...

Ант. П., очень ценя талант О. Л., разумеется не допускал и мысли, чтобы она отказалась от сцены, но скучал без нее в Ялте, рвался в Москву и застревал там дольше, чем ему позволяли доктора и благоразумие. В этот вечер О. Л. участвовала в каком то концерте, за ней приехал корректный Влад. Ив. Немирович во фраке

с безупречным пластроном. О. Л. вышла в нарядном туалете, повеяла тонкими духами, ласково и нежно простилась с Ант. П., сказала ему какую то шутливую фразу, чтобы он „не скучал и был умником“, и исчезла.

Ант. П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял... И когда прошел приступ кашля, сказал—без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний прошлого, общих знакомых и пр.

— Да, кума... помирать пора...

(Т. Шепкина-Куперник. «В юные годы». «А. П. Чехов. Затерян. произв. и пр.», стр. 249—250).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА (ДЕЛО С МАРКСОМ). — «НЕ-
ВЕСТА». — РАБОТА НАД «ВИШНЕВЫМ САДОМ». — НА
РЕПЕТИЦИЯХ.

(1903 г.).

...Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его 25-летнему юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там таковые же подписи. Бумагу, подписанную виднейшими представителями науки, литературы, художества, музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены были подать издателю „Нивы“ А. Ф. Марксу писатели Гарин-Михайловский и Н. П. Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

„В настоящий момент, когда вся Россия готовится праздновать четвертьвековой юбилей А. П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заключается в поразительном и недопустимом несоответствии между дея-

тельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения с другой...

Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат—об этом не смеет думать русский писатель—он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами он должен жить тем, что зарабатывает сейчас—печальная и незаслуженная участь человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоит 25 лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы...

Нам известен ваш договор с А. П. Чеховым... Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу „Нива“, должны были разойтись в сотнях тысячах экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные издержки. Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно, нарушая имущественные права вашего контрагента, указанный договор имеет и другую

отрицательную сторону, не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали и неизмеримо большую плату, должно тяжелым чувством зависимости ложиться на А. П. Чехова и несомненно отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5000 руб. за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только дорогим именем—именем А. П. Чехова.

И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготеющую над А. П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали—достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескаля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился, как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескаль сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе

подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность...

Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гославский, Сергей Глаголь, Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Иван Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чириков".

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма, или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только скоро выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу...

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня...

(Н. Телешов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит», стр. 10—13).

Мне кажется, что если я теперь напишу Марксу, то он согласится возвратить мне мои сочинения в 1904 г., 1-го января за 75.000. Но ведь мои сочинения уже опошлены „Нивой“, как товар, и не стоят этих денег, по крайней мере не будут стсить еще лет десять, пока не сгниют премии „Нивы“ за 1903 г. Увидишься с Горьким, поговори с ним, он согласится. А Грузенбергу я не верю, да и как то нелитературно прицепиться вдруг к ошибке, или недосмотру Маркса

и, воспользовавшись, повернуть дело „юридически“¹.

Да и не надо забывать, что когда зашла речь о продаже Марксу моих сочинений, то у меня не было гроша медного, я был должен Суворину, издавался при этом премерзко, а главное собирался умирать и хотел привести свои дела хотя бы в кое какой порядок. Впрочем, время не ушло и не скоро еще уйдет, нужно обсудить все, как следует...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта. 1903, 9 янв. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», 289—290).

Чехов мне показывал письмо г. Маркса, в котором он поздравлял Чехова с честью быть приложенным к „Ниве“, а Чехов был так деликатен, что благодарил его за это, хотя это приложение делало честь „Ниве“, а совсем не Чехову, приносило барыши г. Марксу и убытки Чехову. И вот почему, как раз в это время составлялся проект о выкупе сочинений Чехова у г. Маркса, а с „приложением“ их к „Ниве“ они являлись обесцененными на книжном рынке, насытив массу читателей и разговоры о выкупе прекратились тотчас же...²

(А. С. Суворин. Примечание к письму А. Ф. Маркса. «Нов. Время», 1904, № 10, 183).

¹ У Чехова не было на руках «неустойчивой записи» и он не помнил подписывал ли он ее при договоре с Марксом, — предполагалось, что ее могло и не быть вовсе. Отсюда — возможность «юридической прицепки». Грузенберг — петербургск. присяжный поверенный.

² Полн. собрание сочинений Чехова в изд. Маркса вышло в течение 1901—1902 гг., в десяти томах. В 1903 г. вышло 2-ое изд., дополненное, в качестве приложения к журн. «Нива».

(Из писем А. П. Чехова—
О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта.
1903 г., январь—март).

(26 янв.).

Пишу рассказ для „Журнала для всех“ на старинный манер, на манер семидесятых годов ¹. Не знаю, что выйдет. Потом нужно для „Русской Мысли“, потом для „Мира Божьего“. Спасите нас, о неба херувимы!!.

(23 февр.).

Я тебе ничего не сообщаю про свои рассказы, которые пишу, потому что ничего нет ни нового, ни интересного. Напишешь, прочтешь и видишь, что это уже было, что это уже старо, старо... Надо бы чегонибудь новенького, кисленького!...

Мне, дуся, немножко нездоровится, всю ночь кашлял...

(1 марта).

Когда же ты увезешь меня в Швейцарию и Италию!.. Неужели не раньше 1 июня? Ведь это томительно, адски скучно! Я жить хочу!

Ты сердишься, что я ничего не пишу тебе о рассказах, вообще о своих писаниях. Но, дуся моя, до такой степени надоело все это, что кажется, что и тебе и всем это уже надоело и что ты только из деликатности говоришь об этом. Кажется, но—что же я поделаю, если кажется? Один рассказ, именно „Невеста“ давно уже послан в „Журнал для всех“, пойдет, вероятно,

¹ «Невеста».

в апрельской книжке, другой рассказ начат, третий тоже начат, а пьеса — для пьесы уже разложил бумагу на столе и написал заглавие... ¹

(«Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 299—321).

В Петербург он, действительно, приехал через год ² и дал мне знать через К. П. Пятницкого — придти к нему. Я попал в 11-м часу вечера. Был Горький, еще несколько человек. Антон Павлович отозвал меня в сторону и шепнул: „Заканчиваю новую пьесу“... — Какую? Как она называется? Какой сюжет? — „Это вы узнаете, когда будет готова. А вот Станиславский, — улыбнулся Антон Павлович, — не спрашивал меня о сюжете, пьесы еще не читал, а спросил, что в ней будет, какие звуки? И ведь, представьте, угадал и нашел. У меня там, в одном явлении, должен быть слышен за сценой звук, сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было именно то, что я хочу ³. И ведь Константин Сергеевич нашел как раз то самое, что нужно... А пьесу в кредит принимает“ — снова улыбнулся Антон Павлович. — Неужели это так важно — этот звук? спросил я. Антон Павлович посмотрел строго и коротко ответил: „нужно“. Потом улыбнулся; „А вам сюжет хочется знать? — Нет, теперь не буду рассказывать, а только

¹ «Вишневый сад».

² В мае 1903 г. Ант. Павл., по словам Мих. Павл. Чехова, приезжал в Петербург, с целью переговорить с Марксом о выкупе своих сочинений, но из этого ничего не вышло. «В Петербурге Маркс предложил мне 5 тыс. для поездки за границу, но я не взял», — пишет А. П. сестре (16 мая 1903 г.).

³ Звук оборвавшейся и падающей в шахту бадьи.

скажу, что театр—ужасная вещь. Так это затягивает, волнует, поглощает... Пойдемте, пройти”—неожиданно предложил он. Мы вышли на Невский... Антон Павлович почти исключительно говорил о театре... о тех испытаниях, через которые проходит драматург, о том, как постановка новой пьесы изматывает нервы и какая все таки в театре притягательная сила. „Лучше, много лучше писать повести и рассказы. Себе больше принадлежишь. Владеешь больше и собой и своим материалом, но...”

Было много личного в его признаниях, чего то наболевшего, и говорил он отрывисто, как бы сам с собой. Я только подавал реплики...

(Ф. Д. Батюшков. «Две встречи с А. П. Чеховым». См. «Солнце России». 1914 г., № 222—25).

Мне посчастливилось наблюдать со стороны за процессом создания Чеховым его пьесы „Вишневый сад“. Как то при разговоре с Антоном Павловичем о рыбной ловле наш артист А. Р. Артем изображал, как насаживают червя на крючок, как закидывают удочку донную или с поплавком. Эти и им подобные сцены передавались неподражаемым артистом с большим талантом, и Чехов искренно жалел о том, что их не увидит большая публика в театре. Вскоре после этого Чехов присутствовал при купании в реке другого нашего артиста, и тут же решил:

„Послушайте, надо же, чтобы Артем удил рыбу в моей пьесе, а Н купался рядом в купальне, барахтался бы там и кричал, а Артем злился бы на него за то, что он ему пугает рыбу“...

Через несколько дней Антон Павлович объявил нам торжественно, что купающемуся ампутиро-

вали руку, но, несмотря на это, он страстно любит играть на бильярде своей единственной рукой. Рыболов же оказался стариком-лакеем, скопившим деньжонки.

Через некоторое время в воображении Чехова стало рисоваться окно старого помещичьего дома, через которое лезли в комнату ветки деревьев. Потом они зацвели снежно-белым цветом. Затем, в воображаемом Чеховым доме поселилась какая-то барыня.

„Но только у вас нет такой актрисы. Послушайте! Надо же особую старуху, — соображал Чехов. — Она же все бегаёт к старому лакею и занимает у него деньги“...

Около старухи очутился не то ее брат, не то дядя — безрукий барин, страстный любитель игры на бильярде. Это большое дитя, которое не может жить без лакея. Как то раз последний уехал, не приготовив барину брюк, и потому он пролежал весь день в постели.

Мы знаем теперь, что уцелело в пьесе и что отпало без всякого следа или оставило незначительный след.

Летом 1902 года, когда Антон Павлович готовился писать пьесу „Вишневый сад“, он жил вместе со своей женой — О. Л. Чеховой-Книппер, артисткой театра, — в нашем домике, в имении моей матери, Любимовке. Рядом в семье наших соседей жила англичанка, гувернантка, маленькое худенькое существо с двумя длинными девичьими косами, в мужском костюме... Она обращалась с Антоном Павловичем запанибрата, что очень нравилось писателю. Встречаясь ежедневно, они говорили друг другу ужасную чепуху... Ловкая

гимнастка—англичанка прыгала к нему на плечи и, усевшись на них, здоровалась за Антона Павловича со всеми проходившими мимо них, т.-е. снимала шляпу с его головы и кланялась ею, приговаривая на ломаном русском языке, по клоуновски комичном:

„Здласьте! здласьте! здласьте!“

При этом она наклоняла голову Чехова в знак приветствия.

Те, кто видели „Вишневый сад“, узнают в этом оригинальном существе прототип Шарлотты. Прочтя пьесу, я сразу все понял и написал свои восторги Чехову. Как он заволновался! Как он усиленно уверял меня, что Шарлотта непременно должна быть немкой и непременно худой и большой,—такой, как артистка Муратова, совершенно непохожая на англичанку, с которой была списана Шарлотта.

Роль Епиходова создалась из многих образов. Основные черты взяты со служащего, который жил на даче и ходил за Антоном Павловичем.

Чехов часто беседовал с ним, убеждал его, что надо учиться, надо быть грамотным и образованным человеком. Чтобы стать таковым, прототип Епиходова прежде всего купил себе красный галстук и захотел учиться по французски...

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 353—355).

Не верьте никому, пьесы моей не читала еще ни одна живая душа... Пьесу я почти кончил, но дней 8—10 назад я заболел, стал кашлять, ослабел, одним словом, началась прошлогодняя история. Теперь, т.-е. сегодня, стало тепло и здоровье как будто стало лучше, но все же пи-

сать не могу, так как болит голова... Вышла у меня не драма, а комедия, местами даже фарс, и я боюсь, как бы мне не досталось от Владимира Ивановича...

(А. П. Чехов—М. П. Алексеевой. Ялта. 1903.
15 сент. П. Т. VI, 315—316).

(Из писем А. П. Чехова—
О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта.
1903, сентябрь—октябрь).

(21 сент.).

Сегодня чувствую себя полегче, очевидно, прихожу в норму; уже не сердито поглядываю на свою рукопись, уже пишу и, когда кончу, тотчас же сообщу тебе по телеграфу. Последний акт будет веселый, да и вся пьеса веселая, легкомысленная; Санину не понравится, он скажет, что я стал неглубоким... Пьесу пришлю на твое имя, а ты уж передашь начальству. Только когда прочтешь и найдешь ее скверной, не падай духом.

(25 сент.).

Мне кажется, что в моей пьесе, как она ни скучна, есть что то новое. Во всей пьесе ни одного выстрела, кстати сказать....

(27 сент.).

Я уже телеграфировал тебе, что пьеса кончена, что написаны все четыре акта. Я уже переписываю. Люди у меня вышли живые, это правда, но какова сама по себе пьеса, не знаю...

(29 сент.).

Пьеса уже окончена, но переписываю медленно, так как приходится переделывать, передумывать; два—три места я так и пришлю недоделанными, откладываю их на после—уж ты извини.... Ах, если бы ты в моей пьесе играла гувернантку. Это лучшая роль, остальные же мне не нравятся...

(12 окт.).

Пишу ежедневно, хотя и понемногу, но все же пишу. Я пришлю пьесу, ты прочтешь ее и увидишь, что можно было бы сделать из сюжета при благоприятных обстоятельствах, то есть при здоровьи. А теперь один срам, пишешь в день по две строчки, привыкаешь к тому, что написано, и проч. и проч...

Вчера Альтшулер долго говорил со мной о моей болезни и весьма неодобрительно отзывался об Остроумове, который позволил мне жить зимой в Москве¹. Он умолял меня в Москву не ездить, в Москве не жить. Говорил, что Остроумов, вероятно, был выпивши...

(7 окт.).

Вчера приезжала ко мне NN, красивая дама, нужно было поговорить о деле, о попечительстве в гурзуфской школе; о деле мы говорили только пять минут, но сидела она у меня три часа буквально... И не знаю, сколько бы она еще

¹ Чехов был у проф. Остроумова в мае 1903 г. Остроумов нашел, что А. П. вредна ялтинская зима и велел переселиться на зиму под Москву, на дачу. Не позволил ехать и за границу, сказав А. П.—«Ты—калека».

просидела, если бы не пришел отец Сергей. Когда она ушла, я уже не мог работать, внутри у меня все тряслось, а пьеса моя между тем еще не переписана, я еле еле дотянул только до середины III акта... Тяну, тяну, тяну и оттого, что тяну, мне кажется, что моя пьеса неизмеримо громадна, колоссальна, я ужасаюсь и потерял к ней всякий аппетит. Сегодня все таки переписываю, не беспокойся...

(9 окт.).

Не пиши мне сердито-унылых писем, не запрещаай мне приезжать в Москву. Что бы там ни было, а в Москву я приеду... Здоровье мое гораздо лучше, я пополнил от еды, кашляю меньше, а к 1-му ноября, надеюсь, будет совсем хорошо. Настроение у меня прекрасное. Переписываю пьесу, скоро кончу, голубчик, клянусь в этом... Уверяю тебя, каждый лишний день только на пользу, ибо пьеса становится все лучше и лучше и лица уже ясны. Только вот боюсь, есть места, которые может почеркнуть цензура, это будет ужасно...

(12 окт.).

Да здравствует мое и ваше долготерпение. Пьеса уже окончена, окончательно окончена и завтра вечером или, самое позднее, 14-го утром будет послана в Москву. Одновременно я пришлю тебе кое какие примечания. Если понадобятся переделки, то, как мне кажется, очень небольшие. Самое нехорошее в пьесе это то, что я писал ее не в один присест, а долго,

очень долго, так что должна чувствоваться некоторая тягучесть. Ну да там увидим...

Дуся, как мне было трудно писать пьесу!..

(14 окт.).

Итак, пьеса послана, получишь ее, вероятно, одновременно с письмом... Отдашь Немировичу, скажешь, чтобы он прислал мне телеграмму, дабы я знал как и что. Попроси его, чтобы пьеса держалась в секрете, чтобы она не попала до постановки Эфросу и прочим. Не люблю я ненужных разговоров...

(19 окт.).

Вчера я не писал тебе, потому что все время с замиранием ждал телеграммы. Вчера поздно вечером пришла твоя телеграмма, сегодня утром—от Влад. Ив.—в 180 слов. Большое спасибо. Я все трусил, боялся. Меня главным образом пугала малоподвижность второго акта и недоделанность некоторая студента Трофимова. Ведь Трофимов то и дело в ссылке, его то и дело выгоняют из университета, а как ты изобразишь сии штуки?...

Пойдет ли моя пьеса? Если пойдет, то когда?.. Я приеду в первых числах ноября. Пьесу буду печатать по всей вероятности в сборнике Горького, только вот не знаю, как обойти немца Маркса¹.

¹ М. Горький просил Чехова отдать «Вишневый сад» для напечатания в сборнике т-ва «Знание», участником в издательства котор. он состоял.—и предлагал гонорар в 1500 р. По договору с Марксом, Чехов имел право печатать свои новые произведения лишь в повременных изданиях, т. е. в журналах и газетах

В одесских газетах передают содержание моей пьесы. Ничего похожего.

(21 окт.).

Сегодня я получил от Алексеева телеграмму, в которой он называет мою пьесу гениальной; это значит перехвалить пьесу и отнять у нее добрую половину успеха, какой она, при счастливых условиях, могла бы иметь...

Когда начнутся репетиции моей пьесы? Напиши, дусик, не томи меня. Твоя телеграмма была очень коротка, теперь хоть постарайся писать поподробнее. Ведь я здесь, как в ссылке... Мне хочется прочесть о моей пьесе, нетерпение, которое ты поняла бы, если бы жила, как я, в этой Сибири. Впрочем, к Ялте я начинаю уже привыкать; пожалуй, научусь здесь работать...

(«Письма А. П. Чехова к. О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 342—366).

Когда я дал в ваш театр „Три сестры“ и в.....¹ появилась заметка, то оба мы, т. е. я и ты были возмущены, я говорил с N² и он дал мне слово, что это больше не повторится. Вдруг, теперь я читаю, что Раневская живет с Аней за границей, живет с французом, что 3-й акт происходит в гостинице, что Лопахин кулак, сукин сын и проч. и проч. Что я мог подумать? Мог ли я заподозрить твое вмешательство? Я в телеграмме имел в виду только N и обвинял только одного N и мне было даже странно и я глазам не верил, когда читал твою телеграмму, в кото-

¹ Пропуск в тексте: газета «Новости дня».

² Е. Н. Эфрос.

рой ты сваливал всю вину на себя. Грустно, что ты меня не понял, еще грустнее, что вышло такое недоразумение. Но надо всю эту историю забыть поскорее. Скажи N, что я с ним больше не знаком, а затем извини меня, буде я пересолил в телеграмме,—и баста!

Сегодня получил письмо от жены, первое на-счет пьесы. С нетерпением буду ждать от тебя письма. Письма идут 4—5 дней—как это ужасно!... Почему ты в телеграмме говоришь о том, что в пьесе много плачущих? Где они? Только одна Варя, но это потому, что Варя плакса по натуре, и слезы ее не должны возбуждать в зрителе унылого чувства. Часто у меня встречается „сквозь слезы“, но это показывает только на-строение лица, а не слезы. Во втором акте кладбища нет...

(А. П. Чехов—Вл. И. Немировичу-Данченко. Ялта. 1903, 23 окт. Т. VI. 323—324).

(Из писем А. П. Чехова—
О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта.
1903, октябрь—ноябрь).

(25 окт.).

Сегодня в „Крымском Курьере“ и в „Одесских Новостях“ перепечатки из „Новостей Дня“; будет перепечатано во всех газетах. И если бы я знал, что выходка Эфроса подействует на меня так нехорошо, то ни за что бы не дал своей пьесы. У меня такое чувство, точно меня помоями опол-или и облили.

От Немировича до сих пор нет обещанного письма. Да я и не особенно жду: выходки Эфроса

испортили мне все настроение, я охладел и испытываю только одно — дурное настроение...

Маркс прислал телеграмму: просит напечатать „Вишневый сад“¹.

(3 ноября).

Скоро, скоро приеду, хотя не верю, чтобы моя пьеса шла в декабре. Ее отложат до будущего сезона, я так думаю.

Насчет Эфроса, надеюсь, больше не буду писать тебе, прости, моя родная. У меня такое чувство, будто я растил маленькую дочь, а Эфрос взял и растлил ее.

Пьесу отдал Горькому в сборник... Если увидишь Горького, то скажи ему, чтобы взял для набора пьесу у Немировича. Кстати: ты пишешь, что пьеса у тебя: ведь это единственный экземпляр, смотри не потеряй, а то выйдет очень смешно. Черновые листы я уже сжог.

(5 ноября).

Я читал письмо Немировича в „Новостях Дня“ и только теперь понял, откуда недоразумение. Он пишет, что в рецензии ошибок нет, очевидно у меня в пьесе много описок и в самом деле гостиная названа „какой то гостиницей“. Если так, вели исправить, дуся; если на бильярде играет, то не значит, что это гостиница. Но неужели из текста не ясно? Впрочем, ничего не понимаю...

¹ Т. е. Маркс дает разрешение печатать «Вишневый сад» в сборнике «т-ва Знание».

(10 ноября).

Получил сегодня от Конст. Серг. извещение, что сегодня, 10-го ноября, начинаются репетиции В. С...¹ В своем письме Конст. Сергеев. говорит, что для III и IV актов будет одна декорация. И я рад, рад не тому, что будет одна декорация, а тому, что III акт, очевидно, не будет изображать гостиницы, которую почему то так хотели Немирович и Эфрос.

(«Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 368—380).

Я все похварываю, начинаю уже стариться, скучаю здесь, в Ялте, и чувствую, как мимо меня уходит жизнь и как я не вижу много такого, что, как литератор, должен бы видеть. Вижу только и, к счастью, понимаю, что жизнь и люди становятся все лучше и лучше, умнее и честнее—это в главном, а что помельче, то уже слилось в моих глазах в одноцветное серое поле, ибо уже не вижу, как прежде...

(А. П. Чехов—В. Л. Кигну-Дедлову. Ялта. 1903, 10 ноября. «Чехов. Новые письма». Атеней, 1922, стр. 61—62).

Мне нездоровится, между тем нужно ехать в Москву. Во первых, тянет туда ужасно, и во вторых, денег нет, надо подработать немножко, пьесу поставить и проч. и проч. В письме к брату вы пишете о моем юбилее. Юбилей сей будет еще нескоро, вероятно в 1906 или даже в 1907 г.... Да помимо сего, мне нездоровится, настроение у меня совсем не юбилейное, и я убедительно

¹ Вишневого сада.

прошу вас отложить юбилей и разговоры о нем впредь до благополучного будущего...

(А. П. Чехов—П. Ф. Иорданову. Ялта. 1903, 26 ноября. П. Т. VI, 337—338).

Осенью 1903 года Антон Павлович Чехов приехал в Москву совершенно больным. Это, однако, не помешало ему присутствовать почти на всех репетициях его новой пьесы...¹

Как раньше, так и на этот раз, во время репетиций „Вишневого сада“, приходилось точно клещами вытягивать из Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы. Его ответы походили на ребусы, и надо было их разгадывать, так как Чехов убегал, чтобы спастись от приставания режиссеров... Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило...

„Я же все написал,—говорил он тогда,—я же не режиссер, я—доктор“...

Когда мы дерзнули предложить Антону Павловичу выкинуть целую сцену—в конце второго акта „Вишневого сада“,—он сделался очень грустным, побледнел от боли, которую мы ему причинили тогда; но, подумав и оправившись, ответил:

„Сократите!“

И никогда больше не высказал нам по этому поводу ни одного упрека.

¹ Вл. И. Немирович-Данченко пишет: «С ноября месяца Чехов жил в Москве. Сначала посещал репетиции «Вишневого сада», но по непривычке к тому, как медленно актеры сживаются с ролями, очень волновался и скоро перестал ходить на репетиции. В успех он не верил». (Из предисл. к книге Н. Эфрона.—«Вишневый сад» и постановке Моск. Худ. Театра». Пб. 1919 г., стр. 12).

Спектакль налаживался трудно; и не удивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате...

Чтобы помочь актерам, расшевелить их аффективную память, вызвать в их душе творческие провидения, мы пытались создать для них иллюзии декорациями, игрою света и звуков. Иногда это помогало, и я привык злоупотреблять световыми и слуховыми сценическими средствами.

„Послушайте!—рассказывал кому то Чехов, но так, чтоб я слышал,—я напишу новую пьесу и она будет начинаться так: „Как чудесно, как тихо! Не слышно ни птиц, ни собак, ни кукушек, ни совы, ни соловья, ни часов, ни колокольчиков и ни одного сверчка“.

Конечно, камень бросался в мой огород.

(К. С. Станиславский. «Моя жизнь в искусстве», стр. 359—360).

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

«ВИШНЕВЫЙ САД» НА СЦЕНЕ. — ЧЕСТВОВАНИЕ. — ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ В ЯЛТЕ. — МОСКВА. — НЕНАПИСАННАЯ ПЬЕСА. — БАДЕНВЕЙЛЕР. — СМЕРТЬ.

(1904 г.).

Пьеса моя пойдет, кажется 17 января; успеха особенного не жду, дело идет вяло. Здоровье мое хорошо, не жалуюсь...

(А. П. Чехов—В. К. Харькеевич. Москва. 1904, 13 янв. П. Т. VI, 351).

Первое представление „Вишневого сада“ было днем чествования Чехова, литераторами и друзьями. Его это утомляло, он не любил показных торжеств и даже отказывался приехать в театр. Он очень волновался постановкой „Вишневого сада“ и приехал только к третьему акту и то только когда за ним поехали.

Первое представление „Чайки“ было торжество в театре и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством, но как непохожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что то зловещее. Не знаю, может быть теперь эти события окрасились так, благодаря всем последующим, но что не было поры чистой радости в этот вечер 17 января — это верно. Антон Павлович очень внимательно, очень серьезно слушал все приветствия, — но временами он вскидывал голову своим характерным движением, и казалось, что на все происходящее

он смотрит с высоты птичьего полета, что он здесь не при чем, и лицо его освещалось его мягкой, лучистой улыбкой, и появлялись характерные морщины около рта—это он вероятно услышал что-нибудь смешное, что он потом будет вспоминать и над чем неизменно будет смеяться своим детским смехом...

(О. Книппер-Чехова. «Несколько слов об А. П. Чехове». «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 29—30).

В первый раз с тех пор, как мы играли Чехова, премьера его пьесы совпадала с пребыванием его в Москве. Это дало нам мысль устроить чествование любимого поэта. Чехов очень упирался, угрожал что останется дома, не придет в театр. Но соблазн для нас был слишком велик и мы настояли. Притом же первое представление совпало с днем именин Антона Павловича (17/30 января).

Назначенная дата была уже близка, надо было подумать и о самом чествовании и о подношениях Антону Павловичу. Трудный вопрос! Я объездил все антикварные лавки, надеясь там набрести на что-нибудь, но кроме великолепной шитой музейной материи мне ничего не попалось. За неимением лучшего пришлось украсить ею венки и подать в таком виде.

„По крайней мере,—думал я,—будет поднесена художественная вещь“.

Но мне досталось от Антона Павловича за ценность подарка.

„Послушайте, ведь это же чудесная вещь, она же должна быть в музее“,—попрекал он меня после юбилея.

„Так научите, Антон Павлович, что же надо было поднести?“—оправдывался я.

„Мышеловку,—серьезно ответил он, подумав.—Послушайте, мышей же надо истреблять“. Тут он сам расхохотался.—„Вот художник Коровин чудесный подарок мне прислал! Чудесный!“

„Какой?“—интересовался я.

„Удочки“.

И все другие подарки, поднесенные Чехову, не удовлетворяли его, а некоторые так даже рассердили своей банальностью.

„Нельзя же, послушайте, подносить писателю серебряное перо и старинную чернильницу“.

„А что же нужно подносить?“

„Клистирную трубку. Я же доктор, послушайте. Или носки. Моя же жена за мной не смотрит. Она актриса. Я же в рваных носках хожу. Послушай, дуся, говорю я ей, у меня палец на правой ноге вылезает. Носи на левой ноге, говорит“... шутил Антон Павлович...

Но на самом юбилее он не был весел... Когда после третьего акта он, мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля, пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжималось сердце. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял все длинное и тягучее торжество юбилея, над которым он добродушно смеялся в своих произведениях. Но и тут он не удержался от улыбки. Один из литераторов начал свою речь почти теми же словами, какими Гаев приветствует старый шкаф в первом акте:

„Дорогой и многоуважаемый... (вместо слова „шкаф“ литератор вставил имя Антона Павловича)... приветствую вас“ и т. д.

Антон Павлович покосился на меня,—исполнителя Гаева,—и коварная улыбка пробежала по его губам.

Юбилей вышел торжественным, но он оставил тяжелое впечатление. От него отдавало похоронами. Было тоскливо на душе.

Сам спектакль имел лишь средний успех, и мы осуждали себя, что не сумели с первого же раза, показать наиболее важное, прекрасное и ценное в пьесе...

(К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», стр. 359—369).

Вчера шла моя пьеса, настроение у меня поэтому неважное. Хочу удрать куданибудь и вероятно до февраля уже уеду во Францию, или, по меньшей мере, в Крым... Хотел было поработать, заняться редактированием в Русской Мысли (рассказы неизвестных авторов, известных читает Гольцев), но повидимому сие не удастся, или удастся не раньше осени ¹. Хотел засесть за повесть, но около толчется публика, работать трудно...

(А. П. Чехов—И. Л. Щеглову. Москва. 1904, 18 янв. П. Т. VI, 351—352).

Уверяю вас, юбилей мой (если говорить о 25) еще не наступил и будет нескоро. Я приехал

¹ В. А. Гольцев, редактор «Русск. Мысли», пригласил Чехова заведывать беллетристическ. отделом еще в июне 1903 г. А. П. охотно принял предложение и даже отчасти принялся за работу, но отказался от жалованья и официального положения в журнале, пока не приступит к работе вплотную. Все ухудшавшееся здоровье не позволило ему осуществить это намерение.

в Москву, чтобы поступить в университет во второй половине 1879 г., первая безделушка в 10—15 строк была напечатана в марте или апреле 1880 г. в „Стрекозе“; если быть очень снисходительным и считать началом именно эту безделушку, то и тогда мой юбилей пришлось бы праздновать не раньше, как в 1905 г.

Как бы то ни было, на первом представлении „Вишневого сада“ 17 января, меня чествовали и так широко, радушно и в сущности так неожиданно, что я до сих пор не могу прийти в себя.

Если вы приедете на маслянице, то это хорошо. Только, как думаю, не раньше масляницы наши актеры придут в себя и будут играть „Вишневый сад“ не так растерянно и не ярко, как теперь...

(А. П. Чехов—Ф. Д. Батюшкову. Москва. 1924, 19 янв. П. Т. VI. 352).

И Чехов продолжал подшучивать над своим минувшим бенефисом и затевающимся юбилеем по случаю 25-летия литературной деятельности.

— И какие теперь, понимаешь, могут быть юбилеи?—говорил он.—Да откуда взяли, что мой юбилей в этом году. Все это таганрогцы выдумали, которые хотят меня чествовать, как знаменитого согражданина, а пишут мне, между прочим: А. Н. Чехову... ¹

(П. А. Сергеевко. «О Чехове», «Нива» (Ежемесячн. прилож.), 1904 г., июль, стр. 264—265).

¹ На эту же тему пишет и Ив. Бунин в своих воспоминаниях:

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия, и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную, ахинею!

Последнюю зиму своей жизни Чехов провел в Москве... Здесь (на Петровке в доме Корovina) он уже не мог бы работать, если бы и захотел, потому что у него непрерывно в течение дня кто-нибудь бывал. Это его почти не утомляло, во всяком случае он охотно мирился со своим утомлением, а по вечерам даже любил, чтобы у него было много народу и чтобы один читал, другой пел, третий рассказывал анекдоты, а сам он преимущественно молчал.

Большая склонность к общительности при большой замкнутости; умение отмечать в людях смешные проявления, их наивность, мелочность, или пошлость, а вместе — трогательное, благородное, что можно найти во всякой человеческой душе; интерес ко всему, что от жизни и от искренности, и вместе с тем все обострявшаяся в нем нетерпимость к насилию и надутой бездарности; какая-то стеснительность, если кто-нибудь слишком ярко выражает ему свое поклонение; искание простой радости бытия среди простых живых людей, — таким остался в памяти Чехов — дома...

(Вл. И. Немирович-Данченко. «Гостеприимство Чехова». «Солище России», 1914, № 228—25).

Кончилась канитель с пьесой, теперь могу на свободе сесть за стол и написать вам. Москва очень хороший город, по крайней мере таковой она кажется в эту зиму, когда я почти здоров... Но здесь страшная толкотня, ни одной свободной минуты, все время приходится встречать и провожать, и подолгу говорить, так что в редкие свободные минуты я уже начинаю мечтать

о своем возвращении к ялтинским пенатам и мечтаю, надо сознаться, не без удовольствия...

(А. П. Чехов—Л. Б. Средину. Москва. 1904, 20 янв. II. Т. VI, 354).

...Я в этой Ялте одинок, как комета и чувствую себя не особенно хорошо. Третьего дня в местном театре (без кулис и без уборных) давали „Вишневый сад“ по *mise-en-scène* Художественного театра, какие то подлые актеры во главе с Дарьяловой (подделка под актрису Дарьял), а сегодня рецензии, и завтра рецензии, и после завтра; в телефон звонят, знакомые вздыхают, а я, так сказать больной, находящийся здесь на излечении, должен мечтать о том, как бы удрать. Вот дай ка сей юмористический сюжет хотя бы Амфитеатрову! Как бы ни казалось все это смешно, но должен сознаться, что провинциальные актеры поступают просто как негодяи...

(А. П. Чехов—О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта. 1904, 15 апр. «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 423).

Приезжая из Севастополя труппа давала в Ялтинском театре спектакль. Шел „Вишневый сад“ Чехова. На афишах крупным шрифтом было напечатано, что пьеса будет поставлена по образцу постановки Художественного театра, под наблюдением самого автора...

Я взял билет и к восьми часам отправился в театр.

Прошел час, полтора, спектакль не начинают. Публика ропщет. Какие то закулисные кумушки распространяют слухи, что ждут автора. В публике—волнение.

Около десяти часов, наконец, открыли занавес.

Убогие, рваные декорации. Жалкая обстановка. В окне, обсыпанная крупно нарезанной бумагой, ветка, долженствующая изображать собой—вишневый сад... Вся „постановка по образцу Художественного театра“ выразилась в том, что за сценой помощник режиссера, во время хода пьесы, не переставая, свистал, каркал, куковал, трещал, квакал, пищал, заглушая птичьими и лягушечьими голосами речи актеров...

Получалось что то невероятно дикое. Актеры, плохо слыша суфлера, метались по сцене растерянные, оглушенные звуками „пробуждающейся природы“. Не зная ролей, они немилосердно перевирали текст, путали, делали нелепые паузы, яко бы „переживая настроение“... Публика, наполнившая театр сверху до низу, видимо недоумевала...

Мне было больно и стыдно за Чехова...

Вскоре после этого знаменательного спектакля я поехал в Аутку к Антону Павловичу, решив ни слова не говорить о спектакле „Вишневого сада“...

Не успели мы сказать двух слов, как Антон Павлович заговорил о спектакле.

— Мне передали, что вы были на „Вишневом саде?“... не глядя на меня спросил Антон Павлович.

— Да...

— Каково исковеркали!.. Безобразие! Еще написали в афише, что играют под моим наблюдением... А я их и в глаза не видал... Возмутительно! Они все хотят обезьянничать Художественный театр... И совершенно напрасно... Там вся эта сложная постановка достигается неимо-

верным трудом, затратой громадного количества времени, любовным отношением ко всякой мелочи... Им это можно... А они тут столько звуков, говорят, напустили, что весь текст пропал... И там то, в Художественном театре, все эти бутафорские мелочи отвлекают зрителя, мешают ему слушать... Заслоняют автора... А уж здесь... представляю себе, что это было... Знаете, я бы хотел, чтобы меня играли совсем просто, примитивно... Вот как в старое время... Комната... На авансцене—диван, стулья. И хорошие актеры играют... Вот и все... Чтобы без птиц и без бутафорских настроений... Очень бы хотел посмотреть свою пьесу в таком исполнении... Интересно, провалилась бы моя пьеса?.. Очень это любопытно! Пожалуй, провалилась бы... А, может быть и нет... Кто знает... Театр—обманчивая, штука... Не поймешь... И завлекательная и противная в одно и то же время...

Антон Павлович увлекся темой. Он заговорил о театре вообще, о его задачах... О том, как он рисовал себе действующих лиц своих пьес и как их поняли и изобразили артисты.

— Вот хотя бы „Вишневый сад“... Разве это „Вишневый сад?“.. Разве это мои типы?.. За исключением двух-трех исполнителей,—все не мое... Я пишу жизнь... Это серенькая, обывательская жизнь... Но это не нудное нытье... Меня, то делают плаксой, то просто, скучным писателем... А я написал несколько томов веселых рассказов... И критика рядит меня в какие то плакальщицы... Выдумывают на меня из своей головы, что им самим хочется, а я этого и не думал,

и во сне не видал... Меня начинает злить это...¹.

Антон Павлович разволновался и сильно закашлялся.

Я перевел разговор на другую тему... Мы заговорили о современной литературе.

— Наши критики все кричат об оскудении литературы... Все это старческая ворчливость и ничего больше... Напротив теперь появилось много талантливых, молодых писателей. Нам нечего унывать...

(Евт. П. Карпов. «Две последние встречи с Ант. Павл. Чеховым». «Ежегодник имп. театров», 1909. Вып. V, стр. 5—8).

За последний год болезнь особенно заметно шагнула вперед; постоянные почти лихорадки, обострившиеся осложнения со стороны кишечника, частые небольшие кровохаркания, все усиливающаяся одышка, при симптомах нарастания сердечной слабости... Все реже возвращалось хорошее настроение и все чаще (до отъезда в Москву) я заставлял его одиноко сидящим в кресле, или в полулежачем положении на диване с закрытыми глазами, без обычной книги в руках... Начавшаяся вскоре война его очень волновала...² Работал он в это время немного

¹ О непонимании сущности «Вишневого сада», даже Немировичем-Данченко и Станиславским, Чехов писал: «...Почему на афишах и в газетных объявлениях моя пьеса так упорно называется драмой? Немирович и Алексеев в моей пьесе видят положительно не то, что я написал, и я готов дать какое угодно слово, что оба они ни разу не прочли внимательно моей пьесы... (А. П. Чехов—О. Л. Книппер-Чеховой. Ялта. 1904, 10 апр.).

² «Если я буду здоров, то в июле или августе поеду на Дальний Восток не корреспондентом, а врачом. Мне кажется, врач увидит больше, чем корреспондент» (А. П. Чехов—А. В. Амфитеатрову, Ялта. 1904, 13 апр.).

и только урывками, а планов было много, и это огорчало его...

(И. Альтшуллер. Воспомин. «Русск. Вед.», 1914 г., № 151).

Подходила весна 1904 года. Здоровье Антона Павловича все ухудшалось. Появились тревожные симптомы в области желудка, и это намекало на туберкулез кишок. Консилиум постановил увезти Чехова в Баденвейлер. Начались сборы заграницу. Нас всех, и меня в том числе, тянуло напоследок почаще видаться с Антоном Павловичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать нас. Однако, несмотря на болезнь, жизнерадостность не покидала его. Он очень интересовался спектаклем Метерлинка, который в то время усердно репетировался. Надо было держать его в курсе работ, показывать ему макеты декораций, объяснять мизансцены.

Сам он мечтал о новой пьесе, совершенно нового для него направления. Действительно, сюжет задуманной им пьесы был, как будто бы, не чеховский... Два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, запертый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины.

Вот все, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе...

(К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», стр. 359—361).

В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы, ученый—любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и этот вот ученый уезжает на дальний север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами, северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит—проносится тень любимой женщины...

(О. Книппер-Чехова. «Артисты М. Х. Т. за рубежом», стр. 31—32).

...Я все еще в постели, ни разу не одевался, не выходил, и все в том же положении, в каком был, когда ты уезжала. Третьего дня ни с того, ни с сего меня хватил плеврит, теперь все благополучно. Как бы там ни было, на 2-е июня заказаны билеты, мы уезжаем в Берлин, потом в Шварцвальд¹. Дышать я стал лучше, отдышка слабее...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Москва, 1904, 22 мая. Т. VI, 381).

Последняя наша встреча была в Москве накануне отъезда Чехова за границу... Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький человек,

¹ Чехов с женою выехали из Москвы 3-го июня, пробыв в Берлине, направились в Баденвейлер, курорт для легочных больных в Шварцвальде, на границе Швейцарии.

с узкими плечами, с узким бескровным лицом— до того был худ и изнурен Антон Павлович...

Жутко мне стало... А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал более жесткое слово, которое резнуло меня и которое не хочется повторить.

— Умирать еду. Все кончено... Поклонитесь от меня всем товарищам по Среде...¹ Хороший народ у вас подобрался... Скажите им, что я их помню, и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже не встретимся...

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно...

(Н. Телешов. «Встречи с А. П. Чеховым». «Все проходит», стр. 13—14).

Уже третьи сутки я живу на месте мне предназначенном... Эта Villa Friederike, как и все здешние дома и виллы, стоит особняком в роскошном садике, на солнце, которое светит и греет до 7 час. вечера... Впечатление кругом—большой сад, за садом горы, покрытые лесом, людей мало, движения на улице мало, уход за садом и цветами великолепный, но сегодня вдруг ни с того, ни с сего пошел дождь, я сижу безвыходно в комнате, и уже начинает казаться, что дня через три я начну подумывать, о том, как бы удрать... Отсюда в Ялту мы, быть может, при-

¹ «Среда» — Московский Литературно-Художеств. кружок, основанный 1898 г. Н. Телешов был одним из главных его организаторов.

едем морем через Триест, или какуюнибудь другую гавань. Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Баденвейлер. 1904, 12/25 июня. П. Т. VI, 392—393).

Милая мама, шлю вам привет. Здоровье мое поправляется, и надо думать, что через неделю я буду уже совсем здоров. Здесь мне хорошо. Покойно, тепло, много солнца, нет жары...

(А. П. Чехов—Е. Я. Чеховой. Баденвейлер. 1904, 13 июня. П. Т. VI, 398).

Здесь жара наступила жестокая... Я задыхаюсь и мечтаю о том, чтобы выехать отсюда. Но куда? Хотел я в Италию на Комо, но там все разбежались от жары. Везде на юге Европы жарко. Я хотел проплыть от Триеста до Одессы на пароходе, но не знаю, насколько это теперь, в июне-июле, возможно. Может быть Жоржик справится, какие там пароходы? Удобные ли? Долго ли тянутся остановки, хорош ли стол и проч. и проч.? Для меня это была бы незамечная прогулка... А по железной дороге, признаться, я побаиваюсь ехать. В вагоне теперь задохнешься, особенно при моей одышке, которая усиливается от малейшего пустяка... Да и по железной дороге приедешь домой скорей, чем нужно, а я еще не нагулялся...

Питаюсь я очень вкусно, но неважно, то и дело расстраиваю желудок... Очевидно, желудок мой испорчен безнадежно, поправить его едва ли возможно чемнибудь, кроме поста, т. е. не есть ничего—и баста. А от одышки единственное лекарство—это не двигаться...

(А. П. Чехов—М. П. Чеховой. Баденвейлер. 1904, 28 июня. П. Т. VI, 406—408).

После трех тяжелых тревожных дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, но я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослышали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки, одним словом отовсюду, собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет,—и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях... Я сидела, прикурнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло придти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!..

В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и, вместе с тем, чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты—два брата, и вот одного я попросила сбежать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить

на сердце умирающему. Я слышу как сейчас, среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи, звук удаляющихся шагов по скрипучему песку...

(О. Книппер-Чехова. «Несколько слов об А. П. Чехове». «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 30—31).

...В ночь с четверга на пятницу, когда после первого камфорного шприца пульс не поправлялся, стало очевидно, что катастрофа приближается. Проснувшись в первом часу ночи, Антон Павлович стал бредить, говорил о каком то матросе, спрашивал о японцах, но затем пришел в себя и с грустной улыбкой сказал жене, которая клала ему на грудь мешок со льдом:

— На пустое сердце льда не кладут...

(Г. Б. Иолосс. Из письма к редактору «Русск. Ведом.». «Русск. Вед.», 1904 г., № 189).

Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по немецки (он очень мало знал по немецки): „Jch sterbe“. Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского...“ покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только, как вихрь ворвавшаяся черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате... ¹

(О. Книппер-Чехова. «Несколько слов об А. П. Чехове». «Письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер-Чеховой», стр. 31—32).

¹ А. П. Чехов скончался в ночь с четверга на пятницу 2-го июля (стар. стиля) 1904 г., в Hotel Sommer в Баденвейлере. Тело его было перевезено в Москву и похоронено (9-го июля) на кладбище Новодевичьего монастыря, рядом с могилой отца.

АВТОРЫ ВОСПОМИНАНИЙ, ПИСЕМ и пр.

- Авилова, Л. А. 280—281, 321—323.
 Альтшуллер, И. 450—451.
 Амфитеатров, А. В. 17—20, 131, 179—180, 316, 384—385.
 Арс, Г. 160—161.
 Архангельский, П. А. 30—31.
 Баранцевич, К. С. 111—112.
 Батюшков, Ф. Д. 414—415, 427—428.
 Белоусов, И. А. 210.
 Бунин, И. А. 311—312, 358, 376—377, 378—380, 384, 387—388, 393—394, 407—408.
 Бутова, Н. С. 334—335, 356—357.
 Волжанин, С. 218.
 Гнедич, П. П. 329—331, 364—365.
 Горький, Максим (А. М. Пешков). 376.
 Григорович, Д. В. 54—56, 124—125.
 Грузинский-Лазарев, А. С. 20—21, 48—49, 70—73, 74, 99—100.
 Дорошевич, В. М. 237.
 Дросси, А. 6—7, 9.
 Елпатьевский, С. Я. 346—347, 418—419.
 Ермилов, В. 180.
 Зембулатов, В. 13—15.
 Иоллос, Г. Б. 456.
 Карпов, Е. П. 257—258, 416—418, 447—450.
 Книппер-Чехова, О. Л. 306—307, 326—327, 363, 410—411, 411—412, 441—442, 452, 455—456.
 Ковалевский, М. М. 281, 368—369.
 Кони, А. Ф. 269—272, 408—410.
 Короленко, В. Г. 74—77, 78—79, 413—414.
 Кувшинникова, С. П. 251.
 Кукушкин, М. Д. 10.
 Куприн, А. И. 15, 351—356, 381—382, 383—384, 388—390.
 Л. М. 383.
 Лавров, В. М. 212—213, 236.
 Ладыженский, В. Н. 86, 173, 357—358.
 Лазаревский, Б. А. 341—342, 345—346, 394—395.
 Легра, Ю. 218—220.
 Лейкин, Н. А. 22—23, 42—43.
 Мейерхольд, Вс. Э. 302—303.
 Меньшиков, М. О. 382—383.
 Мережковский, Д. В. 184.
 Михайловский, Н. К. 97—99, 100—101, 216—217.

- Немирович-Данченко, Вас. И. 291—294.
- Немирович-Данченко, Вл. И. 252, 336—337, 446.
- Петров, Гр. 45—46, 377—378.
- Плещеев, А. А. 48.
- Плещеев, А. Н. 93—94, 96—97, 107—108, 121—123, 151—152, 162, 164.
- Полонский, Я. П. 90.
- Потапенко, И. Н. 45, 82—83, 222, 231—234, 266—267.
- Ст. Т. 263—264.
- С. Щ. (С. Шукин), 15, 20, 342—343, 390—393, 405—407.
- Селиванов. 264—265.
- Сементковский, Р. 323—324.
- Сергеенко, П. А. 5, 7, 34, 313—315, 317—319, 445.
- Скабичевский, А. М. 62—63.
- Станиславский, К. С. (К. С. Алексеев). 305—306, 325—326, 327—328, 328—329, 333—334, 347—350, 362—363, 364, 366—367, 373—374, 428—430, 439—440, 442—444, 451.
- Суворина, А. И. 50, 105, 258—260.
- Суворин, А. С. 13, 49—50, 155; 185, 261—262, 275, 279—280, 287—288, 298—299, 425.
- Тан. (В. Г. Богораз). 10—11.
- Телешов, Н. Д. 46—47, 102—103, 204—205, 380—381, 421—424, 452—453.
- Тихонов, В. А. 18, 117—119.
- Урусов, А. И. 308—309, 310, 331—332, 333.
- Федоров, А. М. 20, 47, 369—373, 380, 399—401.
- Философов, Д. В. 331.
- Чехов, Алекс. П. (А. Седой). 2, 3—4, 243—244.
- Чехов, Ант. П. 17, 35—37, 37—38, 240—242, 261, 294—295, 358, 382, 385—386, 411.
- Чехов, И. П. 6, 46, 136.
- Чехова, М. П. 254, 258, 267.
- Чехов, М. П. 1—2, 4, 12—13, 16—17, 29—30, 33, 35, 40—41, 79, 152—153, 153—154, 169—171, 172—173, 178, 181, 185—186, 187—188, 195, 196—197, 199—201, 207—208, 210, 221—222, 223—225, 242—243, 250—251, 276—277, 403—405.
- Членов, М. А. 13, 29, 237, 283—284.
- Чириков, Е. Н. 401.
- Шиллер из Таганрога. (А. Б. Тараховский). 11.
- Щеглов, И. Л. (И. Л. Леонтьев). 85—86, 114—116, 121, 148—150, 262—263, 281—283, 285—287.
- Щепкина-Куперник, Т. Л. 202—203; 229—230, 244—246, 254, 419—420.
- Эфрос, Н. Е. 301—302.
- Южин, А. И. (А. И. Сумба-тов). 401—402.

АДРЕСАТЫ ПИСЕМ А. П. ЧЕХОВА.

- Авилова, Л. А. 198—199, 289—291, 300, 320.
 Алексеева, М. П. (М. П. Лилина). 430—431.
 Алексеев, К. С. (К. С. Станиславский). 418.
 Батюшков, Ф. Д. 296, 444—445.
 Билибин, В. В. 51—52, 54, 60.
 Вишневский, А. Л. 307, 336.
 Гольцев, В. А. 235, 247, 279, 350.
 Горький, М. (А. М. Пешков). 395—399, 414.
 Григорович, Д. В. 56—59, 125—127.
 Дюковский, М. М. 52.
 Е. М. Ш. 247, 253.
 Иорданов, П. Ф. 300, 328, 438.
 Киги, В. Л. (В. Л. Дедлов). 438.
 Киселева, М. В. 64—65, 67—68, 73—74, 106, 136.
 Книппер-Чехова, О. Л. 336, 342, 344, 359—362, 367—368, 373, 375, 403, 412—413, 424—425, 426—427, 431—435, 436—438, 447.
 Кондаков, Н. П. 374.
 Кони, А. Ф. 271—272.
 Короленко, В. Г. 80—81, 89—90, 415—416.
 Куркин, П. И. 343.
 Лазарев-Грузинский, А. С. 130—131.
 Лейкин, Н. А. 21, 23—24, 27—29, 31—32, 33—34, 35, 41—42, 43—44, 45, 52—53, 59, 61—62.
 Линтварева, Е. М. 127, 137.
 Луговой, А. А. 255—256.
 Меньшиков, М. О. 342, 344—345.
 Мизинова, Л. С. 205—206, 227, 228—229, 239—240.
 Неизвестный. 113.
 Немирович-Данченко, Вл. И. 273, 338—339, 435—436.
 Плещеев, А. Н. 92—93, 94—96, 97, 106—107, 108, 113—114, 117, 120—121, 123—124, 136—137, 142, 146—148, 151, 157, 161, 162—163, 164—165, 167, 169.
 Полонский, Я. П. 90—92, 101—102.
 Поссе, В. А. 338, 341.
 Сергеенко, П. А. 35, 278—279.
 Смагин, А. И. 194.
 Соболевский, В. М. 291, 295.

- Средин, Л. В. 446—447.
Суворина, А. И. 267.
Суворин, А. С. 3—4, 7, 53—
54, 70, 106, 108—111, 114,
128—130, 132—136, 138,
139—141, 142—146, 150—
151, 153, 155—156, 157—
159, 165—166, 167—168,
169, 173—175, 177—178,
178—179, 183, 186—187,
188, 189—191, 192—194,
196, 197—198, 203—204,
208—209, 210—211, 214—
216, 225—226, 227—228,
229, 234—235, 236—237,
238—239, 242, 246, 248—
249, 252—253, 254—255,
268—269, 273—274, 276,
278, 289, 295, 296—297,
301, 303—304, 316—317,
344, 347.
Урусов, А. И. 310—311,
332—333.
Харькесвич, В. К. 441.
Чехов, Алекс. П. 24—27, 51,
60—61, 70, 80, 81—82,
83—85, 189, 191—192,
222—223, 298.
Чехов, Г. М. 256.
Чехова, Е. Я. 454.
Чехов, И. П. 159—160, 182—
183, 184.
Чехов, М. Г.. 65—67.
Чехова, М. П. 112, 161, 182,
246—247, 258, 304—305,
410, 452, 453—454.
Чехов, М. П. 39—40, 50—51,
69—70, 87—88, 105, 304,
339—340.
Шехтель, Ф. О. 69, 194.
Щеглов, И. Л. (И. Л. Ле-
онтьев). 2—3, 89, 93, 108,
116, 138—139, 175—177,
211—212, 444.
Эртель, А. И. 284—285.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

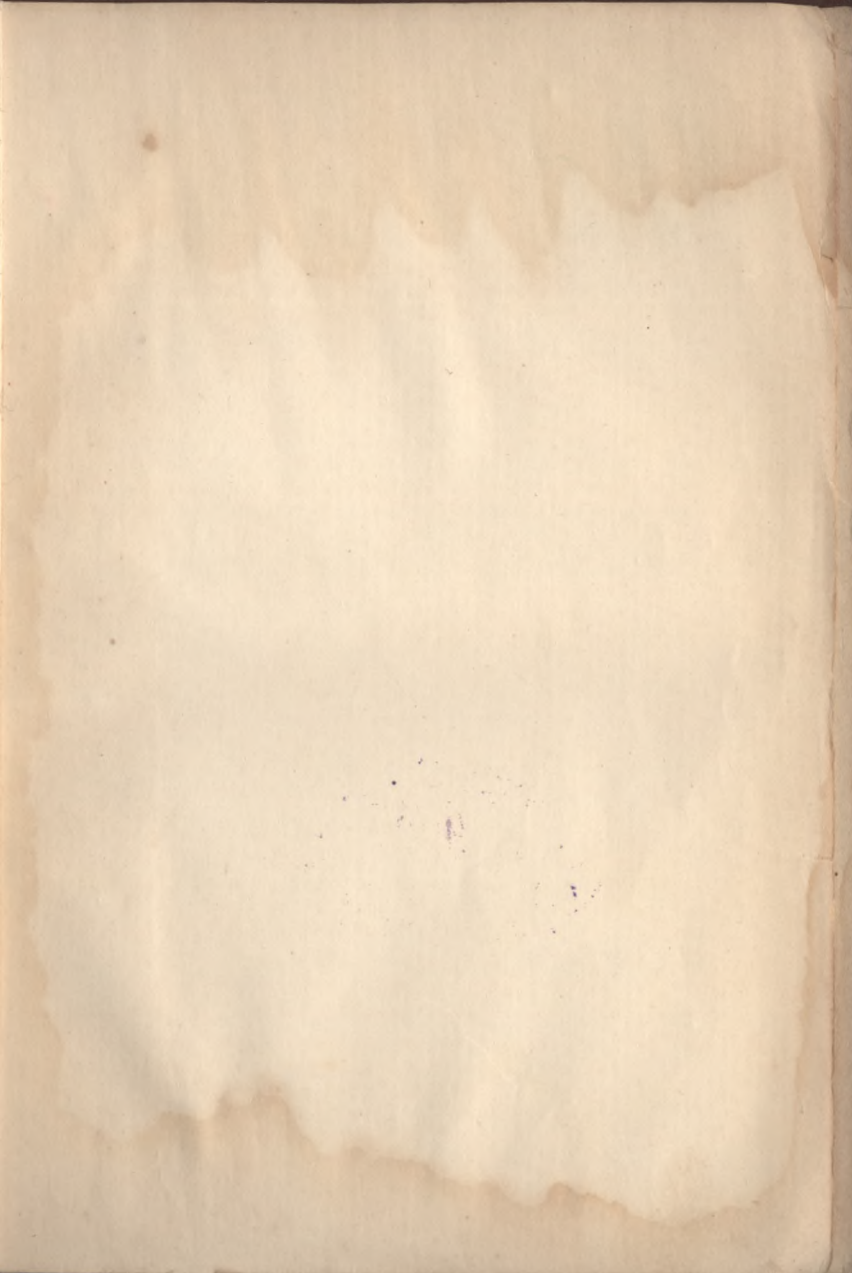
	Стр.
Предисловие	
Глава 1. Таганрог.—Впечатления детства и юности.—Первые литературные опыты. (1868—1879).	1
Глава 2. Москва.—Антоша Чехонте.—„Стрекоза“ и „Будильник“. (1879—1882 гг.)	12
Глава 3. Сотрудничество в „Осколках“.—Впечатления Воскресенска и Звенигорода.—„Сказки Мельпомены“. — „Тост прозаиков“. (1883 — 1885 гг.)	22
Глава 4. В Бабкине.—„Петербургская газета“.—Последний период „Антоши Чехонте.“ (1885 г.)	39
Глава 5. „Новое Время“.—Псевдоним и фамилия. — Д. В. Григорович. — „Пестрые рассказы“. — Критика.—Начало популярности. (1886 г.)	48
Глава 6. „В Сумерках“.—„Невинные речи“.—В. Г. Короленко (1887 г.—весна и лето) . . .	69
Глава 7. „Иванов“. — Постановка „Иванова“ в Москве.—Петербургские литературные знакомства.—(1887 г.,—осень и зима)	78
Глава 8. „Северный Вестник“.—„Степь“.—Я. П. Полонский.—А. Н. Плещеев.—Н. К. Михайловский. (1888 г.—зима, начало весны)	89
Глава 9. У Сувориных.—„Огни“.—На Луке.—Поездка в Крым и на Кавказ.—Медицина и литература. (1888 г.—от весны до начала осени).	104

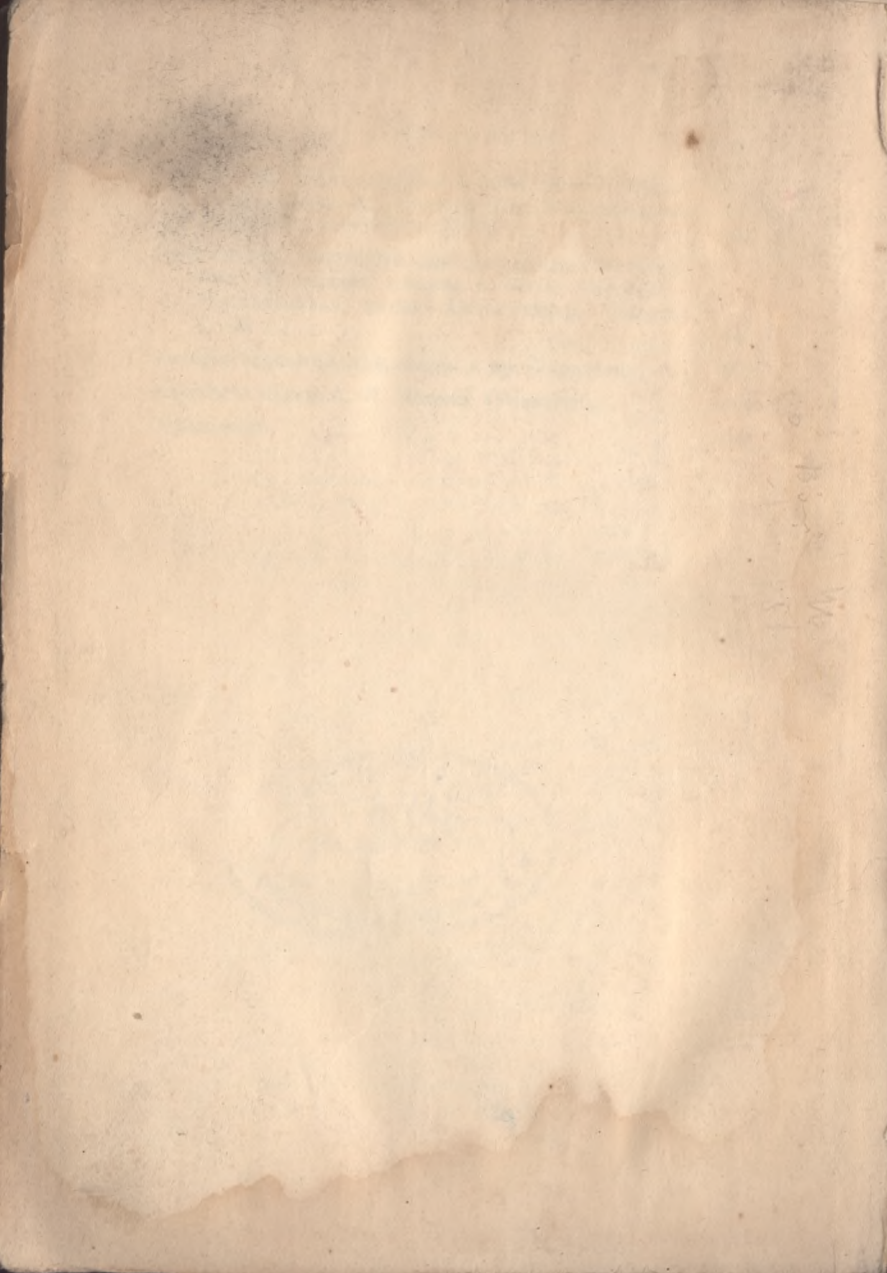
Глава 10. „Именины“.—Вопрос о направлении.— Пушкинская премия. — Замысел романа. (1888 г.— октябрь)	120
Глава 11. Задачи писателя-художника.—Два по- люса творчества; „Медведь“ и „Припадок“.— Писатель и публика.(1888 г.,—осень и зима) .	138
Глава 12. „Иванов“ в Петербурге.—„Татьяна Репина“.(1889 г.—зима)	142
Глава 13. Роман.—„Леший“.—В Крыму.—„Скуч- ная история“ (1889 г.)	155
Глава 14. Поездка на Сахалин.(1890 г.)	172
Глава 15. После Сахалина.—Заграницей.—Боги- мово.—„Дуэль“.—Работа над „Сахалином“.— Мечты о покупке хутора (1891 г.)	181
Глава 16. В Мелихове.—Происхождение „Попры- гуньи“.—„Палата № 6“.—„Соседи“. (1892 г.— весна и лето)	195
Глава 17. В холерный год.—„Русская Мысль“.— „Палата № 6“ и „Рассказ неизвестного чело- века“.—Самокритика и критика (1892 г.—осень)	207
Глава 18. Замысел „Черного монаха“.—Денежные дела с „Нов. Временем“.—„Авелановский“ пе- риод.—„Володя большой и Володя маленький“ (1893 г.)	221
Глава 19. Печатание „Сахалина“.—В Ялте.— Неудовлетворенность творчеством — Вторая поездка за границу.—„Три года“. (1894 г.) . .	236
Глава 20. Мотивы „Чайки“ и ее создание.—„Дом с мезанином“.—„Моя жизнь“. (1895—1896 гг.).	249
Глава 21. На первом представлении „Чайки“ в Александринском театре.—Провал пьесы.— Под судом „пишущей братии“. (1896 г.,—осень и зима).	257

Глава 22. Последний год в Мелихове.—„Мужики“.—В клинике Остроумова и по выходе из нее. (1897 г.)	276
Глава 23. Ницца.—Тема рассказа „На подводе“.—„У знакомых“.—Процесс Зола и начало разрыва с Сувориным. (1897—1898 гг.)	289
Глава 24. Последние месяцы в Мелихове.—Начало Ялтинского периода.—Смерть отца.—„Чайка“ в Московск. Худож. Театре. (1898—1899 гг.)	300
Глава 25. Продажа собрания сочинений Марксу.—„Душечка“ и Л. Н. Толстой.—Отношение Чехова к своим ранним произведениям. (1899 г.—зима и весна)	313
Глава 26. В Москве.—Показной спектакль Московск. Худож. Театра — История постановки „Дяди Вани“ (1899 г.)	325
Глава 27. „В овраге“.—Избрание в академики.—Отношение Чехова к Л. Н. Толстому.—Московск. Художеств. Театр в Крыму (1899—1900 гг.)	338
Глава 28. Ялтинская дача. — Почитатели.—Обстановка работы в Ялте.—„Три сестры“. (1900 г.—осень)	351
Глава 29. Ницца.—Возвращение в Ялту.—„Три сестры“ на сцене (1901 г.—зима и весна)	366
Глава 30. Отношение к критике.—Сюжеты.—Записные книжки.—Внутренняя сущность и техника работы. (Конец 90-х и начало 900-х гг.)	376
Глава 31. Чехов и молодые писатели.—Советы М. Горькому.—Начинающие драматурги. (Конец 90-х и начало 900-х гг.)	387
Глава 32. Происхождение рассказа „Архиерей“.—Обострение туберкулеза и мысли о смерти.—Женитьба.—Задумывание „Вишневого сада“.—Академический инцидент. — Тяга в Москву. (1901—1902 гг.)	403

Глава 33. Неисправимая ошибка (дело с Марком).—„Невеста“.—Работа над „Вишневым садом“.—На репетициях. (1903 г.)	421
Глава 34. „Вишневый сад“ на сцене.—Чествование.—Последние месяцы в Ялте.—Москва.—Ненаписанная пьеса.—Баденвейлер.—Смерть. (1904 г.)	441
Авторы воспоминаний, писем и пр. (Указатель) . .	457
Адресаты писем А. П. Чехова. (Указатель) . . .	459
Оглавление	461







Mo. 25 October 98 2 min 180 =

- 12 p -

2018

